

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ

ЗАПИСКИ

*Вестник литературоведения
и языкоznания*

ВЫПУСК 23

Памяти В. А. Свительского

Литература и война

Достоевские в XIV—XVI веках

На Юге США

Неизвестные классики

2005

ИЗДАНИЕ ОСНОВАНО А.А.ХОВАНСКИМ В 1860 ГОДУ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ
ЗАПИСКИ

*Вестник литературоведения
и языкоznания*

ВЫПУСК 23



ВОРОНЕЖ

2005

Редакционная коллегия:
А. А. Фаустов (главный редактор),
В. М. Акаткин, О. Ю. Алейников, А. Б. Ботникова,
Г. Ф. Ковалев, А. С. Крюков, А. Г. Лапотько,
О. Г. Ласунский, А. М. Ломов, Т. А. Никонова,
И. А. Стернин, С. Н. Филошкина

Филологические записки. Вып. 23. — Воронеж: Воронежский университет, 2005. — 296 с.

ISBN 5-86211-042-9

«Филологические записки» — продолжающееся научное издание, которое развивает традиции одноименного воронежского журнала (1860—1917). На страницах вестника рассматриваются актуальные проблемы истории и теории литературы, языка, литературного краеведения. Выпускается филологическим факультетом ВГУ.

Издание адресовано филологам-специалистам, учителям-словесникам, студентам, всем, кто интересуется литературой и вопросами языка.

ББК 80

Научное издание
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ
Вестник литературоведения и языкоznания
Выпуск 23

Электронная верстка О. В. Нагаевой, корректор Н. М. Митракова

ЛР 070669 от 15.12.97. Подп. в печ. 26.08.2005. Форм. бум 84x108/32.
Бумага офсетная. Офсетная печать. Усл. п. л. 15,5. Уч.-изд. л. 22,3.
Тираж 500. Воронежский государственный университет. 394000 Воронеж,
Университетская пл., 1. Областная типография. 394071 Воронеж, ул. 20 лет
Октября, 73а

ISBN 5-86211-042-9

© Составление, оформление.
Воронежский государственный
университет, 2004
© Авторы статей

СОДЕРЖАНИЕ

ПАМЯТИ ВЛАДИСЛАВА АНАТОЛЬЕВИЧА СВИТЕЛЬСКОГО

От редакции	5
Алейников О. Ю. «Без истины трудно жить» (О В. А. Свительском)	6
Подшивалова Е. А. В. А. Свительский — редактор «Филологических записок»	16
Щенников Г. К. Памяти В. А. Свительского	24
Бочаров С. Г. Памяти Славы Свительского	28
Ботникова А. Б. Сокровенный человек	30
Сараскина Л. И. О Славе, о дружбе, о добре...	34
Кривонос В. Ш. Короткие встречи, долгие разговоры (Памяти В. А. Свительского)	36
Андрушки Ч. Памяти В. А. Свительского	49
Горелик Л. Л. «Человек государственного ума»	50
Кройчик Л. В. А. Свительский. Образ автора	53
Рымарь Н. Т. Благородство	55
Гиршман М. М. К проблеме родо-жанровой доминанты литературного произведения в индивидуально-авторскую эпоху	58
Тамарченко Н. Д. Испытание идеи в русской повести рубежа XIX—XX веков	70
Егоров Б. Ф. Утопии А. И. Куприна	92
Таборисская Е. М. Растительный мир в поэзии Ахматовой	95
Из переписки В. А. Свительского и Б. О. Кормана	109
Подшивалова Е. А. Автор в понимании Б. О. Кормана и В. А. Свительского	113

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

Никонова Т. А. «Час мужества». О литературе Великой Отечественной войны	120
Акаткин В. М. «София и землянка» (К спорам о красоте и пользе в литературе о войне)	130
Ботникова А. Б. Сегодня о той войне («Траектория краба» Гюнтера Грасса)	143

ЛИТЕРАТУРА В ДВИЖЕНИИ ЭПОХ

Антанаcиевич И. О постмодернизме, королях и капусте	150
Башкиров Д. Л. Род Достоевских на землях великого княжества Литовского в XIV—XVI веках	157
Шульц С. А. Достоевский и Камю (Трансформация мотива Великого инквизитора)	177
Морозова И. В. Проблема становления «южного мифа» в культуре и литературе США	185

ЖИЗНЬ ЯЗЫКА

Кольцова Л. М., Грачёва Ж. В. Труды И. П. Распопова и проблемы современной филологической науки	203
Стернин И. А. Языковое сознание и стилистическая характеристика слова	208
Воронкова И. С. Чужой язык в романе Н. М. Карамзина «Письма русского путешественника»	215

ИЗ МИНУВШЕГО: ПУБЛИКАЦИИ, ВОСПОМИНАНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Ф. М. Достоевский в газете-журнале «Гражданин»	
Викторович В. А. «Учительство — не выучка. Учительство — апостолат» (Ф. М. Достоевский и русские педагоги)	219
<Достоевский Ф. М.>, Мещерский В. П. Из мира нашей педагогики	225
Порецкий А. У., Майков А. Н. Петр Михайлович Цейдлер (Некролог)	231
Неизданное письмо И. А. Gonчарова. Публикация, предисловие и примечание В. И. Мельника	240
Неизвестное письмо И. С. Тургенева. Публикация, вступительная заметка и примечания В. В. Бойкова	241

ЛИТЕРАТУРНАЯ ТРИБУНА

Кройчик Л. Е. И еще раз о финале «Мертвых душ»	244
Никонова Е. А., Иниотин В. В. Раскольников против Раскольникова (о романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»)	253
Акаткин В. М. «Мы слышим в вечности друг друга...» (К 95-летию со дня рождения А. Т. Твардовского)	257

ДЕБЮТ

Гайворонская Л. В. Еще раз о фольклорных и евангельских мотивах в «Станционном смотрителе» А. С. Пушкина	262
Кулик А. Г. Анализ стихотворения А. А. Блока «Вербы — это весенняя таль...»	268

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КНИГИ, ИМЕНА

Митракова Н. М. Швейцарские встречи (продолжение)	273
Петракова Л. Г. Эйхенбаумовские чтения — 5	278
Егоров Б. Ф. Новинки из глубинки — 6	282
Иниотин В. В. Наедине с историей, со словом и временем	289
Кайдаш-Лакшина С. Н. Чехов в жизни Владимира Яковлевича Лакшина	292
Кац Л. А. Вспоминая Волфганга Казака	294
Наши авторы	296

ОТ РЕДАКЦИИ

11 марта 2005 года умер Владислав Анатольевич Свительский — глубокий ученый и замечательный человек. В 1996 он стал главным редактором «Филологических записок» и с тех пор выпустил 15 томиков вестника — с 7-го по 21-й. Успел подготовить и 22-й, но до выхода его не дожил.

На кончину Владислава Анатольевича откликнулись в Воронеже (газета «Воронежский курьер»), в Ижевске («Кормановские чтения», вып. 5), в Петербурге (альманах «Достоевский и мировая культура», вып. 20). Нужно ли говорить, что три этих города образуют своего рода географические координаты судьбы ученого: Воронеж, в котором он жил и работал; Ижевск, с которым был связан научными и дружескими узами еще с кормановских лет; и Петербург — центр изучения Достоевского, главного писателя в филологической и духовной «карьере и фортуне» Владислава Анатольевича.

На приглашение редакции «Филологических записок» присласть материалы, посвященные памяти В. А. Свительского, отозвались многие известные литературоведы. Редакция не ограничивала авторов в выборе жанра, и читателям предлагаются разные тексты — от некрологических заметок и воспоминаний до статей и глав будущих монографий, которые их авторы посчитали созвучными научным интересам и личности Владислава Анатольевича. Эти тексты составили в номере особый раздел, открывавшийся материалами, которые должны познакомить читателей с «трудами и днями» В. А. Свительского как ученого и как редактора «Филологических записок». Завершают раздел избранные страницы из переписки В. А. Свительского и Б. О. Кормана, публикуемые Е. А. Подшиваловой и сопровождаемые ее статьей о взглядах двух исследователей на автора — магистральную тему их размышлений о литературе.

Всем тем, кто в столь сжатый срок сумел принять участие в выпуске, мы выражаем свою искреннюю признательность.

Редакция сочла необходимым и в настоящем — «мемориальном» — номере сохранить в целом прежнюю рубрикацию вестника — и для того, чтобы подчеркнуть верность традиции, и для того, чтобы не прерывать выполнения обязательств перед приславшими свои работы ранее, и для того, чтобы этим также отдать дань памяти Владиславу Анатольевичу как редактору, думавшему о содержании будущих номеров.

*И я выхожу из пространства
В запущенный сад величин
И мнимое рву постоянство
И самосознанье причин.*

*И твой, бесконечность, учебник
Читаю один, без людей, —
Безлистенный, дикий лечебник,
Задачник огромных корней.*

O. Мандельштам

**ПАМЯТИ
ВЛАДИСЛАВА АНАТОЛЬЕВИЧА СВИТЕЛЬСКОГО**

**О. Ю. Алейников
«БЕЗ ИСТИНЫ ТРУДНО ЖИТЬ»
(О В. А. Свительском)**

У Н. М. Митраковой сохранилась фотография конца 1960 гг. с шутливой надписью «Заговор обреченных». На снимке — мгновение ушедшей эпохи: в пригородной электричке что-то оживленно обсуждают В. Свительский, аспирант кафедры русской литературы ВГУ, З. Я. Анчиполовский, отвечавший в те годы за литературно-критический отдел журнала «Подъем», и В. П. Скобелев, работавший на кафедре советской литературы Воронежского университета.

Единомышленники, они понимали, что «историческое межсезонье», породившее столько иллюзий и надежд, близилось к концу. В столичных и местных издательствах — с цензурными изъятиями, но еще выходили неизвестные тексты А. Ахматовой и М. Цветаевой, И. Бабеля, М. Булгакова, Б. Пильняка, А. Платонова, М. Зощенко, Н. Шмелева, других писателей. Еще наполняли после занятий университетские аудитории студенты, чтобы обсудить некогда запретные произведения, но власти все сильнее «каменели в старых воззрениях» (Б. Ямпольский), время постепенно катилось вспять.

В провинциальном Воронеже В. Свительский заставил говорить о себе еще в годы оттепели как о талантливом литературном критике и серьезном литературоведе, склонном к глубоким теоретическим обобщениям. Большой резонанс вызвала его статья «Необходима современность мышления!», опубликованная в первой книжке журнала «Подъем» за 1964 г. (она была посвящена критическому разбору разного рода штудий из вузовских «Ученых записок»). Логика и система аргументов, развернутые в статье, подсказывали, что ее автор — сторонник либеральной ветви литературного процесса — использовал ритуальные формулы и цитаты из «словника» партийной печати для выявления методологической несостоенности работ тех записных «литературоведов», кто, следуя традициям этой печати, под готовую схему подгонял тенденциозно отобранные наблюдения и факты. Полагаю, едва ли случайно получившая известность статья подписана псевдонимом «В. Чертков». Ее автор сознательно скрывался под маской сторонника марксизма. Мало кто догадывал-

ся, что статья написана студентом-филологом, которому не исполнилось и 24-х лет, что еще со школьной скамьи он находился в непримиримом конфликте с официальной догмой.

…Владислав Анатольевич Свительский родился в Воронеже 15 февраля 1940 г. Его мать Людмила Евгеньевна принадлежала к одной из ветвей рода Чертковых, подарившего миру революционеров, просветителей, издателей. Правда, о генеалогическом древе старались в семье не вспоминать или говорили глухо, вполголоса, опасаясь доносов.

Отец — Анатолий Федорович Свительский, служивший в одном из отделений госбанка, в первые месяцы Великой Отечественной войны был призван в танковые войска и в 1942-м году погиб в боях за Северный Кавказ.

Рано осиротев, еще до поступления в школу, научившись различать «два важнейших противоречия жизни — между праздниками и буднями, между бедностью и богатством…»¹, Слава Свительский не утратил доброго отношения к окружающим. «Он был какой-то «лучезарный», — говорила о нем его младшая сестра Татьяна. — Вбегал в комнату с такой радостной улыбкой, точно сделал какое-то открытие, о котором хочет сейчас всем сообщить»². Впрочем, жили Свительские очень трудно и скучно. В годы войны, оказавшись на оккупированной территории, мать была лишена возможности найти достойную работу.

Начав задаваться вопросами к миру, Владислав решил в школе вести дневник, соединяя в свободном повествовании впечатления о прочитанных книгах и повседневной жизни. Вот записи 1955 г.: «Как тяжело и не видно выхода, не видно». «Я искал народ, которому можно отдать жизнь, которому можешь служить вечно, о котором так много думали и говорили, думают и говорят, но я нашел лишь толпу, темную, грозную... Или найду, или узнаю: нет того, что я ищу. Ищу ясное и главное — Истину всю. Ищут же *большое* не две недели, а десятки лет, и я буду искать. Да, я буду искать!»

Тогда же, в школьные годы, пришло увлечение Ф. М. Достоевским. Как видно из дневника, уже тогда неоднократно перечитаны «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», другие тексты, разрешенные к переизданию. Тогда же начата работа по осмыслению особенностей мировосприятия писателя.

…Каждое поколение ученых и литературных критиков начинается с осознания новизны стоящих перед ним профессиональных задач, с выработки общественно значимой позиции. У тех гуманитариев, кто заканчивал школу после XX съезда партии, а вуз — в первой половине шестидесятых, профессиональное

и гражданское самоопределение происходило одновременно с реабилитацией классической отечественной филологии. Главным событием «литературоведческого возрождения» стало переиздание в 1963 г. книги М. М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского». По свидетельству В. А. Свительского, эта работа сразу же ошеломляла уровнем мысли, глубиной и самостоятельностью. Автор говорил на своем языке, не совпадавшем с обезличенным наречием официальной науки. Полифония голосов и позиций, множественность точек зрения и мнений провозглашались первичными условиями существования реальности. «Не только словесное творчество — мир всей жизни и человечества зазвучал многими голосами, раскрылся в вечном диалоге и споре благодаря тому, что Бахтин предложил так посмотреть на него», — много лет спустя поделится В. А. Свительский впечатлениями от прочитанной книги³.

М. М. Бахтин воспринимался многими как духовный учитель, живший в «нездешнем измерении», давно обогнавший эпоху нелепых рассуждений о прогрессивном или реакционном «мировоззрении» художника. В работе о Достоевском саранский изгнаник доказал, что «можно, не касаясь личности писателя, раскрыть его творчество не только в эстетическом, но и в философском и нравственном значении»⁴.

Для нескольких поколений гуманитариев «Проблемы поэтики Достоевского» сыграли исключительно важную роль в постижении секретов литературы и законов культуры. «Сама атмосфера спора вокруг построений Бахтина была продуктивна. Принцип полифонизма, открытый и описанный ученым, объяснил многое в творчестве создателя «Братьев Карамазовых» и русской прозы XIX в., но условия его реализации нуждались в прояснении»⁵. М. Бахтин дарил «веру, воплощенную в методологию» (В. Турбин), но и побуждал к самостоятельному поиску, к «более углубленному пониманию принципов и форм авторского присутствия в произведении»⁶. Не будет преувеличением сказать, что в отношении к построениям и выводам выдающегося ученого В. А. Свительский избрал позицию «независимого бахтинианца», как он сам скажет Михаилу Бахтину при личной встрече. По работам, появившимся в 1960—1970-е гг., видно, какие вехи избирались на этом пути воронежским исследователем.

Несомненно, большое значение для В. А. Свительского имело знакомство с идеями Б. О. Кормана, работавшим тогда в Борисоглебском педагогическом институте. Его имя тогда еще почти не было известно, но в студенческой статье «Необходима современность мышления!» уже появится сочувственная

оценка методики анализа художественного текста, предложен-
ной этим выдающимся ученым. Через некоторое время, имея
в виду этот и другие отзывы, создатель тогда еще формирую-
щейся научной школы, известной теперь как «теория автора»,
«субъектно-объектный метод», в шутку назовет В. А. Свитель-
ского своим первым «публичным покровителем».

Таковы были реалии времени: вдохновленные опытом преж-
них поколений, сторонники «нового научного зрения» (Вл. Но-
виков) не сразу находили информационное поле для обнаро-
дования и обсуждения современных идей и концепций. Сосре-
доточенность последователей субъектно-объектного метода на
проблеме автора, описание различных способов выражения ав-
торского сознания в художественном тексте в известном смысле
действительно были идеологическим «вызовом», очевидной
методологической «дерзостью»⁷. Представители официальной
академической науки не признавали этих подходов: «в партий-
ной эстетике, эстетике победившего и развитого социализма,
все уже было раз и навсегда «объяснено». «Заняться на рубеже
50—60-х годов проблемой автора — это значило заняться, во-
первых, личностным и общезначимым творческим проявлени-
ем человеческого начала в литературе и, во-вторых, даже не
минуя идеологии, но теоретически обтекая ее, погрузиться в
специфику художественного изображения, его структуру, про-
никнуть в нее до постижения содержательности формы: тогда это
была новинка, хотя и возвращенная из прошлого, сохранен-
ная теми, кто оставался хранителями огня, кто видел суть дела,
несмотря ни на что»⁸.

Подвижническая деятельность Б. О. Кормана разрушала сло-
жившиеся стереотипы о неравенстве развития науки в столице
и провинции. В 1967-м году в удаленном от академических
центров Борисоглебске состоялась необычная для «глубинки»
конференция. Она выделялась не только составом участников
(среди них — Б. Я. Бухштаб, Л. Я. Гинзбург, Б. Ф. Егоров,
В. П. Скobelев, А. П. Чудаков), но и новизной, и серьез-
ностью обсуждавшихся проблем. Знакомя читателей с итогами
ее работы, воронежские литературоведы отмечали событийность
и масштабность состоявшегося научного разговора⁹.

Внимание к проблемам художественной формы, к структур-
ным соотношениям в тексте, к принципам повествования, при-
знание текста первичной реальностью литературы, поиск адек-
ватных методов анализа произведений, стремление к осмыслен-
ной методологии и терминологической четкости, скрупулезное
изучение опыта предшественников и опора на достижения

отечественной и мировой литературоведческой мысли — все эти черты современной науки в то время не были повсеместным явлением и требовали доказательной реализации, многолетних трудов и усилий. Немаловажным фактором в повышении уровня нашего литературоведения стали сборники, посвященные изучению проблемы автора. Сначала они готовились в Борисоглебске и выпускались в Воронеже. Затем, после переезда Б. О. Кормана в Ижевск, они выходили в Удмуртском университете. В. А. Свительский входил в редколлегию этих изданий, выступал автором публикуемых в них статей. Показательно, впрочем, что, уточняя в сборнике, выходившем под редакцией создателя «теории автора», применяемые дефиниции, воронежский ученый отметит, что предложенная им терминология «является дальнейшим развитием системы понятий, определенных в работах Б. О. Кормана, но отчасти расходится с ней»¹⁰.

В ноябре 1971 г. В. А. Свительским защищена кандидатская диссертация «Мироотношение Достоевского и принципы его воплощения в романах писателя 60—70-х годов». Выбор темы был сделан самостоятельно и осознанно, но оценим и последовательность ученого: диссертация выросла из дипломной работы, а та, в свою очередь, из дневниковых записей школьной поры. В мире великого писателя В. А. Свительского не переставали интересовать уровни культурного горизонта, проблемы «авторского смысла в ряду других значений литературного произведения», логика оценки героя, характер композиционных и повествовательных решений. И другое, важное: задолго до потрясений и трагедий XX века создатель «Бесов» увидел перспективы духовного роста и «самостоянья» личности в «эпоху перемен», установил, насколько губительна идеология, порывающая с гуманистическим измерением жизни.

Эти проблемы, осмысленные в диссертации на материале произведений русского классика, приобретали исключительно современное звучание в другую историческую эпоху в условиях усиления цензурных запретов.

На рубеже 1960—1970-х гг. В. Свительский часто выступает со статьями о русской литературе XX в. Напомню, что именно в эти годы многие критики и литературоведы, столкнувшись с противостоящими для научного анализа ограничениями в работе с источниками, с запретом на упоминание имен и фактов, с регламентированным подбором научных тем, уходили в изучение древней, зарубежной или русской классической литературы. Иным был путь тех, кто продолжал искать средства подцензурного изложения, понимал, что при любых обстоятельствах необходимо писать по-настоящему об изгоях нового времени»¹¹.

К творчеству А. Платонова и О. Мандельштама исследователь проявлял особенно устойчивый интерес, подогреваемый местными историко-биографическими подробностями. В Воронеже оставались адреса, по которым можно было найти людей, лично знавших создателя «Ямской слободы». К воронежцам приезжал Л. Шубин, открыватель творчества А. Платонова, здесь продолжала жить Н. Штемпель, дружившая с О. Мандельштамом. Она делилась воспоминаниями, давала читать редкие тексты, однако в Воронеже из-за цензурных запретов в официальной обстановке изучать творчество репрессированного поэта реальной возможности не представлялось.

А. Платонов формально репрессирован не был, но научное изучение его художественного наследия также сталкивалось с противодействием. Напомню, в частности, что в мае 1968 г. в Воронежском университете должна была состояться первая в нашей стране научная конференция, посвященная изучению жизни и творчества Андрея Платонова. Мысль о ее проведении возникла в одной из бесед В. П. Скobelева и В. А. Свительского, начавшего читать в университете спецкурс о романах Ф. М. Достоевского. Была отпечатана программа. Коллеги из разных городов, поддержавшие эту инициативу, не могли предусмотреть, что в изменившейся общественной атмосфере публичное обсуждение творчества опальных писателей рассматривалось как источник инакомыслия. Конференцию отменили распоряжением свыше. И все же благодаря усилиям В. П. Скobelева, О. Г. Ласунского, работе, проделанной В. А. Свительским, Т. А. Никоновой и др., в издательстве Воронежского университета в 1970 г. был выпущен и стал подлинным событием первый научный сборник о творчестве А. Платонова. Статья В. Свительского «Конкретное и отвлеченное в мышлении А. Платонова-художника», открывавшая это издание, намечала иные, чем прежде, возможности подцензурной интерпретации. Говоря о поэтике писателя, устанавливая стилеобразующие законы прозы, автор статьи затрагивал и проблемы современности. Не только о сюжетной коллизии, сколько о переживаемой на рубеже 1960–1970-х гг. конкретно-исторической ситуации, позволяло судить такое, например, умозаключение: «Если слепая и одинаковая участь сводит людей в одно место, одно сообщество, делает маловажной самость каждого, то при исчезновении условий, сливших разных людей в безличную массу, это казавшееся нерасчлененным целое рассыпается»¹².

Отсутствие ссылок на труды «классиков марксизма» свиде-

тельствовало о своеобразной смене прежнего языка, о переосмыслении автором статьи былого арсенала подцензурной фразеологии. Идеологическая фронда в 1970-е гг. не всегда оставалась незамеченной. Когда без ссылок на ленинские работы о Л. Толстом в журнале «Подъем» вышла статья В. А. Свительского о романе «Анна Каренина», автора вызывали в партком и к ректору педагогического института, где он тогда работал. Далеко не все научные труды, созданные в то время, прошли редактуру и академическую цензуру без потерь. Статья «Радостное состояние поэзии» в авторской редакции имела название «Тайная музыка свободы». Предложенная в научный сборник статья «Нормы критики и практика художника (А. Неверов о Б. Пильняке)» была отклонена ответственным редактором, заявившим, что нет возможности печатать статью о творчестве антисоветского писателя, и увидела свет позже, в сборнике, составленном в другом городе. Статья «Фантазии молодого Платонова», опубликованная в университетском сборнике «Революция, жизнь, писатель» за 1979 г., задумывалась как комментарий к публикации неизвестных платоновских текстов в воронежском краеведческом сборнике «Собеседник», но была заменена куратором из областного комитета партии на другой материал. На публикацию статьи о «Воронежских тетрадях» О. Мандельштама не было надежд до 1990 г., хотя эта заметная работа ученого была в основном завершена еще в начале 1980-х.

И в литературно-критических статьях В. Свительского подцензурная эпоха отразилась многозначительными, в том числе и трагическими иносказаниями. Характерны даже некоторые названия работ: «Исповедуется поколение» (1969), «Преодолевший безвременье» (1974), «Хроника горя и надежды» (1974), «Игра, в которой проигрывают все» (1975), «Как существуют тени» (1976), «Преодоление» (1976), «Как «арап» с целым веком спорил» (1977), «Вызов рабской немоте» (1978) и др.

Чаще всего поводом для выступления становились новые театральные постановки, экранизации произведений русских классиков, юбилейные даты. Но речь шла и о том, что не могло не волновать «историка современности», призванию которого, по точному выражению одного из критиков, всегда был привержен В. Свительский: о способности человека противостоять напору исторических обстоятельств, о достоинстве личности, не поддающейся порокам гражданской апатии, о слабости заложников всеобщего ослепления и высокой миссии гуманистического искусства.

Не только идейное и «лингвистическое неповинование» (вы-

ражение И. Бродского) догме, но и профессиональные требования, принадлежность к сохранившему достоинство научному сообществу формировали особый тип исследовательского поведения, в соответствии с которым, «занимаясь наукой», следовало считать ее не карьерным, но подлинно общественным и личным делом, а печатное или произнесенное в аудитории слово — фактом собственной духовной биографии, в котором с течением времени не придется раскаиваться. Надо ли добавлять, что осознание и осуществление этой задачи чаще всего не способствовали шумному «успеху», легкому и быстрому «прохождению» рукописи, большому тиражу или «престижному» месту выхода издания...

И все же нельзя сказать, что атмосфера безвременья заставляла вузовских ученых молчаливо пасовать перед, казалось бы, неразрешимыми задачами. Выпускники разных поколений, слушавшие в 1970-е и в начале 1980-х годов лекции В. А. Свительского о русской литературе XIX века, рассказывают, что предусмотренные программой произведения и в глухую эпоху лектор анализировал с непривычных позиций, то предлагая подумать, на самом ли деле привлекательна фигура литературного героя, живущего идеями революционного бунта (мало кто из слушателей хотел учиться в одной группе с Евгением Базаровым, жить на одной лестничной клетке с Родионом Раскольниковым и т. п.), то останавливаясь на подробном разборе текста именно там, где авторы учебников, одобренных высокими инстанциями, обрывали цитату, отступали от фактов. В классике XIX века преподаватель видел объяснение трагедий XX столетия¹³.

С новыми временами пришли и новые проблемы. На рубеже 1980—1990-х гг. были сняты запреты на публикацию произведений из потаенного слоя русской классики, отменена цензура. Но издательский бум сопровождался публикацией неточных, а иногда и подтасованных сведений о жизни и творческом поведении выдающихся писателей XIX и XX столетий. Исторической энтропии можно было противопоставить только факты и ясную, последовательную позицию. Хорошо помню, как в конце 1980-х В. А. Свительский сформулировал свою творческую позицию: «Свободное время помогает видеть шире и глубже. Пришла пора открытого слова». Многие его выступления имели в те годы ярко выраженную полемическую направленность. Назову, в частности, статьи: «Необходимые возражения» (1988), «Легко ли бросить камень?» (1991), «Факты и домыслы: о проблемах освоения платоновского наследия» (1993), «Достоевский не ваш, господа!» (1993) и многие др.

И характерно, что в научной биографии В. А. Свительского именно 1990-е гг. были самыми плодотворными. В издательском центре «Русская словесность» вышла книга статей об А. Платонове, созданных ученым в течение тридцати лет. В воронежской областной типографии им. Е. Болховитинова были выпущены составленные В. А. Свительским два сборника произведений — А. Платонова и О. Мандельштама. В 1995 г. им защищена докторская диссертация «Герой и его оценка в русской психологической прозе 60—70-х годов XIX века». В этом исследовании подводились итоги работы ученого за четверть века. В. А. Свительским был предложен подход, позволявший оперировать строго научными критериями в постижении «аксиологического аспекта литературного изображения». Многие идеи и положения, высказанные автором диссертации еще в 1970—1980-е гг., давно и прочно вошли в научный оборот. К таким, в частности, следует отнести проблему сюжетно-композиционной оценки, такова методика «обнаружения и научно взвешенного анализа оценочного освещения героя писателем», такова разработанная В. А. Свительским общая теория художественной оценки. Монография, посвященная этой проблематике, при жизни автора не была опубликована, но запланировано посмертное издание.

С 1996 г., с 7-го выпуска, ученый становится главным редактором «Филологических записок», сменив на этом поприще О. Г. Ласунского. Многие годы отданы этому изданию. Приведу интересный внешний отзыв, подготовленный профессором Самарского университета Н. Т. Рымарем: «...издание фактически превратилось в известный научный журнал, и, если не считать «Дискурса», — практически единственный нестоличный филологический журнал в России. Издание приобрело высокий научный авторитет, и он завоеван высочайшей квалификацией редактора и весьма ответственной и тщательной, буквально подвижнической работой по отбору и подготовке рукописей. Из опыта общения с В. А. Свительским знаю, что он не только отбирает, но и специально заказывает статьи, анализирует их с авторами, часто возвращает на доработку, целенаправленно формируя круг проблематики и общей научной направленности как отдельного номера, так и издания в целом. Очень важно, что журнал <...> приобрел свое лицо — его статьи и материалы ориентированы не на внешние эффекты, не на злободневность и модную тематику и проблематику, а на глубокое, ответственное постижение духовного потенциала классического достояния русской культуры XIX—XX веков в его глубинной,

истинной актуальности для нашей эпохи <...> Нет нужды говорить, что значит подобное периодическое издание для науки и для школы. Это создание и пестование определенной духовной среды и атмосферы, формирование определенного научного направления, определенного типа филологической культуры — всего того, без чего не могут жить гуманитарные науки»¹⁴.

Преувеличения здесь нет. «Вестник филологии и языкоznания», вошедший в историю науки как «Филологические записки», был для В. А. Свительского не просто журналом, но и делом последних лет жизни.

...Еще пятнадцатилетним он поклялся искать истину, пусть даже потребуются десятилетия. Эту клятву Владислав Анатольевич Свительский неукоснительно соблюдал полвека, нередко поступая «неразумно», подписывая письма-протесты, вступаясь за гонимых. Он любил людей, доверял им. И потому, наверное, был любим многими своими единомышленниками, учениками.

Он не задавался целью создать академический центр им. В. А. Свительского, но идеи ученого востребованы современной наукой о литературе, его труды хорошо известны и в России, и в мире. И, стало быть, школа, которую он формировал, достойна его имени. Осталась школа верности профессии, духовного и творческого родства, щепетильности и безусловной порядочности.

¹ «Интереснее жизни ничего нет» [На вопросы Л. Кройчика отвечает В. Свительский] // Воронежский курьер, 2000, 19 февр.

² Архив Н. М. Митраковой.

³ Свительский В. А. Идси М. М. Бахтина и современное изучение русской литературы XIX века // М. М. Бахтин и перспективы гуманитарных наук. Витебск, 1994. С. 122.

⁴ Гинзбург Л. О Старом и новом: Статьи и очерки. Л., 1982. С. 55.

⁵ Свительский В. А. Герой и его оценка в русской психологической прозе 60–70-х годов XIX в. Дис... докт. филол. наук. Воронеж, 1995. С. 16.

⁶ Там же. С.16.

⁷ Свительский В. А. Путь Б. О. Кормана и развитие литературной науки // Кормановские чтения: Материалы межвуз. научн. конф., посвящ. 75-летию со дня рожд. проф. Б. О. Кормана / Сост.-ред. Д. И. Черашняя и В. И. Чулков. Ижевск, 1998. Вып. 3. С. 5.

⁸ Там же. С. 5.

⁹ Свительский В. А., Скobelев В. П. Борисоглебская встреча // Подъем, 1967. № 4. С. 174–176.

¹⁰ Свительский В. А. Об изучении авторской оценки в произведениях реалистической прозы // Проблема автора в русской литературе. Ижевск, 1978. С. 6.

¹¹ Письмо В. А. Свительского О. Алейникову от 15.11.1998 (архив автора статьи).

¹² Свительский В. А. Конкретное и отвлеченное в мышлении А. Платонова-художника // Творчество А. Платонова. Статьи и сообщения. Воронеж, 1970. С. 18.

¹³ Многое из того, что некогда обдумывалось и обсуждалось в аудитории, записано и опубликовано. См, например: Свительский В. А. «Можно ли жить бунтом?..» // Филол. записки. 1993. Вып. 1. С. 171–180; Свительский В. А. Сюжет и авторская оценка героя в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» // Проблема автора в художественной литературе. Ижевск, 1993. С. 114–124; Свительский В. А. О значении фикций в филологической науке и духовной жизни интеллигенции // Мужской взгляд. Сб. филол. эссе. Воронеж, 1997. С. 8–10; и др.

¹⁴ Из письма В. А. Свительского (сентябрь. 1999 г.)

Е. А. Подшивалова

В. А. СВИТЕЛЬСКИЙ — РЕДАКТОР «ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ЗАПИСОК»

Наверняка не у одного десятка филологов в нашей стране и за рубежом есть в домашней библиотеке полочка, на которой стоят разноцветные томики воронежских «Филологических записок». Взяв в руки это издание однажды, становишься неизменным его читателем и почитателем. В июне 2002 г. я была свидетелем сцены, когда приехавший на кафедру русской литературы ВГУ В. В. Мусатов получил в подарок от В. А. Свительского только что вышедший из печати очередной — семнадцатый — номер журнала и, просмотрев его взглядом опытного книжника, твердо сказал: «Я хочу иметь весь комплект». Всего комплекта тогда не нашлось, но он удовлетворенно увез в Новгород большую часть собрания.

Журнал располагает к себе уже внешним видом. Непретенциозно, по-свойски выглядят и его небольшой, удобно ложащийся в руку размер, и шероховатая обложка, а упоминание на ней об издателе А. А. Хованском, основавшем «Филологические записки» в 1860 г., убеждает в том, что не все тленно в этом мире, что жизнь печатного издания долговечнее исторических катастроф прошедшего столетия («Среди могил на мировом погосте / Звучат лишь письмена»). Меняются эпохи и ответственные редакторы, а направленность журнала остается неизменной. Что же ее характеризует?

Воронежский «Вестник литературоведения и языкознания» ориентирован прежде всего на продолжение отечественной филологической традиции. Открывая в 2003 г. двадцатый юбилейный номер журнала редакционной статьей, В. А. Свительский напомнил, что не случайно в первом номере возобновленного

издания А. А. Слинько воссоздал историю старого, где печатались А. А. Потебня, Ф. И. Буслаев, А. Н. Веселовский. «Вклад русской провинции в отечественную культуру и науку по-настоящему значителен», — указывалось в статье, и, задавшись целью продолжить традицию серьезного научного издания, редакция воронежских «Филологических записок» сохранила лишь одно качество провинциальности в журнале — несуетность. Несуетность как свойство характера и профессиональная черта в полной мере была присуща В. А. Свительскому.

Под его редакцией в течение 9 лет (1996—2005) вышло 16 номеров журнала (№№ 7—22). Они адресованы широкой филологической общественности — ученым, аспирантам, студентам, учителям-словесникам и всем читателям, интересующимся историей и культурой Воронежского края. Внимание к журналу различной читательской аудитории обеспечивается разнообразием рубрикации. В чем своеобразие выстраивания содержания «Вестника...»?

Самый авторитетный раздел, с которого начинается большее количество номеров «Филологических записок», называется «Литература в движении эпох». Заложенная в названии мысль о динамике литературного развития позволяет формировать содержание раздела с учетом одного доминирующего фактора — хронологии. Поэтому в разделе богатый историко-литературный материал — и отечественный, и зарубежный. Однако при чтении обнаруживается, что статьи подобраны таким образом, что между ними есть не только хронологическая, но и внутренняя проблемная связь. Обратим внимание, например, на то, как она возникает в материалах, составляющих данный раздел в седьмом выпуске «Записок». Он открывается статьей А. Б. Ботниковой «Общение в романтическую эпоху», где на материале западно-европейской литературы описаны формы общения, разработанные романтиками, воплотившими в этих формах свои представления о человеке и выразившими свою ценностную систему. В следующей статье В. П. Скobelева, написанной к 75-летию со дня рождения Б. О. Кормана, анализируется теория автора, разработанная в трудах ученого. Однако система теоретических понятий Б. О. Кормана оказывается интересной В. П. Скobelеву не сама по себе, а как следствие «гуманистического измерения», лежащего в основе филологической науки. Теория автора представлена В. П. Скobelевым в качестве такого среза литературоведческого мышления, который направлен на познание мироозерцания художника, его личности. Таким образом, и в статье А. Б. Ботниковой, и в статье

В. П. Скobelева творческая личность стала главным объектом внимания. В первом случае речь идет о конкретных исторических формах ее художественного воплощения, во втором — о методологии ее литературоведческого анализа. И далее тот же объект — личность — в статьях Е. М. Таборисской и С. В. Савинкова предстает как проблема, через призму которой исследуется специфика лирики А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова. Е. М. Таборисская решает проблему «самостоянья человека» в пушкинских стихах на историческую тему, а С. В. Савинков описывает «демона-властелина», «драматическую персону» лермонтовской души, преграждающую человеку, изображеному в творчестве поэта, путь к «живой» красавице и жизни вообще» («ФЗ», № 7, с. 44). Далее от лермонтовских «демонов» речь переходит к гоголевским. В следующей статье А. А. Фаустов рассуждает о странностях гоголевского художественного зрения. В сферу литературоведческого разговора попадает уже не столько собственно-психологическое своеобразие человека-героя или автора, сколько категории художественного мира произведения (в частности, пространственная точка зрения повествователя). И вместе с гоголевской темой, с принципами пространственного изображения мира и человека читатель обращается к образу Петербурга. Следующая статья — В. Ш. Кривоноса — посвящена творчеству И. Бунина — абсолютно антигоголевского писателя, но ученый рассматривает его произведения в соотнесенности с петербургской традицией, заданной русской литературой. Так устанавливается не только хронологическая, но и семантическая связь между объектами исследования в статьях А. А. Фаустова и В. Ш. Кривоноса. В следующей статье М. К. Кшондзер творчество И. Бунина рассматривает в контексте поэзии Серебряного века. Исследование завершается размыщлением над библейской темой у И. Бунина и О. Мандельштама. И совершенно закономерно эти размышления сменяет статья О. А. Лекманова «Четыре заметки к теме «Мандельштам и Маяковский». Таким образом, мы видим, что хронологическая цепь, связзывающая имена художников в разделе, оборачивается проблемно-тематической или мотивной цепью. Сближенные через статьи различных авторов художественные миры внутренне перекликаются. Редактор, составляющий раздел книги, объединяет историко-литературный ряд своеобразным сюжетом.

Мы описали принцип сцепления статей в разделе «Литература в движении эпох», выбрав такой номер «Филологических записок», который не был приурочен ни к какой юбилейной

дате и не формировался в русле специально поставленной проблемы. Довольно часто внутри раздела статьи группируются по тематическому принципу. Например, в пятнадцатом номере журнала все статьи, включенные в рассматриваемую рубрику, можно разделить на две группы: одни рассматривают мироотношение и поэтику Л. Н. Толстого, другие — символистский текст русской литературы. В результате в центре внимания оказывается не столько развитие литературного процесса, сколько коллективное монографическое исследование творчества отдельного автора или ряда авторов. Покажем это, приведя хотя бы только названия статей. Так, толстовское творчество рассматривается в статьях В. Б. Ремизова «Обретение своего пути (Л. Толстой читает И. Канта и А. Шопенгауэра)», Е. М. Таборисской «Святки в романном контексте «Евгения Онегина» и «Войны и мира», Т. Н. Куркиной «Природа в рассказах Л. Толстого «Набег», «Рубка леса» и повести «Хаджи-Мурат», Н. Д. Тамарченко «Точка зрения героя и авторская позиция в структуре драмы («Живой труп» Л. Толстого)», С. А. Шульца «Символическое и притчевое начало в драматургии Л. Толстого». Как видим, в область исследовательского зрения попало романное, драматургическое творчество писателя, его малая проза, семантика и функции отдельных образов, принципы формирования мироотношения и способ выражения авторской позиции. Русский символистский текст представлен в статьях раздела разными авторами. Помимо названной статьи С. А. Шульца, где говорится не столько о символизме, сколько о принципах символизации, необходимо обратить внимание на работы Е. А. Михеичевой «Леонид Андреев и символисты», С. Ю. Корниенко «О философской парадигме книги М. Кузьмина «Сети»», О. А. Долговой «К истории формирования сборника А. Блока «Седое утро»». Сюда же культурно-типологически примыкают статьи С. М. Шаулова, С. Рэндала, М. Н. Недосейкина, описывающие опыт западно-европейского романтизма и модернизма. Как видим, выдержан историко-литературный принцип формирования раздела (от Л. Толстого к символистам, от западно-европейского романтизма к русскому символизму, а затем к европейскому модернизму) и монографический (в разделе материал группируется в два минимонографических исследования).

Иногда историко-литературный раздел открывается материалами, позволяющими поставить и обсудить вопросы теории литературы. Так, восьмая книга журнала начинается с публикации отзыва М. Л. Гаспарова о диссертации И. С. Приходько

«Мифопоэтика А. Блока» и ответов соискателя ученой степени на вопросы и замечания оппонента. В представленных материалах обнаруживается несовпадение взглядов на мифопоэтику. М. Л. Гаспаров предлагает считать ее «частью общей поэтики подтекстов, частью интертекстуальной поэтики и не искать для нее особых методов» (С. 7). И. С. Приходько уважительно, но непреклонно отстаивает противоположную точку зрения: «Интертекстуальный анализ является частным случаем мифопоэтического анализа» (С. 14). Далее в статьях, составляющих раздел, теоретический спор находит определенное разрешение в исследовательской практике: Е. А. Яблоков описывает мифопоэтический подтекст повести М. Булгакова «Роковые яйца», а Т. М. Двинятина и Ф. Н. Двинятина — интертекстуальные связи поэзии И. Бунина 1910-х гг.

Историко-литературная направленность журнала преобладает над теоретико-литературной направленностью. Это проявляется не только в названии основного раздела («Литература в движении эпохи»), но и в том, как тщательно редактор учитывал юбилейные даты, с каким завидным постоянством откликался на них. В «Вестнике...» оказались отмеченными 200-летие А. С. Пушкина, 100-летие А. Платонова, 50-летие со дня смерти и 70-летие присуждения Нобелевской премии И. Бунину, 100-летие со дня смерти А. П. Чехова, 150-летие со дня смерти Н. В. Гоголя, 200-летие со дня публикации «Слова о полку Игореве». Как видим, эти даты разнородны, и не все отмечаются, например, юбилей присвоения Нобелевской премии. По этому поводу в двадцатом номере опубликована прекрасная подборка материалов — письмо И. Бунина Ю. Трубецкому, письма М. А. Гофману, интервью с Н. А. Струве. Эти материалы позволяют существенно дополнить имеющееся знание об эмигрантском периоде жизни писателя. Бунинская тема — одна из сквозных в «Филологических записках», редактировавшихся В. А. Свительским.

Среди юбилейных статей особо хочется отметить посвященные «Слову о полку Игореве». В. А. Свительский так подобрал материалы этого раздела (работы М. В. Антоновой, А. М. Ломова, О. Ю. Аленикова), что вместо дежурного отклика на важную в культурологическом отношении дату на страницах журнала развернулась научная дискуссия, решаяшая вопрос о христианском или языческом мировоззрении автора «Слова...». Для В. А. Свительского важность публикации этих материалов состоит еще в том, что журнал, издаваемый А. А. Хованским, многократно обращался к этому литературному памят-

нику. В редакционной статье, завершающей юбилейный раздел, он называет опубликованные в 1862—1863 гг. записки М. де Пуле, в 1870-е гг. — материалы А. И. Смирнова и в 1877—1878 гг. публикацию «Слова...» и примечаний к нему А. А. Потебни. Это напоминание отражает стремление к редакторской преемственности, к сохранению традиций журнала. В этом просветительском жесте выражается также уважение к новому поколению читателей, забота о пополнении культурной памяти последних.

Тринадцатый выпуск «Филологических записок», посвященный 100-летию А. Платонова, достоин отдельной рецензии. Следует, однако, особо отметить, что редактор, будучи заинтересованным исследователем творчества своего земляка, не только собрал материалы в этот номер. Он выступает здесь как автор статьи, в которой соединяет трех великих «разночинцев» XX века — Чарли Чаплина, А. Платонова и О. Мандельштама, проявляет себя как рецензент книги Ольги Меерсон «Свободная вещь». Поэтика неостранения у Андрея Платонова», как комментатор публикуемых им же материалов, отражающих содержание бесед и переписки с родственниками А. Платонова. Самое же главное — это программная статья, которой В. А. Свительский открывает «платоновский» том «Записок». В ней он подводит итоги достигнутому в платоноведении к 100-летнему юбилею писателя, обозначает проблемы и ставит задачи будущих исследований. За всеми этими материалами — страстный темперамент литературоведа, не безразличного к национальному духовному достоянию. Такого же рода забота вела рукой редактора «Вестника», когда в двух номерах (четырнадцатом и шестнадцатом) он обратился к обсуждению проблемы «Достоевский в начале XXI века». Чтобы начать дискуссию, он обратился к участникам с вопросами, что обнаружил XX век в наследии Достоевского, какие открытия достоевковедов наиболее значительны, сохранил ли творчество Достоевского свою актуальность, какими путями пойдет наука о Достоевском, какие проблемы потребуют нового решения. Участники дискуссии К. Г. Щенников, Т. Киносита, Г. Г. Ермилова, В. П. Владимирцев, Ся Чжунсянь, А. П. Валагин, Н. Д. Тамарченко, В. А. Туманов, Н. Натова, В. В. Дудкин, Б. Т. Удовцов, Э. Эгеберг, Т. Шимидзу не только ответили на эти вопросы, многие из них выступили в этих номерах журнала со статьями, обнаружившими актуальные проблемы сегодняшнего достоевковедения. И среди этих статей прежде всего необходимо назвать работу В. А. Свительского «Самодостаточность

личности и жизненные роли героев Достоевского», где он разрешает вопрос о соотношении сущности человека в мире Достоевского и его жизненных и социальных ролей, которые он берется играть.

Культурно- и научно-просветительская миссия В. А. Свительского-редактора, заставлявшая его максимально участвовать в формировании каждого тома «Вестника» — в роли составителя, научного редактора публикуемых статей, автора собственных статей, комментатора публикаций, автора текстов редакторских статей, рецензента, — обусловила еще одну особенность воронежского журнала. В нем совершенно замечательный раздел «В мире книг». Принцип всеохватности, максимальной информационности ставит редактора перед необходимостью формировать эту часть журнала не просто мозаично, но, по мере возможности, системно. Так, рецензии на две вышедшие в 1995 г. книги об А. Платонове — Анни Эпельбоин «Строители руин» и Томаса Лангерака «Андрей Платонов. Материалы для биографии», предваряются направляющим читательское внимание заглавием: «Андрей Платонов с разных точек зрения. Взгляд из Парижа. Взгляд из Амстердама». В журнале помещены рецензии не только на многие значительные книги, вышедшие в 1996—2005 гг. в отечественных столичных и провинциальных изданиях, но и на зарубежные книги, особенно на те, которые посвящены творчеству воронежских писателей — неизменных персонажей статей, публикуемых в «Филологических записках».

Черноземный край как особое культурное пространство — предмет бережного, заботливого отношения В. А. Свительского. Поэтому всегда насыщен интересными материалами раздел «Из минувшего: публикации, воспоминания, сообщения». Среди особо примечательных материалов здесь необходимо назвать публикацию в восьмом и десятом номерах писем Б. М. Эйхенбаума к брату Всеволоду (1902—1903), подготовленную О. Г. Ласунским, дневника Б. М. Эйхенбаума 1923—1924 гг., подготовленную А. С. Крюковым. В этих и других материалах представлены разные этапы духовной жизни ученого. Но уже в письмах 1903 года просматривается будущий участник формальной школы — борец с классической филологией: «Удивительно глупо написана Белинским критика на «Евгения Онегина» (С. 220). В этом разделе можно также прочитать материалы об А. Н. Толстом (№ 9), о происхождении А. В. Кольцова (№ 20), швейцарский дневник С. П. Шевырева (№ 20). Систематически публикуются статьи о воронежских книжниках.

Раздел «Минувшее...» находит продолжение в разделе «Фак-

ты, события, имена». Здесь помещена информация о состоявшихся в России и за рубежом конференциях, создана летопись научных событий филфаков Воронежского университета и Воронежского педагогического университета, проявлено внимание к юбилейным дням рождения коллег-филологов и здесь же скорбные, исполненные живой памяти статьи об ушедших товарищах — А. А. Кретинине, Е. Г. Мущенко, А. А. Слинько, В. П. Скobelеве... Но сердечное чувство к коллегам звучит не только в словах прощания. В. А. Свительский в качестве редактора стремился продлить звучание их филологического голоса. Так, в семнадцатом и восемнадцатом номерах журнала опубликована работа А. А. Кретинина о В. Маяковском. И эта публикация выглядит как ответ на горькие слова некролога: «Он еще очень многое собирался сделать, увидеть, познать» («ФЗ», № 10. С. 269).

Воронежские «Филологические записки» — журнал, в котором всегда ощущается живое биение памяти о литературных фактах и культурных событиях, о людях, о неопубликованных рукописях... Отсюда сердечная отзывчивость, способность отреагировать на утраты пусть маленьkim, но памятливым жестом. Так, в семнадцатом выпуске как отклик на смерть Виктора Астафьева, как напоминание о его голосе появляется крохотный рассказ писателя «Звезды и елочки».

Необходимость формирования культурной памяти, необходимость записывать свою историю руководила В. А. Свительским, когда он ввел в «Филологические записки» новый раздел «Культурное гнездо» и успел опубликовать два материала — в восемнадцатом и двадцать втором номерах: «Орловское культурное гнездо» и «Смоленское культурное гнездо». В его планы входило сделать и другие подобные обзоры... Хотелось бы надеяться, что воронежский «Вестник» продолжит эту работу.

В «Филзаписках» проявилось стремление написать и свою историю — историю филфака Воронежского университета. В шестнадцатом и семнадцатом номерах опубликован живой разнообразный материал. Здесь и воспоминания бывших студентов, и стихи, и отчеты о защитах и конференциях, и список опубликованных на факультете в последние годы книг. Хотелось бы, чтобы этот список пополнился названием еще одной книги, в которой содержался бы перечень статей, опубликованных в «Вестнике». Библиография «Вестника» необходима, ибо материалы, здесь опубликованные, должны быть достоянием как можно большего числа филологов. Кроме того, описание содержания выпущенных в свет номеров журнала — это еще одна страничка истории кафедры и факультета.

Со страниц раздела «К 60-летию филологического факультета» звучит жизнеспособный, профессионально уверенный голос тех, кто в Воронеже составляет филологическую среду. И этот голос отзыается еще в двух разделах журнала — «Учителю словесности» и «Дебют». В первом из них, адресованном учителям, обсуждается достаточно широкий круг тем — от анализа современной ситуации в преподавании литературы и поисков ответа на вопрос, зачем преподавать литературу в школе (статьи В. М. Акаткина, В. А. Свительского, Е. Г. Мущенко — «ФЗ», № 8), — до размышлений о «школе Л. Толстого» и методических раздумий самих учителей (статьи В. Б. Ремизова, Т. И. Каниной, Т. Н. Макеевой, Г. В. Петуховой, А. А. Шапошникова — «ФЗ», № 10). Раздел «Дебют» появился, очевидно, как результат работы В. А. Свительского в качестве секретаря диссертационного совета. Здесь имена тех, кого он заботливо готовил к будущей профессиональной деятельности. Эта забота объясняется не только обязанностью педагога растить смену, не только человеческим свойством любить и поддерживать молодых, но еще и жизненной позицией, которая состоит в том, чтобы отдавать долги. Отдавать долги — это тоже чувство памяти. Непрерывная ниточка, тянущаяся от поколения к поколению...

Наверное, случаен факт, на который нельзя не обратить внимания: седьмой номер «Филологических записок» — первый из вышедших под редакцией В. А. Свительского и последний подготовленный им к печати двадцать второй — оба открываются статьями А. Б. Ботниковой. Она была любимым университетским преподавателем В. А. Свительского, которому он сохранил преданность в течение всей жизни. Зная его способность к знаковым жестам, можно предположить, что это могло и не быть случайностью. Но все же хочется верить, что не горькая мысль, а слепая судьба водила при этом его рукою...

Г. К. Щенников
ПАМЯТИ
ВЛАДИСЛАВА АНАТОЛЬЕВИЧА СВИТЕЛЬСКОГО

Скорбная весть о кончине Владислава Анатольевича Свительского мгновенно облетела литературоведов России, вызвав горестный отклик и глубокое соболезнование у всех, знавших и ценивших замечательного человека и ученого.

Я был его давним другом, с ноября 1971 года, со 150-летия Достоевского, собравшего исследователей писателя под крышей Пушкинского Дома (ИРЛИ).

Тогда его и меня, недавно защитивших кандидатские диссертации по творчеству Достоевского, — а в то время даже такие работы о некогда «опальном» гении почитались «событием» — сердечно встретил и навсегда породнил Георгий Михайлович Фридлендер. В достоевсковедении мы со Славой всю жизнь шли путями близкими и часто пересекавшимися (видимо, не случайно, второй выпуск «Материалов и исследований» по Достоевскому Г. М. Фридлендер открыл нашими статьями). Но только сейчас, когда между нами пролегла фатальная черта, я начинаю понимать масштабность В. А. Свительского как человека науки — личность уникальную и вместе с тем образцового ученого и интеллигента.

Специалист исключительно принципиальный, неуступчивый в оценке литературных имен и явлений, он всегда был доброжелателен в общении с коллегами и любые возражения своим оппонентам, иногда весьма резкие по сути, умел высказать в форме корректной, необидчивой. Владислав Анатольевич был щедр душой — всегда участлив и заботлив в отношении к друзьям-достоевистам.

Меня всегда поражала широта научных и культурных интересов Владислава Анатольевича: способность совместить пристрастие к Достоевскому, Л. Толстому, Щедрину, Лескову и любовь к корифеям XX века А. Платонову, О. Мандельштаму с интересом к авторам множества современных книг, кинофильмов, спектаклей, на которые он писал свои рецензии, — к авторам зачастую всемирно известным, как А. Тарковский, А. Кончаловский, а нередко и совсем неизвестным. Все же в этом многообразии строго определяется и магистральная избирательность ученого: сосредоточенность на болевых и «спорных» проблемах отечественного искусства, на сочинениях первоклассных мастеров, не вписывавшихся в коммунистическую доктрину. Критический талант Свительского формировался в условиях трудных для печати, когда для публичного выражения самостоятельной, неангажированной мысли требовалось достаточное мужество.

В литературоведении он скоро нашел свою нишу. Только что закончивший Воронежский госуниверситет молодой ученый выступил бок о бок с создателем новой научной школы — теории автора, поэтики авторского присутствия и оценки в лите-

ратуре — Борисом Осиповичем Корманом. В. А. Свительский не был всего лишь «учеником Кормана» — он был его соратником, умевшим горячо, действительно по-разному отстаивать, защищать новое научное направление. А главным учителем его и вдохновителем теоретико-методологических поисков был, прежде всего, Михаил Михайлович Бахтин, к которому Владислав, называвший себя «независимым бахтизианцем», ездил на поклон в г. Климовск и получил от него «научное благословение». Важнейшие работы Свительского по творчеству Достоевского и русской литературе XIX века, в том числе и его докторская диссертация, посвящены исследованию проблемы автора в русской прозе. Свидетельством тому и 17 статей, опубликованных в справочнике-словаре «Достоевский. Эстетика и поэтика» (Челябинск, 1997, под редакцией Г. К. Щенникова).

В. А. Свительский остро переживал теоретическую и методологическую слабость марксистского литературоведения, отдававшего приоритет социологическому методу, не способному постичь подлинного Достоевского. Он не раз печально говорил мне: «Мы все еще далеки от Достоевского». Но, не вписываясь в коммунистическую парадигму советского литературоведения, он своими книгами, статьями, выступлениями, откликами органически вписывался в «дух времени», в его новые культурные запросы. Жажда откликнуться на злобу дня даже тормозила его академические успехи. Он обрадовался открытию специализированного совета по защите докторских диссертаций по русской литературе в Уральском госуниверситете в 1985 г. и хотел «успеть в 1987 году защититься». Однако прошло еще 8 лет прежде, чем такая защита состоялась, уже в стенах родного ВГУ, потому что на рубеже 1980—1990-х гг. Свительского захватило желание «поучаствовать в эпохе» — так он определил свою работу по творческой «реабилитации» А. Платонова и О. Мандельштама. В результате вышли 3 книги, посвященные А. Платонову: сборник произведений писателя на 600 с лишним страниц; специальный выпуск журнала «Филологические записки», посвященный Платонову; и книга самого В. А. Свительского «Андрей Платонов вчера и сегодня» (1998), а также «Воронежские тетради» Осипа Мандельштама с рядом статей ее составителя.

В 1990-е годы, в эпоху «с освобожденным дыханием» (как определил ее Свительский), его научное творчество достигло особых высот и мирового признания.

В. Свительский был участником четырех международных симпозиумов по творчеству Достоевского: в Нью-Йорке (1998), Японии (2000), Баден-Бадене (2001) и Женеве (2004). Он выступил с докладом об эволюции Платонова-художника в Париже, в Венсенском Сент-Дени университете в ноябре 1999 г.

В 1990 годы Владислав Анатольевич много сил отдал возрождению научного журнала ВГУ «Филологические записки» — одного из лучших периодических научных изданий в России (с 1996 года он главный редактор журнала).

И в новую литературную эпоху Свительский остался страстным полемистом, горячо выступающим против «ученого верхоглядства» и сенсационности, против новой научной доктрины, проявляющейся, например, в работах адептов «религиозной филологии». Об этом убедительно свидетельствует его прекрасная статья «Сбились мы, что делать нам!..» К сегодняшним прочтениям романа «Идиот», опубликованная в номере 15 альманаха «Достоевский и мировая культура». СПб, 2000.

Как преподаватель университетский В. А. Свительский был постоянно озабочен местом литературы в системе гуманитарного образования в высшей и средней школе, а также методикой современного преподавания литературы. Он был инициатором и соавтором учебных пособий по истории русской литературы XIX века, подготовленных учеными ВГУ (Кройчик Л. Е., Свительский В. А. Русская литература XIX века. Книга для учителя. Воронеж, 1996 г.; Русская литературная классика XIX века. Под ред. А. А. Слинько и В. А. Свительского, Воронеж; 2003, 2-е издание).

Слава Свительский был необходимым другом, с потерей которого невозможно примириться. Для меня были чрезвычайно важны и его рецензии на мои книги, и письма, исполненные глубокого дружеского сочувствия к житейским проблемам, — те и другие грели душу, вызывали прилив бодрости, веры в смысл нашего труда и забот.

Статью, посвященную памяти Ю. М. Лотмана, Владислав назвал «Рыцарь культуры». А о себе однажды с гордостью заметил, что участвовал в духовном пиршестве «рыцарей теории», собравшихся в Донецке, у М. М. Гиршмана.

В моей памяти Владислав Анатольевич Свительский навсегда останется рыцарем литературоведческой науки, служащей духовному возрождению соотечественников.

С. Г. Бочаров
ПАМЯТИ СЛАВЫ СВИТЕЛЬСКОГО

Тому тридцать четыре года: летом 1971 г. мы встречались с Левой Шубиным на Курском вокзале в Москве, чтобы ехать на электричке в дом престарелых к Бахтину на станцию Гривно. Лева пришел со Славой Свительским, и мы познакомились, а потом втроем разговаривали с Михаилом Михайловичем. А осенью, в ноябре, я уже был в Воронеже на кандидатской защите Владислава Анатольевича Свительского в роли младшего оппонента — старшим был Борис Осипович Корман. Помню, перед защитой я у Славы спросил, какие у Кормана замечания, и он ответил, что у Кормана нет замечаний. В самом деле, Борис Осипович систематически ясно изложил, как это он умел, теоретическую тему работы — концепцию художественной оценки у Достоевского, которая у диссертанта несколько захлебывалась в сложностях; Корман ее стройно выстроил, и этого было достаточно для оценки работы. Защита была событием в городе: помню битком полный зал и среди присутствующих Наталью Евгеньевну Штепель, она пришла специально. С Шубиным Слава был связан Платоновым, которому и я тогда причастился, Наталья Евгеньевна, с которой Слава дружил, пришла к нему на защиту от Мандельштама. И далее два этих родных воронежских и наших всеобщих имени освещали его научный и человеческий путь. В центре же встал Достоевский, и с Бахтиным недаром летом Слава встречался и излагал ему свою концепцию; М. М. внимательно и одобрительно слушал и отпускал скучные, как это ему было свойственно, ремарки. У меня на защите, в отличие от Кормана, замечания были как раз по бахтинской части, и я, в подражание диссертанту и в отличие от старшего оппонента, запутывался тоже в сложностях, чего официальному оппоненту делать нельзя категорически.

Начинались семидесятые-восьмидесятые годы, сложное время, получившее титул застойного, но сейчас мы его ностальгически вспоминаем как золотое время нашей ожившей филологии. Как таковое оно по этой части было богаче гражданских шестидесятых. В семидесятые происходило перемещение ценностей в общем сознании: фигура филолога, еще вчера пре-небрегаемая, в эпоху физиков и лириков проходившая по части «лирики» и бывшая, по слову поэта, в загоне, начала выдвигаться на почетное место не только в науке — в общественной жизни, филолог выходил на положение нужного современности человека. В. А. Свительский был одним из участников

этого поворота и по-настоящему деятельным работником на этом новом филологическом поприще. Недавно мы с Александром Чудаковым говорили о замечательной пушкинистике Юрия Николаевича Чумакова, и мой собеседник сказал, что Чумаков вместе с несколькими авторами в конце 60-х годов впервые стали писать о «Евгении Онегине» сложно. Владислав Свительский был одним из первых, кто в те же годы после долгого перерыва начал писать о Достоевском сложно, так что недаром он захлебывался в сложностях в той давней диссертации. Он был при начале нашего нового бурного достоевскознания последних десятилетий. Со временем он представил трезвый уравновешенный голос на этом несколько обезумевшем фронте, когда недавно взял, например, под защиту роман «Идиот» от новых духовных прокуроров «князя Христа» и Настасьи Филипповны. Слава эту свою статью («Достоевский и мировая культура», № 15, 2000) подарил с надписью — «вслед одному разговору, догадываясь о звунии...» Верно догадываясь.

В следующие за тем первым знакомством годы мы читали и обсуждали друг друга и дружили, и как-то это филологическое, научное и человеческое были неразделимы. Здесь, в Москве, мы дружили втроем — со Славой и сестрой его Таней, прекрасной германисткой, переводившей Роберта Музия и писавшей о нем. Таня умерла здесь, в Москве, в 79-м, и в память ее мы 14 мая почти каждый год собирались вплоть до последнего, 2004-го, когда нас несколько московских собрались в 25-летнюю годовщину вместе со славиной Ниной и Таниным сыном Сережей, а Слава приехать уже не мог. Он был верен памяти сестры, и я хочу сейчас помянуть их вместе. И вообще он был верен — верность была его человеческим свойством. Он был ученый, творческий филолог, и он был работник — осиротели многие в его городе, и не только, осиротели и замечательные воронежские «Филологические записки», на которые он положил свои силы. Пусть в Воронеже знают, сколь многие здесь в Москве читают ваши «Филзаписки», своим научным качеством единственные в своем роде сейчас у нас в отечестве среди филологических изданий наших дней не только «провинциальных», нестоличных, немосковских и непетербургских.

Кончина Славы Свительского для меня утрата личная. Из многих знавших его и сегодня его поминающих назову лишь два имени филологов и друзей, просивших меня присоединить их скорбь к моей — это Нина Сергеевна Павлова в Москве и Марина Любушкина-Кох в Париже. Не могла уже попросить о том же Галина Андреевна Белая.

А. Б. Ботникова

СОКРОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

«Когда человек умирает, изменяются его портреты» (Анна Ахматова). Эти строки внезапно вспомнились после смерти Владислава Анатольевича (Славы) Свительского. Я знала его долго, около полувека, и, как мне даже казалось, знала хорошо. Сейчас не уверена, что это так. «Случайные черты» громоздятся в сознании, и все отчетливее проявляется сложность личности ушедшего. Вырисовывается образ, по-своему цельный, хотя и не до конца прочитанный.

«Портрет» менялся еще при жизни. Сначала — студент первого курса. Узкое, красивого очертания лицо, внимательные глаза под стеклами очков, густая пепельного цвета шевелюра... Сидел в последнем ряду, слегка подаввшись из-за парты вперед, в этой позиции ощущалась некая изначальная готовность к движению. Образ в своей зримой законченности почти скульптурный. С годами волосы редели, а в конце жизни, после химиотерапии, и вообще исчезли, не испортив, однако, совершенной формы головы.

Память подсказывает разные жизненные ситуации. Уходил в армию, зашел попрощаться, принес бутылку шампанского. Помню, как аспирант Свительский делает доклад на конференции в Риге. (Тогда мы познакомились с Юрием Михайловичем Лотманом). Говорит тихо, выступает неброско, но ощущима внятная и властная ясность мысли. И так всегда. То же впечатление осталось от защиты кандидатской диссертации, где блестательно и четко говорящий Борис Осипович Корман подчеркнул для присутствовавших значительность и новизну защищавшегося исследования, а сам диссертант держался скромно, лишь время от времени «пропуская» на свое лицо слабую улыбку. Затем два его жилища: одно в одноэтажном доме на Республиканской, другое — на Московском проспекте. Оба буквально заваленные книгами. Книги находились не только в высоких стеллажах, не только на столах (их было едва ли не три в его рабочей комнате), ими были завалены диван, кресла, стулья. Высокие стопки громоздились и на полу, постоянно рискуя рассыпаться. И тут же — неожиданно и как бы некстати — находился еще аквариум с плавающими рыбками. Непонятным образом хозяин все-таки ориентировался в этом очевидном хаосе и обычно — что казалось совершенным чудом — находил нужную книгу. Вспоминается и сам он среди всех этих

завалов и нагромождений низко склонившийся над листом бумаги на оставшемся свободным кончике стола.

Слава никогда не стремился выделиться. В компании был всегда молчалив, давал выговориться другим. А если высказывался, то немногословно. И от этого веско. Вспоминаю, что и в студенческие годы на семинарах больше молчал. Но тогда, когда возникал вопрос, на который никто из других студентов ответить не мог, брал слово и разъяснял. Всегда чувствовалось, что внутри у этого человека идет напряженная и вполне самостоятельная работа мысли.

Был неразговорчив. Даже узнать подробности о его заграничных впечатлениях не было никакой возможности. Рассказывать явно не любил. Но зато любил и умел слушать. Несколько раз просил меня написать о том, о чем слышал мои рассказы. Мои воспоминания и раздумья о Пастернаке, которыми он почему-то открыл последний, подготовленный им, том «Филологических записок», написаны по его просьбе.

Он всегда производил впечатление человека закрытого. Радости не показывал, гнева или огорчения — тоже. Улыбался добродушной улыбкой, всем своим видом демонстрируя сдержанное доброжелательство. Не уверена, что в полной мере кому-нибудь вообще открывался. Может быть, только своей жене Нине и то, полагаю, не до конца. В этой закрытости чувствовался до дна не просматриваемый и непростой характер, в котором сочеталась упрямое самостояние, нежелание быстро соглашаться с собеседником, верность своим представлениям о людях, вешающих и явлений.

Первая его опубликованная работа относится еще к студенческим годам. Она выполнялась под моим руководством и посвящалась известной драме Ж. Ануя «Антигона». Слава сам нашел тему, сам принес мне пьесу. Сочинение под названием «Две Антигоны» получилось интересное, оно увидело свет в сборнике студенческих работ, напечатанном на ротапринте. Книжка выглядела непривлекательно, а статья была хорошая. Не знаю, включал ли ее профессор Свительский позже в список своих опубликованных трудов, но мог бы. Все сочинение показывало, что автору явно импонировала самоубийственно бескомпромиссная позиция героини Ануя; в ее столкновении с Креоном он видел торжество сопротивления личности pragmatичному закону государственных интересов и утверждение права этой личности на собственную позицию. Как помнится, я указывала ему на то, что образ Креона у драматурга не однозначен, что Креон выступает носителем собственной прав-

ды, тоже имеющей право на то, чтобы быть учтенной. Нехотя согласился кое-что добавить. Я даже подумываю: а не тогда ли возник его интерес к оценочному фактору в литературе? Ведь именно этой проблеме посвящена его главная книга «Аксиология русской литературы 60—70-х годов XIX века». На эту тему он защитил свою докторскую диссертацию.

Наши отношения пережили ряд этапов. Сначала это были отношения преподавателя и студента, затем они перешли в отношения коллег, а позже, (думаю, что могу так сказать) — в дружбу. Происходило все это постепенно, теперь уже трудно установить, когда что начиналось. Но, видимо, доверие существовало изначально. Будучи студентом третьего курса, Слава однажды пришел ко мне домой. Завязался разговор. Не помню, в какой связи он вдруг спросил, не думаю ли я, что для судьбы России и всех нас было бы лучше, чтобы русская революция в 1917 г. ограничилась февральскими событиями. Что и как я ему ответила — не помню. Время было непростое. И все мы знали, что в каждой студенческой группе находится провокатор и, может статься, даже не один. А тут — сомнение в святая святых — в самой «великой октябрьской революции!» Страшно было и согласиться, и отпугнуть несогласием. И к тому же удивление: ведь *сам* смог додуматься. Уже тогда возникло глубокое уважение к этой самостоятельности мышления. Пришло четкое ощущение незаурядности находящейся перед тобой личности. Оно сохранилось навсегда.

Мальчик, выросший в рабочей слободке Воронежа, почти вдали от образованных людей, оказался способен самостоятельно дойти до мысли, в ту пору мало кому приходившей в голову. Уже одно это чего-то стоило. Интерес к политической ситуации он сохранил навсегда.

Как я понимаю, на его долю выпало тяжелое детство. Отца он не помнил: тот погиб на войне. Воспитывали Славу и его сестру Таню в основном две бабушки. На самые ранние годы пришлась эвакуация. Из горящего и обстреливаемого города выбирались пешком. Три женщины и двое детей. Таню несли на руках, а Славу (ему еще не было трех лет) вели за руку. Он смутно помнил, как в одной оккупированной деревне его лечил немецкий доктор. Вернулись в разрушенный город. Жизнь была нелегкой, но, видимо, воспитывала волю к сопротивлению обстоятельствам. Позже, читая славинь сочинения, я заметила, что он очень любит слово «упругий», использует его часто метафорически: «упругий текст», «упругий образ» и т. д. Это словесное предпочтение, как мне кажется, отчасти

приоткрывает тайну характера, «упрого», несговорчивого, внутренне всегда готового к сопротивлению. Не резкому и внезапному, а упрямому, но определенному. Эта «упругость» заставляла не сразу соглашаться с оппонентом, согласие вызревало медленно и как бы нехотя.

Была в его характере и скрытая власть. Она почти никогда не выходила на поверхность, скрывалась и обуздывалась интеллигентностью и тактичностью. Свою волю он никому не навязывал. Но и давить на нее не позволял. В оценках окружающих был осторожен, иногда скептичен.

Но эти качества странным образом сочетались с постоянным вниманием к людям, ласковостью в обращении с ними. Не щадя себя, он много занимался со студентами, подолгу сидел с «чужими» аспирантами, выправляя их авторефераты, всегда готов был оказать услугу. Никогда не забуду, сколько раз он провожал нас на вокзал, тащил чемоданы, помогал при переходе на другую квартиру, поднимая без лифта (у нас ведь при сдаче дома всегда так) тяжести на высокий этаж. В течение нескольких десятков лет (сейчас боюсь сказать, скольких, может быть, тридцати или даже сорока) он приносил мне 8 марта цветы. Обычно небольшой букетик альпийских фиалок. Не забыл об этом и за три дня до кончины, попросил Нину купить для меня букетик. Из заграничных вояжей неизменно привозил маленькие сувениры. Звонил каждый вечер, чтобы спрашиваться о самочувствии. Первым человеком, которого я увидела утром после операции, очнувшись от наркоза, еще в реанимационной палате, был Слава. Думаю, что таким ласковым вниманием он дарил не меня одну.

Доброта сочеталась в нем со сдержанной мужественностью. Болезнь переносил stoically. Узнал о ней, видимо, за год до кончины. Никому не признавался. Второго мая 2004 г. они с Ниной позвали нас погулять в близлежащий лесок. Во время этой прогулки он рассказал о своей болезни. Просто, внешне спокойно, не драматизируя событие. Запомнилась ясность прохладного майского дня, молодая, чуть пробивающаяся листва на еще прозрачных деревьях, на земле — кустики скромных фиалок... И эта новость, от которой сжалось сердце. Очень хотелось верить в чудо: ведь известны же случаи... Фотографии того дня Слава подарил к новому году вместе с альбомом, там оказались и снимки их с Ниной последнего пребывания в Швейцарии.

В последние месяцы он работал, не щадя сил. Трудно, наверное, было, но никому не признавался. Сейчас понимаю, каким одиноким он чувствовал себя весь этот год. Всем вок-

руг было ясно, конечно, что конец неминуем, но так быстро его не ждали. И вот случилось: он ушел, оставив нам не только «крест и тень ветвей», не только интересные и глубокие труды (о них напишут специалисты), но и память о себе, как о (воспользуемся словом любимого им Платонова) «сокровенном человеке» и, бесспорно, очень значительном.

Л. И. Сараксина О СЛАВЕ, О ДРУЖБЕ, О ДОБРЕ...*

...Бывает дружба, про которую думаешь, что она — навеки веков: так много сказано слов, так много съедено соли, так много выпито чаю и всего прочего. Ах нет: миг беды — и друг, на которого ты рассчитываешь как на третье свое плечо, вдруг глухо скажет тебе, что вообще-то он в твоей жизни случайный человек. И ты оцепенеешь, похолодеешь и уже больше не станешь питать иллюзий, будто занятия высокими материями так уж обязательно всех возвышают и просветляют. Не обязательно... Не всех...

Славочка никогда не произносил никаких пафосных слов о дружбе, ничего вроде «ты только кликни и свистни». Никаких звонких уверений о любви к ближнему как к самому себе, ничего — о своей богообязненности и законопослушности. Но только чутким сердцем, мягкой улыбкой и непрестанным трудом своей души он творил добро. Тихо, с необыкновенным тактом и той особой деликатностью, которая (я слышала это от орловских коллег!) именовалась *свительской*, — он помогал людям в их житейских заботах, и был в этой помощи тверд, настойчив, бескорыстен. И я знаю, доподлинно знаю тех, кто будет благодарен ему за помошь до конца дней, и наверняка я не знаю еще многих других, которым он вовремя протянул свою руку.

Воистину, *по плодам их узнаете их*. Нас, людей слова, эта евангельская истина высвечивает, как рентген.

Его любимое детище — «Филологические записки» Воронежского университета, которые он редактировал с 1996 года, стали открытым, гостеприимным домом для всех нас. То, как он приглашал авторов, как вел и содержал свой журнал, отличалось прежде всего *стилем*, и это был отменный *свительский стиль*: изящные, опрятные, скромные книжечки, без тени

* С согласия автора и редакции альманаха «Достоевский и мировая культура» статья печатается параллельно в альманахе и в настоящем выпуске.

глянца, но и без намека на расхлябанность многих престижных, эпатажных изданий, где опечаток больше, чем слов.

Единство стиля виделось и в поразительной доброжелательности редакционных материалов: так же, как опытный хозяин не забудет приласкать самого неприметного своего гостя, так и Слава Свительский непременно вспоминал и называл всех без исключения — всех, с кем путешествовал, всех, чьи доклады слушал, и даже всех тех, с кем вступал в научный спор. И выходило так, будто раньше он спорил, а теперь, в журнальной заметке, вроде бы и прощения просит. Слава, мне кажется, был счастливо лишен того злокачественного свойства, присущего многим из нас, — переносить научное несогласие на личное общение; свободному, одаренному, обаятельному — ему хватало широты и мудрости сохранять приязнь к своим идеяным оппонентам.

Его «Записки» явились кладезем научной и литературной информации. Как и сам Слава, они были совершенно избавлены от профессорского сnobизма и потому не гнались за дурной элитарностью, а писали обо всем, что может быть интересно, полезно для филолога-студента и филолога-преподавателя, живущих в российской культурной традиции.

Но «Записки» избежали не только академического высокомерия. В редакционном предисловии к юбилейному двадцатому выпуску (в 2003 году «Запискам» исполнялось 10 лет) говорилось: «Очень важно было с самого начала преодолеть барьер дурного провинциализма, в поле притяжения которого всякий кулик свое болото хвалит и благодушно, по-приятельски, существует в узкой снисходительной компании». Научное сообщество, привлеченное Свительским к сотрудничеству, несло европейское филологическое знание и оказалось бы честь любому университету, где есть место русской литературе и русскому языку. Так что, обретаясь среди московского книжно-журнального изобилия, я от корки до корки прочитывала все книжечки, которые Слава присыпал мне по почте, и, признаюсь честно, только всматриваясь и вчитываясь в воронежские «Записки», я начинала фантазировать о том, как здорово было бы когда-нибудь самой предпринять что-то подобное...

При всей своей влюбленности в филологию, при всей погруженности в университетскую жизнь, В. А. Свительский обладал даром чувствовать *большое время*, которое в той же степени, что и родной язык, — наша общая родина. Он в полной мере отдавал себе отчет, какую эпоху мы переживаем. Он приглашал нас, москвичей, поднять глаза от книг и увидеть хотя

бы в своем городе явные и тайные приметы духовной сумятицы, разброда, пограничного исторического состояния. «Ну и эпоха, — писал он, — если модные отечественные конструкторы платья предлагают охочим иностранцам наряд под названием “Архипелаг Гулаг”!» Он был убежден, что в такие смутные времена крайне необходимы ученые, воплощающие «постоянство продуманной позиции, глубину и необходимую меру». Он был счастлив, видя эти несомненные достоинства у коллег, о которых писал снова и снова, неустанно, взволнованно, трепетно. Говорить хорошее — было для него, лучшего из нас, необходимейшим делом, потребностью сердца.

...Вижу Славочку ярким солнечным днем ранней осени, в парке Женевского университета. Мы с Наташой Черновой, прогуливая чай-то доклад, упоительно беседуем. «Эй, девчонки!» — окликает нас Слава, идущий навстречу вместе с Ниной, своей женой. На плече висит неизменный фотоаппарат — в поездках Слава всегда фотографировал и всегда присыпал снимки. «Девчонки, вы чудо как хороши. Давайте, становитесь!» Через месяц придет пакет от Славы, с последним, двадцать первым выпуском «Записок». И вот фото: мы с Наташой, смешные и смешливые, вообразившие себя школьницами, сбежавшими с урока, смотрим в объектив, на милого, немного грустного Славу. Мы еще не знаем, что прощаемся с ним, не догадываемся, что это его последняя осень, последний симпозиум, последнее заграничное путешествие...

В. III. Кривонос

КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ, ДОЛГИЕ РАЗГОВОРЫ (Памяти В. А. Свительского)

Встречи и в самом деле бывали обычно короткими, а разговоры долгими. Знакомство наше произошло тридцать лет назад, в мае 1975 г., и было по всем признакам делом случая. Могли тогда не встретиться, не познакомиться, хотя, возможно, все равно встретились бы и познакомились позже. Но так случилось, что встреча произошла тогда, когда произошла. Встреча эта была нужнее всего мне, потому что в тот момент я в такой встрече очень нуждался. И встреча, видно, была все же не случайной, хотя именно случай свел нас в одном гостиничном номере, в Москве, куда мы приехали на научную конференцию. Он из Воронежа, а я из Борисоглебска, где первый год работал в пединституте, уехав из Саратова, где такой

работы у меня не было и даже в отдаленной перспективе быть не могло.

Что поразило меня в нем тогда? Не только приятная вежливость воспитанного человека, сразу нашедшего верный тон и сумевшего расположить к себе. Но ощущение, что дело здесь не в одной вежливости, а в том, что я для своего собеседника *существую*. Не помню точно, о чем был тогда разговор, хотя какие-то детали вспоминаются. Интересовало его, сохранилась ли в Борисоглебском пединституте научная обстановка, созданная там Корманом, покинувшим город за несколько лет до моего приезда туда. С Борисом Осиповичем он давно дружил, потому и интересовался. Спрашивал, кажется, про Саратов, у кого я учился, чьи лекции слушал. Говорили о чем-то еще, но не в самом разговоре тут было дело. Поразило внимание ко мне, соседу по гостиничному номеру, искреннее и неподдельное внимание, настолько он был свободен от самого себя, каким бывает только глубокий человек. Вот это чувство, что перед тобой глубокий человек, так сильно поразило меня, что даже потом, когда было много других уже встреч, чувство это не забывалось, а каждая новая встреча с ним вновь это чувство возрождала. И уже трудно было представить себе свою жизнь без этих встреч.

Когда я уезжал из Саратова, один из моих университетских преподавателей сказал, что в соседнем с Борисоглебском Воронеже работает Свительский, с которым сам он, правда, не знаком, но знает, что это *голова*. О Свительском же я впервые услышал от своего однокурсника, увлеченно составлявшего библиографию произведений А. Платонова и работ о нем, вообще захваченного этим писателем, о котором мы почти ничего не знали, а он старался узнать все и убеждал нас, что это очень большой писатель. Как-то он показал в подтверждение своих слов вышедший в 1970 г. в Воронеже сборник о творчестве А. Платонова, где напечатана была статья Свительского, поразившая меня своей глубиной. Мы к этому времени уже прослушали курс истории советской литературы, где имя А. Платонова не упоминалось, а тон разговора был вполне советским. *Советские лекции о советских писателях*. А статья неведомого мне автора была такой *не советской* — и не только потому, что обходилась без привычных ссылок и обязательных цитат. Неожиданной была именно *глубина* статьи, трактовавшей о проблемах человеческого бытия и соединявшей А. Платонова с Достоевским. И *глубина* эта прежде всего и поражала. В другой раз однокурсник принес еще одну воронежскую книжку, вы-

шедшую годом ранее, материалы к платоновской библиографии, с составителем которой, Н. М. Митраковой, он был в переписке. Но имя составителя мне ничего не говорило. И о том, что Н. М. Митракова не чужой Свительскому человек, я узнал, когда в начале сентября 1975 г. приехал в Воронеж и заявился в гости.

В гости я был зван Свительским еще в Москве, когда только познакомились, причем приглашал он очень настойчиво и даже нарисовал схему, как добраться. Командирован я был своим институтским начальством на семинар лекторов общества «Знание», так как опытные коллеги заняты были об эту пору на своих садово-огородных участках и, не в пример молодым, достаточно уже наслушались, как сеять разумное, доброе, вечное. Поселили нас в общежитии сельхозинститута, далеко от центра, от культурных соблазнов большого города, но лекции про международное положение и про успехи быстро наскучили, и я, по студенческой привычке, решил смыться. Так я впервые оказался в гостях у Владислава Анатольевича и Нины Матвеевны.

Улица, где стоял их дом, называлась Республиканская, кажется, она до сих пор так называется, но дома, где я так полюбил бывать, больше нет. А это был настоящий *дом* — и вспомнить надо и о нем тоже, потому что дом этот был частью жизни и Свительских, и их гостей. И обойти этот республиканский дом вниманием просто нельзя. Дом был деревянный, одноэтажный, небольшой, скорее домик, а не дом, где Владислав Анатольевич и Нина Матвеевна занимали две небольшие комнаты. Пединститут, где он тогда работал, находился в трех минутах ходьбы, так что в перерыве между занятиями можно было сбегать домой поесть, только вот воду для еды и для хозяйственных нужд надо было набирать в колонке через дорогу. Газа в доме тоже не было, готовить приходилось на плитке. В тесной прихожей угнездилась печка, топившаяся дровами, которые надо было раздобыть и наколоть, но чаще углем, привезти и разгрузить который стоило немалых мытарств и унижений. Свительский потом рассказывал, что зарубежные стажеры сравнивали их обиталище с экзотическим жилищем хиппи. Но хозяин дома, ходивший на работу в строгом и темном костюме, всегда при галстуке и в очках, а если на улице, то и в берете, отношения к хиппующим не имел. Дом, который *по плану* давно должны были снести, находился на самом углу улиц Республиканской и Ленина, и случалось, что машины, совершившие слишком кругой вираж, сбивали ворота, которые

потом надо было поправлять. А по Ленина мимо окошек дома с раннего утра двигались в обе стороны трамваи, грохотали машины, так что для работы за столом раз и навсегда Свительским были выбраныочные часы.

Что было главным впечатлением от той встречи? Я увидел людей, соединенных глубокой любовью, живших один для другого, свободных в этой любви от себя, и чем больше мы потом общались, тем понятнее становилось, что то, что так поразило меня в нем при первом знакомстве, было существом его личности. Он расспрашивал про Саратов, про Скафтымова, труды которого очень ценил, про диссертацию, которую я тогда завершал, рассказывал, чем занимается сам. А занимался он проблемой, которая надолго определит направление его научных интересов, — композиционным мышлением Достоевского и авторской оценкой в романах писателя и его современников. В подаренной мне тогда статье он не соглашался с Бахтиным, доказывая, что полифония лишь усложняет пути проявления авторской активности и что у Достоевского действует «определенная логика оценочного отношения к человеку». Это был спор *на глубине*, и в статье он выглядел достойным собеседником автора ставшей знаменитой книги. Отличало статью желание *мысль разрешить*, определяющее свойство этой и всех других его работ, сопряженное с особым вниманием к бытию личности в произведении. В следующий мой приезд, в октябре, он подарил мне только что вышедшую статью об «Анне Карениной», где говорил о героине Толстого как о трагической личности, не поддающейся «однозначной оценке», и пересматривал сложившееся понимание романа, закладывая основы для нового его прочтения.

У Свительских был диван, предназначенный для гостей, и когда он писал, что диван свободен и ждет меня, я срывался и мчался в Воронеж. Ждали меня обычно и книги, не прдававшиеся в магазинах, их надо было прятать под подушкой, если кто-то заходил по делам, и всего лучше читать было по ночам. Он был просветителем по призванию — и старался и сам, в наших долгих разговорах во время прогулок по Воронежу, с которым он меня знакомил, и с помощью книг объяснить мне эпоху. Книг было много, и книги были разные: протоколы партийных съездов, изъятые из библиотек, «Вехи», русские религиозные философы и русские поэты, воспоминания, вышедшие там, «Мы», «Доктор Живаго», Солженицын, не изданный у нас А. Платонов. Он принадлежал к людям, духовно созревающим рано, но мне не приходилось замечать, что

мои инфантилизм и невежество его как-то раздражали. Может, потому, что настоящий педагог, каким он, несомненно, являлся, должен был обладать, как он считал, бесконечным терпением и дарить своим подопечным знания, которые были подарены ему другими. К тому же я видел в нем старшего товарища, и наши отношения навсегда сложились как отношения младшего и старшего, Владислава и Владислава Анатольевича. Меня это *неравноправие* никогда не тяготило: добрый, сердечный и мудрый, он был старшим по праву.

Как-то в ответ на мои сетования, что приходится жить в *дыре*, он с иронией рассказал про свою поездку в Куйбышев на переговоры с руководством тамошнего вновь открывшегося университета. По *анкете* он вполне подходил, потому и был приглашен на *беседу*, но нос, очки и ранняя лысина вызвали большие сомнения относительно известного *пункта*, так что в устройстве на работу ему вежливо отказали. А он, выпускник университета, очень хотел работать с университетскими студентами. И когда, наконец, это случилось, то долго переживал, что его *семнадцать лет* к университету *не подпускали*. После аспирантуры и защиты диссертации по Достоевскому его позва-ли на журфак читать что-то типа *истории партийной печати*, и он даже засобирался в холодную Вологду, где его ждал курс русской классической литературы, но тут неожиданно возникла вакансия в воронежском пединституте, куда он в результате и перешел. И необходимость уезжать из Воронежа отпала. И с тех пор до конца жизни он читал только свой любимый *девятнадцатый век*, сначала в пединституте, а потом и в университете.

В 1977 г. он напечатал статью о «Братьях Карамазовых», которая произвела на меня очень сильное впечатление. Он смущенно ответил, что *это из диссертации*. На мой взгляд, это и до сих пор одна из лучших работ о последнем романе Достоевского, хотя на нее, опубликованную в малотиражном воронежском сборнике, почти не ссылаются. А писал он об очень значимых вещах, в любую эпоху не утрачивающих свою актуальность, но в ту эпоху, когда статья появилась, выглядевших все еще *сомнительными*. Запоминались рассуждения автора о месте старца Зосимы в романе, позволяющие понять слова самого героя о праведнике: «Праведник уходит, а свет его остается». Через несколько лет Свительский напишет о Лескове и лесковских странниках и праведниках, но внутренний интерес к теме заметен уже в этой статье. Что казалось таким важным в характеристике Свительским Зосимы? Способность героя проникнуть «в горести и сомнения другого человека и одновременный

отказ» от «окончательной оценки», создающие «условия для диалога и диспута». Принципиальной была и мысль, что в структуре романа реализуется тот объем оценки, который позволяет не терять никогда общения с личностью, чье право на голос, как замечал автор статьи, «не отменяется при любом развороте ее судьбы», почему и сохраняется Достоевским доверие к «нерасчислимой полноте» возможностей личности.

И в статьях о романе «Анна Каренина», которые Свительский публикует в конце семидесятых и начале восьмидесятых годов, вновь встречаем важные для него идеи о логике доверия художника к личностному выбору и о трагическом испытании «бременем выбора, обязательного, единственного и неповторимого для каждого человека». На судьбе Анны, доказывал Свительский, «как будто испытываются возможности свободы человека», для чего «использована неразрешимая ситуация». В трагедии Анны он особо выделил и «объективный трагизм бытия, переживаемый, увиденный через личность, потерпевшую крушение в своем естественном стремлении» к счастью. И постарался раскрыть значение трагического опыта Анны, как он осмыслен в романе, но остался не понятым и потому схематически истолкованным исследователями. Столь же внимателен Свительский и к исканиям Константина Левина, как они изображены и поданы писателем. Анализируя роман, он определяет Левина как «человека живущего», объясняя эту найденную им художественную формулу героя отличающим последнего стремлением к равновесию «между повседневными заботами и осознанием бытия», когда «гордость ума» органично преодолевается самой «жизнью». Читая статью, нельзя было не заметить, что ее автор не просто анализирует трудный путь Левина, но и вбирает в себя, в свой собственный опыт, духовный опыт толстовского героя-исследователя. И это не случайно, потому что автор статьи и сам постоянно стремился к гармонии между «жизнью» и «умом» и, надписывая мне левинскую статью, пожелал обрести и сохранить эту гармонию.

А в 1982 г., когда я уже год как работал в Ельце, в Воронеже случилась *история*, связанная с подготовленным им и только что вышедшим сборником платоновской прозы. Он написал мне и позвал на обсуждение книги, а главное, его вступительной статьи «Возвращение мастера», вызвавшей грубые нападки одного местного *публициста*, чреватые, учтивая характер обвинений, весьма неприятными последствиями. Конечно, то была и мелкая зависть мелкого человека, *тоже* пытающегося писать об А. Платонове и претендовавшего, как позже

выяснится, на *монополию*, но мелкие люди во все времена отличались умением делать большие подлости. И хотя Свительский внешне оставался спокойным, нельзя было не заметить, что возникшая ситуация была крайне неприятной и тревожной. Но коллеги, пришедшие на обсуждение, поддержали Свительского, который твердо держался и убедительно говорил, и сумели его защитить. И инцидент в итоге был хоть и временно, но исчерпан. В 1988 г. все тот же *публицист* попытался вернуть *спор* к исходному рубежу, напечатав в газете статью, в которой представил А. Платонова поклонником *вождя* и обвинил своих оппонентов в *либеральном заговоре*, но на этот раз Свительский ответил в печати «*Необходимыми выражениями*», заслуженно резкими, и продолжения *спор* этот уже не имел.

В той давней уже статье 1982 г. он подробно рассказывает об истоках судьбы А. Платонова, связанной с Воронежем, куда писатель постоянно возвращался в своих произведениях. Воронежскими впечатлениями объясняет он многие реалии платоновской прозы, напоминая о «происхождении мастера» и о том, что именно из Ямской слободы «вышли в свое вечное странствие платоновские герои», что писатель неизменно доказывал «существование людей» и всегда говорил «только главное». Свительскому очень близка была идея А. Платонова *сеять души в людях*. Отсюда никогда не оставлявшее его желание, как он говорил, *вмешиваться*. Он постоянно присыпал мне свои газетные статьи и рецензии, в которых откликался на разные происходившие в Воронеже литературные и культурные события, на книги воронежских авторов и новые спектакли воронежских театров. В 1990 г. я проводил в Ельце межвузовский научный семинар по провинциальному искусству, и он выступил с докладом на тему «Андрей Платонов и воронежское “культурное гнездо”», тезисы которого были позднее опубликованы. Он ощущал себя частью этого гнезда, ясно сознавал свою здесь укорененность, хорошо понимая то особое место, которое по праву занимает Воронеж в *прекрасном и яростном мире* русской жизни и русской культуры.

В один из моих приездов он повел меня показывать улицу *Мандельштама*, мандельштамовскую яму, как до этого водил по другим мандельштамовским адресам. Много позже, в статье 1990 года, посвященной «Воронежским тетрадям» и опубликованной в сборнике «Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама», он напишет, что в основе стихотворения про улицу лежит «буквальная топография» и что яма действительно существует. А тогда я впервые увидел эту самую улицу-яму, сохра-

нившийся дом, где какое-то время квартировал опальный поэт. Рассказывая мне о воронежских мытарствах Мандельштама, он вспомнил и прочитал ахматовский «Воронеж», где тоже все описано верно и точно: и вороны над Петром воронежским, и воронежские тополя, и свод светло-зеленый воронежского неба. И не ведающая рассвета ночь, сводившая поэта с ума.

Три года, прожитые Мандельштамом в Воронеже, имели своего летописца, Наталью Евгеньевну Штемпель, навсегда вошедшую со своей неравномерной сладкою походкой в воронежские стихи поэта. Однажды я удостоился чести, чему обязан, конечно, Свительскому, быть приглашенным ею в гости, и целый вечер, рассматривая бережно сохраненные книги и старые фотографии из домашнего архива хозяйки дома, мы с Владиславом Анатольевичем слушали воспоминания о пребывании Мандельштама в Воронеже, о публикации которых тогда нельзя было даже и думать. Так он одарил меня знакомством с Натальей Евгеньевной, и когда перечитываешь «Воронежские тетради», вспоминаешь и этот чудесный вечер, и ее облик, и понимаешь, насколько тесно интонация посвященных ей стихотворений связана с трагической участью поэта. И как эта участь, о чем писал Свительский в своей статье, вообще связана с самим городом, Воронежем, который для поэта и блажь, и ворон, и нож.

Он дарил мне город, который любил и который исходил вдоль и поперек, казалось, все о нем знал, хотя и говорил, что куда, мол, ему до такого настоящего знатока, как Олег Григорьевич Ласунский, вот кто действительно знает о Воронеже все. Он дарил мне и людей этого города, с которыми близко дружил. Так я познакомился с Олегом Григорьевичем, писателем, библиофилом и краеведом, открывшим мне заповедные места литературного Воронежа, с Аллой Борисовной Ботниковой, гофманистом, профессором университета, и с Зиновием Яковлевичем Анчиполовским, ее мужем, театроведом и критиком, с остроумнейшим Львом Ефремовичем Крайчиком, деканом журфака, чеховедом и режиссером, с блистательным Владиславом Петровичем Скобелевым, душой университетского филфака, отзывчивым и щедрым на помощь, почему так легко и уговорил его Свительский стать научным редактором моих первых книжек. И последующими встречами и дружбой с этими замечательными людьми я обязан ему. Познакомил он меня и с семьей его так рано умершей сестры, Тани, талантливого филолога, автора диссертации о Р. Музиле (в соавторстве с ней он написал статью о Р. Музиле и Достоев-

ском), с ее мужем, Леонидом Васильевичем Сергиенко, лингвистом, специалистом по немецкому языку, тоже, к сожалению, слишком рано ушедшим, и с сыном Сережей, тогда молчаливым и сосредоточенным подростком, серьезно увлеченным шахматами. Как-то, сняв с полки толстый том, оказавшийся «Мимесисом» Э. Ауэрбаха, он сказал, что решил подарить мне книгу, принадлежавшую его сестре: книга должна *работать*. И книга дорогого ему человека поселилась в моей библиотеке.

Вообще он любил и ценил людей, с которыми сближала его жизнь, всегда помнил о них и им сопереживал. Много рассказывал он о Борисе Осиповиче Кормане, служившим ему примером настоящего ученого, верного своему делу, восхищался его мужеством, тем, с какой стойкостью преодолевались им испытания, способные, казалось бы, сломать и сломить куда более сильных людей, чем мягкий и интеллигентный ижевский профессор. Он постоянно поддерживал переписку с учениками Бориса Осиповича и в разговорах особенно часто упоминал *Дору* (Дору Израилевну Черашнюю), *Виктора* (Виктора Ивановича Чулкова) и *Леночку* (Елену Александровну Подшивалову). Часто вспоминал он и Чеслава Андрушко, профессора университета в Познани: они сдружились еще в семидесятые, когда Чеслав был воронежским аспирантом В. П. Скобелева и занимался А. Платоновым. Бесспорным научным и человеческим авторитетом всегда оставался для него Сергей Георгиевич Бочаров, которого он называл в разговорах *Сережей* и на мнения и оценки которого нередко ссылался.

Когда я приезжал в Воронеж, то он и Нина Матвеевна обязательно расспрашивали про мои семейные обстоятельства, интересовались очередными увлечениями моего сына, сначала школьника, потом студента. В середине восьмидесятых, когда я серьезно заболел, они подняли на ноги всех знакомых, нашли хороших врачей и помогли мне с больницей, что было не так просто, учитывая, что я не был воронежским жителем. Святельский передавал мне в больницу записки и книги, которые я просил, но навестил только один раз, месяца через полтора, перед моей выпиской. Он слишком тяжело пережил смерть любимой сестры и, видно, плохо переносил самый вид больницы с ее приемным покоем, длинными коридорами, белыми халатами врачей, унылыми лицами больных. В те же годы, когда я все еще нуждался в лечении, мы семьями ездили вместе в Крым, в Никиту, где у Нины Матвеевны жили родственники и где можно было снять на лето комнату, купались в море, осваивали Никитский Ботанический сад, наведы-

вались в Ялту и в Гурзуф, ходили в кино, вечерами бродили по пляжу и разговаривали. А днем он обычно работал, привезя с собой машинку и рукопись статьи, над которой постоянно думал, почему порой невпопад отвечал на какой-нибудь вопрос.

Свительский не был религиозным человеком, но в Никите он как-то при мне купил глиняное распятие, сказав, что к этому сюжету он не может быть равнодушен. И это было понятно. В статье о «Братьях Карамазовых», анализируя «поэму» Ивана, он говорил о споре, идущем в сознании героя «между внешне убедительной логистикой и безмолвной, но постоянно напоминающей о себе безусловностью нравственного образца». И сравнивал две логики, Инквизитора, считавшего, что «требуется переделать человека», и Христа, обострившего «своим присутствием в человеке необходимость свободного выбора», потому что Христос, в отличие от Инквизитора, требовавшего отказа от свободы, «опирается на доверие к человеку, на веру в его силы и возможности». Статья, напомню, вышла в 1977 г., в глухую эпоху, как назвал ее один из современников, и голос автора статьи явно выбивался из общего хора.

Друзья и врачи советовали мне покинуть Елец и перебраться в большой город, лучше всего в соседний Воронеж, и когда к весне 1986 г. я подготовил докторскую, защита которой помогла бы осуществить этот план, он с энтузиазмом взялся мне помочь и написал своему хорошему знакомому, председателю недавно открывшегося докторского совета. Летом того же года мою работу вежливо из этого совета *отфутболили*, и я, прилетев в Воронеж, рассказывал Свительскому, как проходило обсуждение. Он был мрачен, но старательно меня подбадривал. Где-то недели через две он с Ниной Матвеевной навестил нас в Ельце и снова подбадривал уже моих близких, а потом постоянно *долбил* меня письмами, в которых напоминал о необходимости завершить начатое дело, в окончательном же успехе он не сомневался. Года через полтора я вновь подал диссертацию в тот же совет, *расширив* название и добавив новую главу, и на сей раз работа была рекомендована и упреков в *формализме* уже не вызывала. Хотя, казалось бы, *то же имя, тот же облик*, если вспомнить эпиграф к роману столь ценимого Свительским Саши Соколова. Но защиту пришлось ждать до декабря 1989 г., и прошла она не без предсказуемых сложностей: председатель перед самой защитой лег в больницу, а зам. председателя уверенно вел дело к провалу, для чего, кажется, не хватило только одного *шара*.

Свительский собирался защищать докторскую там же, где и я, но история моей защиты и мой рассказ о нравах в совете его, похоже, не сильно вдохновляли, только удручили, хотя работа у него давно была готова, да и защите как будто ничего не препятствовало. Тем не менее собственную защиту он тогда решительно отодвинул (повлияли на его поступок и иные причины, связанные с неизвестными мне тогда обстоятельствами его жизни, так все совпало). И защитился он только в 1995 году, когда был открыт докторский совет в Воронеже. Меня, *младшего*, он попросил быть у него оппонентом. На подаренном мне автореферате он сделал многозначительную надпись: «Дорогому Владиславу — не придавая особого значения событию, но радуясь полнозвучной встрече, с весенними пожеланиями!..» В этой надписи не было, как кому-то может показаться, никакого *кокетства*, никогда ему не свойственного в принципе. Просто он, как пел любимый им Высоцкий, себе уже все доказал. И докторская степень к знанию о себе ничего ему не могла прибавить, однако, как убеждали его друзья, была не лишней для зарплаты и для внешнего статуса в университете...

В том же году случайно возникла возможность обмена елецкой квартиры на воронежскую, о чем я ему сообщил. Свительские к тому времени уже лет десять как жили в новой квартире, в доме почти на самой северной окраине Воронежа, понапочалу сильно тоскуя по дому, которого больше не существовало, медленно и с трудом, как мне казалось, привыкая к своему *со всеми удобствами* жилью. Найденная для обмена квартира тоже была далеко от центра, в районе старого аэродрома, но Нина Матвеевна и Владислав Анатольевич убеждали, что район на самом деле неплохой и упускать такую возможность нельзя, оставалось только договориться насчет работы. Однако с *местом* в университете, как он ни старался, ничего не получалось, и от обмена в результате пришлось отказаться. Свительский, помню, сильно переживал, что не удалось помочь: он делал все, что мог, но не все было в его силах.

И я, как и раньше, время от времени приезжал в гости, и Владислав Анатольевич уступал мне свой кабинет, приносил стопки новых книг, а вечерами, если позволяла погода, мы гуляли по просторным улицам окраинного района и разговаривали. Главным предметом наших разговоров оставалась литература. В конце восьмидесятых и в девяностые годы, особенно после защиты, когда он освободился, наконец, от тяготившего его груза, его деятельность приобрела заметный размах. Появилась статья о «Котловане», которую он долго вынашивал и

продумывал, был издан «Чевенгур» с его развернутым до большой статьи предисловием. Вышло двумя изданиями учебное пособие «Русская литературная классика XIX века», где он выступил в роли и одного из редакторов, и автора разделов о Достоевском, Толстом и Лескове. Им был подготовлен и опубликован большой том Мандельштама, куда вошли и «Воронежские тетради», и воспоминания, и разные документы, словом, практически все, что так или иначе было связано с воронежским периодом биографии поэта, о котором Свительский написал и поместил в этом же томе две статьи. Во второй из них он объяснял *неискушенному читателю*, как читать Мандельштама. Хоть времена изменились, но глубокий исследователь по-прежнему мирно уживался в нем с просветителем.

Но новые времена несли с собою и новые проблемы, снова побуждая его активно *вмешиваться*. Говоря о *фактах и догмаслах* в освоении платоновского наследия, он с тревогой писал о новой конъюнктуре и плоской модернизации произведений писателя, обилии связанных с именем Платонова легенд, предупреждал об опасностях, которые несет с собою агрессивный дилетантизм, убеждая, что по-настоящему понять Платонова можно «лишь приозвучии духовного поиска». Такое созвучие обнаруживали его работы, впервые собранные им в книге, вышедшей в 1998 году. Эта книга по-новому открывала читателям и Платонова, и его истолкователя: раскрывая духовный путь писателя, она позволяла понять и духовный путь исследователя, на протяжении тридцати лет, еще с аспирантской поры, остававшегося верным предмету своей неизменной привязанности. Хотя автор не стал ничего менять в своих работах, но книга оказалась удивительно современной, потому что принадлежала глубокому человеку, всегда думавшему и мыслившему на глубине.

Жизнь шла, новые заботы Свительских были связаны теперь с семьей племянника, Сережи Сергиенко, ставшего шахматным мастером, и Лены Иваньшиной, одаренного булгаковеда, с их детьми, Митеи и Настей, о занятиях и проделках которых Нина Матвеевна увлеченно и с юмором рассказывала. Главным его делом постепенно становились «Филологические записки», реабектировать которые он начал с седьмого выпуска, сменив Олега Григорьевича Ласунского. Он стремился делать журнал, отвечавший самым высоким критериям, преодолевая соблазны «дурного провинциализма» и не снижая требований и к статьям маститых ученых, постоянно расширяя круг авторов и охотно привлекая к сотрудничеству молодых исследователей, с кото-

рыми связывал будущее журнала и воронежской филологии. Он стал ездить на международные конференции по Достоевскому, регулярно проводившиеся в разных странах, его научное имя получило заслуженное признание, были задуманы новые статьи и книги о писателях, которыми он занимался всю жизнь. Было ощущение, что он николько не устал от *жизненного марафона*, как он определил наше повседневное бытие, всегда наполненное внутренним смыслом для *человека живущего*, но только прибавляя и прибавлял.

Осенью 2000 г. я переехал в Самару, где к тому времени лет двадцать уже работал В. П. Скobelев, хлопотавший за меня, но до этого, в середине марта, разразились в Ельце события, вынудившие моих друзей и коллег активно действовать. Решив избавиться от меня любыми средствами, елецкое начальство, вузовское и городское, тесно с вузовским связанное, не погнувшись прибегнуть к методам, напомнившим о навсегда ушедших, казалось бы, временах. Свительский одним из первых пришел на помочь мне и моей семье, слишком хорошо зная и по моим рассказам, и по собственным наблюдениям нравы моего елецкого *окружения* и ясно представляя себе, на что оно способно. Во многом благодаря и его неутомимой активности мне удалось вырваться из елецкой *ямы*.

А уже в ноябре того же года мы встретились в Самаре, на юбилее В. П. Скобелева, отмечавшего свое семидесятилетие. И память о Воронеже, о *молодых еще воронежских холмах*, о родине *мастера* вновь объединила нас, и, как тогда казалось, новые встречи были не за горами. Но пока что были письма, в которых он делился своими научными планами, рассказывал об участии в конференциях, о впечатлении, которое произвел на него Баден-Баден («заседали в зале, где Федор Михайлович играл...»), о замысле книги, которую надеялся в ближайшие годы подготовить, а из «радостей последнего времени» особо выделял переезд Сережи с семьей на новую квартиру, совсем неподалеку от них, так что появилась возможность видеться теперь чаще, а Нина Матвеевна чаще стала печь пироги. Писал, что надеется и на наши новые встречи.

Весной 2004 г. от общих знакомых я узнал о болезни Свительского и сразу написал ему, отправив фотографии, сделанные на Святой Земле, где предыдущим летом я гостил у сына и где Владислав Анатольевич так мечтал побывать. Он ответил подробным письмом, ничего не скрывая о своем состоянии, с трезвым сознанием тяжести своей болезни, но не опуская рук, с надеждой, что успеет еще что-нибудь сделать: «Готов ко все-

му, но от планов не отказываюсь». Планы его по-прежнему были связаны с А. Платоновым, с Достоевским (в сентябре он собирался поехать в Швейцарию на очередной «достоевский» конгресс — и поехал, сопровождаемый Ниной Матвеевной, и принял участие), но теперь и с Чеховым, о котором он задумал статью. Он успел ее написать, и она вышла в марте 2005 г. в сборнике, посвященном памяти В. П. Скобелева, так неожиданно и внезапно ушедшего от нас. Несмотря на болезнь, Владислав Анатольевич работал с полной нагрузкой. Но письма приходили все реже. В январе 2005 г. в письме, которое оказалось последним, он писал, что до сих пор переживает кончину Владислава Петровича, упоминал о болезни, «с которой нужно все время спорить», но от планов по-прежнему не отказывался.

В статье о Чехове, разбирая рассказ «Невеста», он доказывал, что характер героини и оценочное освещение ее поведения «не убеждают в спасительности бегств от наличной жизни». И что рассказ этот нельзя считать «последним итогом» писателя: «болезнь и смерть застали Чехова в напряженных исканиях, на перепутье». Русская литература, которой он хранил верность до самого конца, была для него школой самоуважения и самостояния. Он прожил достойную жизнь и с полным правом мог бы сказать о себе словами своего любимого писателя: «Без меня народ неполный». Свет его личности навсегда останется с нами.

Ч. Андрушко ПАМЯТИ ВЛАДИСЛАВА АНАТОЛЬЕВИЧА СВИТЕЛЬСКОГО

За время моего пребывания в аспирантуре в Воронежском университете и многочисленных поездок по стране — это было во второй половине 70-х гг. — мне посчастливилось не раз встречать хороших и умных людей, с которыми интересно было поговорить или обменяться мнениями. Разговор по душам обычно не получался — времена не располагали к откровенности. Исключением от этого общего в те «застойные» годы правила стал для меня Владислав Анатольевич. Мы познакомились в поезде, увозящем нас на литературоведческую конференцию в Донецк. Молодой мужчина со строгим, как мне показалось, выражением лица задал мне несколько вопросов, а затем, неожиданно улыбнувшись, сказал, что он друг и приятель моего научного руководителя. Мы провели весь путь в разговорах — как давние знакомые. С этого и начались наши воронежские

«сидения». В моем собеседнике мне пришлась по душе его необычная требовательность к себе и глубокая отзывчивость на другого человека, вызывающая у каждого, кто его знал — в этом я уверен — приливы доброй энергии...

А потом было уже нормально. Достаточно было постучать в окошко маленького домика на окраине города, чтобы по-настоящему окунуться в семейную атмосферу, выпить чай с вареньем, послушать классическую музыку и поговорить, как любил повторять его хозяин, «о наших делах праведных». Дополнением всему были наши лыжные прогулки, которые мы, шутя, называли «вылазкой трех богатырей» — Владислав Петрович, Владислав Анатольевич и я, аспирант из далекой Польши, которому по возрасту и рангу приписана была роль «младшего». От «старших», которых уже нет в живых, осталось ощущение радостной беззаботности и бесконечно красивых воронежских зим...

«Надо спешить любить людей, столь быстро от нас уходят». Эти слова польского поэта показывают не только безграничное свойство любви, но и его недостаток в нашей жизни. В последнее время мы переписывались редко, ограничиваясь оказиональными «весточками» и пожеланиями крепкого здоровья. Занятость, расстояние и время сделали свое, я ничего не знал о болезни Владислава Анатольевича. Тем более я в долгу перед этим благородным и мужественным человеком и благодарен судьбе, что принадлежу к кругу его друзей.

Л. Л. Горелик «ЧЕЛОВЕК ГОСУДАРСТВЕННОГО УМА»

С Владиславом Анатольевичем Свительским я познакомилась в 1977 г. при затруднительных для меня обстоятельствах, в которых он мне помог.

Осенью 1977 г. я приехала в Воронеж, чтобы собрать документы для депонирования статьи. Я заканчивала работу над кандидатской диссертацией, для защиты вдобавок к двум имеющимся необходима была третья статья, и я, по совету моего научного руководителя В. С. Баевского, решила ее депонировать. Хотя я работала в Борисоглебском пединституте, подпили на документы для депонирования нужно было получить в Воронежском пединституте, головном для нашего маленького вуза. Здесь-то и возникли немалые трудности (отчасти, я думаю, спровоцированные моей полной неопытностью в такого рода делах).

От Борисоглебска до Воронежа — пять часов на автобусе. Выехав самым ранним пятичасовым рейсом, я к одиннадцати была уже в пединституте. Первая подпись — заведующего кафедрой — была добыта относительно легко. А. А. Слинько выслушал меня, неизвестно откуда взявшуюся и ни с кем предварительно не созвонившуюся, некоторое время над моими бумагами поразмышилял, но потом сделал требуемый росчерк. По наивности почти не сомневаясь и в дальнейшем успехе предприятия (ведь нужно так мало — всего лишь подписи на уже готовых документах), я отправилась по другим адресам: к проектору по науке, к ученому секретарю и т.д. Каково же было мое удивление, а затем и отчаяние, когда выяснилось, чтоставить подписи чиновники не хотят. Меня отфутболивали с необыкновенной легкостью от одной инстанции к другой, со мной просто не вступали в переговоры. К середине дня я поняла, что меня ожидает еще не одна поездка в Воронеж по этому же делу. Еще не раз повторится бессонная, из-за боязни проспать рейс, ночь; бег на вокзал по погруженному во тьму предутреннему Борисоглебску — в окружении сплошных, наглухо закрытых ворот и ставней; напоминающая какую-то давно читанную классику экскурсия по воронежским кабинетам в роли безутешной просительницы; десять часов — туда и обратно — в продутом всеми ветрами автобусе; ночное возвращение мимо знакомых глухих ставней. И тут, я не преувеличиваю, как Бог из Машины, явился незабвенный Владислав Анатольевич. Когда я замедлила бег на одном из лестничных пролетов, меня остановил незнакомый человек — я вспомнила, что в кабинете заведующего кафедрой он молча листал в углу какую-то книгу. Представившись, он взял мою папку, и — о чудо! — документы были подписаны через полчаса. Все закрытые двери перед ним открывались.

Так началось мое знакомство с Владиславом Анатольевичем. Почему он помогал мне? Потому что он был добр. Это было его свойство — активная, умная доброта. Помню, что, когда я в следующий раз приезжала в Воронеж, он был в Москве, но оставил мне адрес жены, чтобы я могла в случае необходимости переночевать у них. Тогда я познакомилась и с Ниной Матвеевной. Из Москвы он прислал телеграмму с напоминанием о нюансах депонирования. Я, как будто это вчера было, помню ту телеграмму. «Документы следует посыпать через канцелярию института», — телеграфировал Владислав Анатольевич. В Москве, занятый множеством собственных дел, и куда более важных, чем мое депонирование, он учел, что я могу упустить эту мелкую, но существенную бюрократическую деталь.

В дальнейшем я встречалась с Владиславом Анатольевичем в Борисоглебске, куда он два года приезжал в середине 1980-х в качестве председателя ГЭК, на научных конференциях в Воронеже и Ельце, и один раз уже в Смоленске — он приезжал как оппонент на защиту кандидатской диссертации аспирантки В. С. Баевского, в 1997 г.

Во время приездов Владислава Анатольевича в Борисоглебск мы много общались — не только на госэкзаменах, где в качестве председателя он был неизменно справедлив, но и в свободное время. Мне самой в те же годы приходилось ездить «на ГЭК» в соседний Балашов, и я знала, как тяжел этот хлеб — главным образом, из-за бытовых трудностей, ожидающих командировочного в маленьком городе. В магазинах Борисоглебска, как и в магазинах Балашова, во второй половине дня, когда кончались экзамены, невозможно было купить даже молока. В столовых и ресторанах также нелегко было получить сколько-нибудь удобоваримую пищу. Поэтому я старалась почаще приглашать председателя ГЭКа на обед. Во время этих застольных бесед в моем все-таки более, чем гостиничный номер, приспособленном для быта преподавательском общежитии я оценила мудрость суждений Владислава Анатольевича — и о литературе, и о жизни. Тогда-то он и произнес эту фразу, «Он был человек государственного ума», которую я вынесла в заглавие своих воспоминаний. Так он сказал о Борисе Ошеровиче Кормане, с которым был знаком еще, кажется, со студенческих своих лет. Он вспоминал, как хорошо Корман организовал конференцию. Произнеся эти слова, он сделал паузу и значительно посмотрел на меня: «А знаете ли Вы, что такое «человек государственного ума»?». Предчувствя подвоха, я, на всякий случай, покачала головой отрицательно. «Это значит, что он мог бы управлять даже государством...» — мой собеседник произнес эти слова медленно, чтобы я вполне могла оценить их смысл. И я оценила. Только что шел разговор о жизненных катастрофах, буквально преследовавших Б. О. Кормана, о том, что жизнь этого талантливого ученого не была выстроена удачно. Назвав его ум «государственным», Владислав Анатольевич подчеркнул, что это выражение не всегда предполагает макиавелиевские интриги, противостоять которым Корман, блестящий организатор, оказался не способен.

«Государственный ум» самого Владислава Анатольевича также не был направлен на достижение власти и личного благополучия. Он проявлялся в его высокой способности помочь другим. У меня сложилось впечатление, что он постоянно кому-

то деятельно помогал. Он смотрел на окружающее неравнодушными, заинтересованными глазами и старался воздействовать на жизнь умно, но бескорыстно — прежде всего, с целью поддержания добра и справедливости в этом шатком мире.

Л. Кройчик

ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ СВИТЕЛЬСКИЙ

Образ автора

Не думалось, что придется говорить вслед ушедшему Владиславу Анатольевичу Свительскому.

Профессору Свительскому.

Просто Славе.

Борис Осипович Корман разработал в свое время концепцию автора художественного произведения. Среди определений Бориса Осиповича есть и такое: «Автор как некий взгляд на действительность, выражением которого является все произведение».

И хотя Владислав Анатольевич был вполне реальным человеком (по-кормановски — биографическим автором), он столь же органично вписывается и в другую «клеточку» кормановской классификации: образ автора.

Концептированный автор.

Конечно, все мы — авторы собственных биографий и судеб. Но наши биографии подчас не столь целеустремительны и последовательны, как хотелось бы.

Не отказываясь от импровизаций, Слава прожил жизнь так, как хотел.

Занимался наукой, предложив свою концепцию личности в отечественной словесности XIX века.

Выступал с рецензиями.

Охотно откликался на беспокоящие его события века двадцатого.

Редактировал «Филологические записки».

Не без удовольствия занимался рутинной работой ответственного секретаря специализированного Совета.

Ездил по миру на разного рода «достоевские» посиделки-конференции, семинары, симпозиумы.

Любил застолья в узком кругу близких лиц. И при том — был последовательно тверд и нетерпим. Как выражаются теоретики — ко всему «чужому». Толерантность — не его сильная сторона...

Вспоминается...

Умер один из коллег. Пишу некролог и звоню Свительскому:

— Слава, ставить твою подпись?

— Нет, — покашливает телефонная трубка (Слава был смертельно болен и знал об этом), — у меня к нему есть кое-какие вопросы.

Какие вопросы к ушедшему? Но тверд Владислав Анатольевич.

Думаете — мизантроп?

Ничего подобного!

Перезванивались едва ли не ежедневно.

— Привет, «академик»! — говорит Слава («Академик» — потому что много лет назад по инициативе профессора Георгия Владимировича Антохина на нашем факультете была создана «Академия наук региональной прессы России», в состав которой вошли многие университетские ученые, и Слава об этом знал). — Читал тебя в «Новой газете». Жестко высказываешься — надо быть помягче.

Сердце Свительского было переполнено любовью.

И ему очень хотелось, чтобы люди любили друг друга.

Любовь по-Свительски — это добро, свет, теплота.

А еще — неутоленная жажда знаний...

Семьдесят второй год. Москва. ФПК. ДАС. Картинка такая: комната на четырех, стол, за которым сидит Свительский, рукопись. Сбоку горка фантиков от конфет. Сластена (как и я, впрочем), он, сочиняя текст, машинально поглощает одну конфету за другой.

— Лев, — говорит Слава строго, — ты не забыл, что вечером мы идем на Раневскую.

В ту осень мы побывали со Славой на тридцати двух спектаклях, концертах.

«Ромео и Джульетта» Анатолия Эфроса в Театре на Малой Бронной.

«Дальше тишина» с Раневской и Пляттом в театре Моссовета.

«А зори здесь тихие» в «Таганке».

«Бобок», в исполнении Сергея Юрского.

Консерватория.

А еще — Мелихово, Мураново, Абрамцево, град Китеж, Архангельское.

Вернулись в Воронеж.

— Давай расскажем студентам о Таганке, — говорит Слава.

В Свительском жил просветитель.

Он делился не просто собранной информацией — точкой зрения.

Потом эта точка зрения начинала жить в курсовых и дипломных работах его учеников. И, наверное, — в статьях и книгах коллег.

Прямо по Корману: как некий взгляд на действительность...

Обижался, когда его не понимали.

Тогда в глазах оживала тоска. Но не принимал...

Професору Свительскому хотелось быть сильным. Наверное, он таким и был.

Давно замечено: сильные умеют прощать слабость другим людям.

Может, поэтому вокруг Владислава Анатольевича всегда было много людей, нуждающихся в его поддержке.

И ведь — все эту поддержку получали.

— Академик, — будила меня телефонная трубка, — ты Колю Кизименко знаешь?

— Знаю.

— Сделай-ка с ним интервью для «Курьера». Человек того заслуживает.

Или:

— Тут у нас девочка — соседка, к вам на журфак собирается. Поговори с ней. Стоит или не стоит ей к вам поступать?

Из реплик, звонков, записочек складывались строки, фразы, абзацы, главы.

Главы его собственной биографии.

Так родилась книга профессора Владислава Анатольевича Свительского объемом в шестьдесят пять прожитых им лет.

Самое яркое в этой книге — образ автора.

Н. Т. Рымарь БЛАГОРОДСТВО

С Владиславом Анатольевичем Свительским и Ниной Матвеевной Митраковой мы были дружны много лет — с 1972 г. Мы были молоды и, конечно, называли друг друга по имени; это было очень теплое общение, общение на полном доверии друг к другу, так что и в те советские времена мы откровенно беседовали обо всем, конечно, и на политические темы — Слава давал мне читать запрещенные книги — «Архипелаг Гулаг» А. Солженицына, «Доктор Живаго» Б. Пастернака, неопубликованные работы Бахтина, даже газеты ФРГ, пересказывал

передачи БиБиСи и «Голоса Америки». Мы вместе ездили в Крым, на ежегодные сельхозработы, без которых преподавательская деятельность в пединституте и университете не могла обходиться. Но при всей теплоте и близости нашей дружбы мы не переходили на ты, хотя иногда и случалось, что в какие-то моменты с губ само собой срывалось это местоимение. Может быть, в этом была виновата моя сдержанность и некоторая робость в общении с людьми, но я всегда чувствовал, более того — знал, что дело было совсем в другом.

В общении со Славой не могло быть никакой, даже самой легкой фамильярности — даже при полном отсутствии дистанции. Но дистанция и фамильярность — все-таки не те категории, не та понятийная шкала, с помощью которой можно было бы что-то объяснить в данном случае. Со Славой невозможно было болтать о бытовых пустяках, невозможно было сплетничать, злословить, опускаться до каких-то пошлостей, пусть и совсем маленьких, невозможны были развязность, легковесное выщучивание, а также и сентиментальность, и риторика, неискренность; он мгновенно мог отличить, где подделка, а где настоящее.

Он задавал некоторый духовный уровень, выход за пределы которого был бы просто неестественным и потому невозможным. Это позволяло ему быть и очень критичным, и очень доброжелательным одновременно, одновременно жестким, строгим и — мягким. Таким было мое первое впечатление от него, от первой с ним встречи в крошечном садике его до предела заставленного книгами и немыслимо перенаселенного дома на Республиканской улице — он прочитал мою первую литературоведческую работу и задавал мне вопросы, почти ни в чем со мной не соглашаясь, но так, что я тогда же понял, что нашел человека, может быть, самого близкого в моей жизни. Тогда я впервые испытал то, смысл чего я по-настоящему осознал только позже, и конечно, с помощью М. М. Бахтина, с которым Свительский был в личном контакте: диалог человека с человеком. Внешне он шел прежде всего в рамках литературоведческой дискуссии, и я долгое время писал свои работы, как бы отвечая на возможные вопросы Свительского, но вместе с тем эти вопросы оказывались и моими собственными вопросами и проблемами. Слава больше всего занимался тогда творчеством Достоевского и Толстого, и своего рода излучение духовной высоты и глубины этих писателей, их учительного духа всегда ощущалось в его личности, и наиболее непосредственно — в его педагогическом даре, в его работе со

студентами. Он был не только ученым, он был еще и настоящим просветителем, педагогом, преподавательская деятельность была для него средством не просто воспитания специалиста, она была средством пробуждения духовного начала в человеке. Помню, как он говорил, что хочет пригласить к себе домой такую-то или такую-то студентку, чтобы она часок посидела в тишине, в окружении книг, немного отвлеклась от суеты и быта.

Выход из суеты, возможность сосредоточиться и задуматься — вот что было важно. При этом Свительский был инициативным организатором такого общения в тишине, он всячески вовлекал студентов в свои научные интересы, приобщая их, однако, не просто к науке, — к умению и способности свободно мыслить, мыслить за пределами советских штампов. Для этого нужно было обрести позицию в жизни, аналогичную той, что М. Бахтин называл «позицией существенной вненаходимости», нужно было уметь оставаться неподвластным интересам, страстиям данного момента, участвовать в этой реальности, активно жить в актуальной действительности (как это было свойственно Славе), вместе с тем не впадая в рабство от нее, не участвуя в ней своей последней сущностью, оставаясь внутренне свободным. «Только не надо преувеличивать», — часто говорил он по разным поводам. Это означало не поддаваться диктату страсти, восторга, обиды, желания, надежды. Или когда он говорил, что не нужно искать скрытого смысла в действиях администрации, в политике партии и т.д., то за этим стояло не только отрицание смысла в этих действиях, но и эта «внезижненная» позиция Свительского, определенная свобода от власти над ним естественно-практического, слишком рассудочного, слишком ангажированного — «слишком человеческого» отношения к действительности.

Наверное, эта особенность позиции обусловила характер также и некоторых весьма значительных идей В. А. Свительского-ученого. В своих работах в области проблемы авторского сознания и авторской оценки в произведении искусства он обнаруживает существенную многоплановость авторской оценки, невозможность ее сведения к однозначно понятому авторскому суду. Его концепция «композиционного мышления» в романах Достоевского по сути предполагает поиск этой как бы надмирной позиции, реализованной на внефабульном и внесубъектном уровнях. А идея противопоставления «автора» и «художника», этического и эстетического, «авторской мысли» и «художественной позиции» может быть понята как движение еще дальше в

этом направлении — за пределы того, что может быть определено как конкретная позиция, доступная рациональному объяснению, конкретной моральной, философской, идеологической оценке. Свительский шаг за шагом уходил от простых решений, которые можно свести к логической схеме, которые не вытекали бы из полноты видения, переживания, схватывания художественного текста как целостности. Это было движение к обретению мудрости, где ясный разум и полнота видения уже не конфликтовали между собой. В Свительском была эта мудрость.

М. М. Гиршман

К ПРОБЛЕМЕ РОДО-ЖАНРОВОЙ ДОМИНАНТЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКУЮ ЭПОХУ

Граница между традиционалистской и индивидуально-авторской эпохой привлекает к себе нарастающее внимание теоретиков и историков литературы. Все более отчетливо осознается, что эпохальный перелом на этом культурном рубеже был поистине всеобъемлющим. Прежде всего, это был всеобще-мировоззренческий перелом в проясняющемся кризисе всех сложившихся представлений о высших, всеопределяющих, Божественных законах всего сущего. То, что было ранее несомненной данностью и исходной основой всего сущего, теперь задано как проблема для личностно-ответственного решения. Противоречие Божественного и человеческого именно на этой границе становится внутренним противоречием творческой личности, одним из разрешений которого как раз и является принципиально новая позиция индивидуально-авторского творчества.

Не менее резким оказывается социально-исторический перелом. Он проявляется в кризисе всех ранее сложившихся социальных общностей, в обособлении личности и ее праве на революционное преобразование своей и общей жизни, в акценте на изменяющуюся действительность реальной, человеческой истории. Противоречие возможности и действительности опять-таки становится внутренним противоречием человеческой личности и человеческой истории.

Наконец, очень значим в контексте нашей темы общекультурный перелом, который обнаруживается в кризисе риторической культуры: она основывалась на общих правилах логики, риторики и поэтики и определяющем творческом движении от

общего типа, канона, жанра к его особым индивидуальным вариациям и реализациям. Теперь же противоречие универсальности и уникальности, всеобщности и индивидуальности становится внутренним противоречием творческой личности гения, который «стоит выше правил, он устанавливает законы»¹.

Если сопоставить эту кантовскую формулу новой культурно-исторической эпохи с суждением Пушкина о том, что «поэта должно судить по законам, им самим над собою признанным»², то можно почувствовать пограничное своеобразие классики нового времени, творчески совершенные создания которой позволяли «свою кровью склеить позвонки» не только двух столетий, но и многовековых культурных эпох. И как древняя классика и ее редчайшее наиболее полное проявление: античная классическая трагедия — «склеивала позвонки» архаической мифологической и риторической, традиционалистской эпох, так и вершинные достижения «новых» классиков: Шекспира, Сервантеса, французских классицистов, Гете, Пушкина — связывали традиционализм и индивидуальное авторство. В их произведениях поэт и закон глубинно едины, разделены и обращены не друг против друга, а друг к другу: они находятся в равнодостойном и равноправном общении друг с другом. Именно в свете классики, которая представляет собой, по прекрасному определению А. В. Михайлова, «фундамент культуры в каждый исторический момент жизни народа»³, можно осознать происходящие перемены и в литературных явлениях, и в теоретико-литературных понятиях, их осмысливающих, и, в частности, в отношениях типологии и творческой индивидуальности.

В этом классическом свете отчетливо видно, что в индивидуально-авторскую эпоху одновременно и взаимосвязанно друг с другом акцентируются, с одной стороны, самостоятельность, самоценность отдельного произведения как целостной индивидуальности, а с другой, всеобщая универсально-поэтическая родовая природа каждого суверенного художественного целого. Поэтический род и индивидуальный мир создаваемого литературного произведения необходимо обращаются друг к другу в авторском творчестве. Именно здесь исток развивающейся на этой историко-культурной границе теории литературных родов, и, на мой взгляд, вполне можно согласится с Ж. Женеттом, который в работе «Введение в архитектуру» писал о том, что «теория трех основных литературных родов» не имеет оснований «приписывать себе древнее происхождение» и вести свою историю от Платона и Аристотеля, тогда как это «одно из фундаментальных членений современной... романтической поэтики»⁴.

Если аристотелевская система жанров «строится почти исключительно на предметах и способах подражания»⁵, то для возникающей на переломе больших эпох романтической эстетики и поэтики «три больших жанра — это не просто формы, но три основных способа понимания жизни и мироздания»⁶.

«В романтическом и неоромантическом делении на лирику, эпос и драму, — разъясняет эту ситуацию Ж. Женетт, — три этих типа поэзии предстают не просто модальностями высказывания (чем являлись «способы подражания» у Платона и Аристотеля. — М. Г.), но настоящими жанрами, в определении которых непременно присутствует тематический элемент, пускай и весьма расплывчатый. Это очень заметно, к примеру, у Гегеля, согласно которому существует эпический *мир*, характеризующийся определенным типом социальных и человеческих отношений, лирическое *содержание* («внутренний мир» поэта) и драматическая *среда*, складывающаяся из конфликтов и коллизий»⁷.

Общую значимость такого подхода подчеркивает также И. П. Смирнов, утверждая, что «лирика / драматика / нарративика суть несходные «способы речи» лишь постольку, поскольку эти субсистемы литературы обладают — каждая — своим особым референтным содержанием (или, если угодно, своей особой генеральной темой, какой в лирике служит автоидентичность субъекта, в драматике — замещаемость субъекта объектом, в нарративике — замещаемость субъекта субъектом)»⁸.

Разработка типологии литературных родов внутренне связана с нарастающим многообразием жанровых традиций и межжанровых взаимодействий. Об их усложняющемся спектре очень выразительно говорил Гете: «Элементы можно сплетать между собой самым неожиданным образом, и поэтические виды многообразны до бесконечности; а потому так трудно найти порядок, согласно которому их можно было бы расположить в ряд или соподчиненно. Но до какой-то степени можно выйти из положения, разместив три основных элемента по кругу, друг напротив друга, а затем, отыскивая такие образцы, где правит лишь один из элементов. Потом собирай примеры, где преимущество оказывается на стороне того или другого, где, наконец, завершено объединение всех трех элементов, а тогда, стало быть, весь круг замкнут в себе»⁹.

С суждениями Гете по этому кругу проблем перекликается характеристика руководящего принципа пушкинской поэтики, принадлежащая Ю. Н. Тынянову: «Принцип, которым Пушкин руководствовался в своей критической и художественной деятельности, — это принцип рода — не столько как совокуп-

ности правил, успевших стать традицией, сколько того направления, в котором следуют этой традиции — род как главный организующий и направляющий фактор, доминирующий над всеми отдельными элементами художественного произведения — и видоизменяющий их¹⁰. Нарастающая суверенность литературного произведения и авторского творчества актуализирует родовые, «природные» формы существования поэзии, а интенсивно развивающееся многообразие жанровых традиций и межжанрового взаимодействия обуславливает формирование родо-жанровых доминант, определяющих художественную целостность в ее универсальном всеединстве, множественном составе и уникальной единственности.

Принципиально новая художественная суверенность произведения, которое становится образом мира, явленным в слове, как раз и проявляется в сочетании родо-жанровой доминанты со стилевой цельностью, и предлагаемое мною определение организующего принципа произведения индивидуально-авторской эпохи как *личностно-родового*¹¹ в своей реализации предполагает авторским творчеством осуществляющую встречу рода — жанра — стиля. При ориентации на принципиальную множественность жанровых традиций, на их взаимообращенность и взаимодействие друг с другом в произведении индивидуально-авторской эпохи создаются образы различных жанров, трансформируются разные жанровые традиции, и в формирующейся системе полижанровых взаимосвязей, в диапазоне жанровых характеристик определяется родо-жанровая доминанта. Она предстает как двуединый центр полижанрового взаимодействия в авторском творчестве, где жанровое становится тождественным родовому, а род проявляет себя в личностно-индивидуальной жанровой уникальности. Пределом ее утверждения можно считать тезис Ф. Шлегеля, что каждое поэтическое произведение — само по себе отдельный жанр¹²: важно подчеркнуть, что утверждение это равно противостоит и жанровой нормативности, и внежанровости.

Глубоко и основательно характеризуя сегодняшнюю ситуацию в теории литературных родов, Н. Д. Тамарченко справедливо отмечает двуплановость отношений литературного рода как теоретического конструкта, с одной стороны, с произведением как таковым (род — один из основных вариантов произведения вообще), с другой, — с общими структурными признаками ряда близких друг другу жанров («род — абстрактно представленное единство этих признаков или свойств»¹³).

В осмыслении индивидуально-авторской эпохи особенно актуализируется взаимообращенность этих двух сторон в том историческом движении, в котором специфическая природа словесно-художественного произведения и литературы вообще проясняется именно в точках встречи рода и жанра. Жанр в своем развитии и взаимодействии с развивающимся многообразием других жанров одновременно и формирует, и раскрывает родовую сущность, так что род проявляет себя в жанре, а собственно жанровое становится, как я уже говорил, тождественным родовому в тех точках встречи, где родовая сущность проявляется как событие взаимодействия жанров, их трансформации в новом целом. Оно и определяется родо-жанровой доминантой и стилем.

На этом этапе литературно-художественного развития род, жанр, стиль — это типологические характеристики, не параллельные, но взаимосвязанные, пересекающиеся и в пределе устремленные к единому центру: пушкинскому стихотворению, или чеховскому рассказу, или драме Островского. Этот центр авторской творческой активности связывает тип мира и тип текста так же, как универсальность художественной литературы, словесно-художественного произведения вообще и уникальность авторского сознания. Таким образом, родо-жанровая доминанта — это своеобразный смысловой «фокус» накопленной истории родо-жанрового развития и в то же время смысловой центр, в котором встречаются род, жанр и творческая индивидуальность не путем поглощения одного другим, а на основе принципиальной равнодостойности.

Последний момент очень важен. Полижанровость и множество жанровых традиций не ликвидируют жанр и не сводят его на роль «составной части», о чем убедительно говорит О. В. Зырянов в очень содержательной монографии об эволюции жанрового сознания лирики. Части вообще «лишь у трупа», и речь может идти об одном из оснований, проявителе и выразителе целого — необходимом, но недостаточном для полноты этого выражения. Полнота эта охватывает единство, разделение и общение многих разных целых в художественной целостности, которая, по точному определению Зырянова, «остается прежде всего жанровой, родовой и стилевой целостностью»¹⁴. А что касается (вспоминая бахтинское суждение о жанре) «последнего целого высказывания, не являющегося частью большего целого», то оно-то как раз и определяется родо-жанровой доминантой и стилем, которые в своем единстве-разделении-взаимообращенности представляют автора-творца художественной це-

лостности. По отношению к ней вполне справедливо утверждение Зырянова о том, что «стилевой тип целостности не отменяет жанрового мышления и даже, более того, ему не противоречит. Введение категории авторства в само понятие жанра позволило бы.... по достоинству оценить «существенную жизнь» произведения на стадии рефлексивного персонализма»¹⁵. Вполне верно и то, что «...стиль, род, автор... поэтикой рефлексивного традиционализма включались в жанровую систему на правах её составных компонентов. Литературный процесс нового времени круто меняет исходную ситуацию: из закрытой статической системы жанр превращается в динамическую целостность, а некогда составляющие эту систему компоненты получают автономный статус и развиваются в мощные факторы жанрообразования»¹⁶.

Убедительно возражая против бытующего мнения о «внежанровом» типе лирического стихотворения, Зырянов говорит: «Лирика — уже сама по себе жанр»¹⁷. К этому вполне можно добавить: так же, как стихотворение само по себе род, если иметь в виду происходящее именно в индивидуально-авторскую эпоху прояснение границ стиха и художественной прозы как доминирующих форм соответственно лирического и эпического родов, так что лирическое творчество все в большей и большей степени не может не быть стихотворением и в смысле процесса (творения стихов), и в смысле результата — стихотворения, которое в самом деле «несвободно от жестких законов лирической дискурсивности»¹⁸.

Перефразируя слова И. Бродского: «поэт — это средство языка к продолжению своего существования», — Зырянов говорит о том, что «поэт есть средство жанра к продолжению своего существования»¹⁹. В соответствии с этой логикой можно сказать и с «точностью до наоборот», что жанр есть средство поэта для своего самоосуществления. Но, на мой взгляд, более точным является несколько иной подход: и поэт, и жанр, и род — не средства, а проявители единой цели, отраженной в пушкинском афоризме: «цель поэзии — поэзия». Афоризм этот, кстати сказать, замечательно выражает своеобразие индивидуально-авторской эпохи. И автором в эту эпоху является не надличный жанровый субъект и не внежанровая личность, а человек-творец, который не встречает, а есть встреча сверхличного и личного, натуры творящей и сотворенной. Осуществление творческой индивидуальности в слове — стиль — это одновременное обновление родовых и жанровых традиций: не вариация, а изменение состояния рода и жанра в целом. Безус-

ловно, актуальна в этом смысле обоснованная Зыряновым «феноменологическая концепция жанровой эволюции, базирующаяся на идее творческого диалога художника с миром культуры», она «не ограничивается лишь сознательным актом авторской рефлексии (субъективный аспект), но предусматривает также аспект объективно-онтологический, или творчески-бессознательное усвоение «объективной памяти жанра» (М. М. Бахтин)»²⁰.

Из сказанного ясно, что идеи «безжанровости» или «внежанровости» творчества индивидуально-авторской эпохи неадекватно отражают происходящие процессы, и едва ли можно вполне согласиться с С. Н. Зенкиным в том, что в литературе последних столетий, которая «характеризуется все большим смешением, нарушением, пертурбацией традиционной системы жанров», «упадок жанрового сознания... было невозможно сдержать»²¹. Полижанровость, взаимодействие различных жанровых традиций в пределах одного произведения включает процессы жанровой ориентации в светлое поле авторского сознания, в сферу индивидуально-авторского творчества. А это означает в принципе не упадок, а скорее подъем жанрового сознания и ответственности за выбор и принятие законов, над собой признанных, за формирование индивидуальных родо-жанровых разновидностей и реализацию их как языка общения автора и читателя.

Упадку жанрового сознания, по-моему, противоречит здесь же высказанное предложение С. Н. Зенкина «разграничивать два понятия жанра — жанры дискурса и жанры текста. Первое характеризует строй отдельных частей текста... в произведении могут сочетаться, перемежаться разные жанры дискурса. Напротив того, жанр текста характеризует собой способ завершения произведения как целого, окончательного оформления и осмысливания применявшимся в нем жанров дискурса... на уровне отдельного произведения свобода выбора дискурсов уравновешивается необходимостью придать тексту ту или иную финальную жанровую определенность»²². Это, по-моему, вполне плодотворная идея, только точнее было бы говорить о финальной родо-жанровой определенности и связывать жанры дискурса не с «частями», а со смысловыми аспектами целого. Оно формируется усложняющимся жанровым сознанием, роль которого в авторском творчестве возрастает, в том числе и тогда, когда им формируемые границы отрицаются, точнее, проблематизируются и трансформируются.

Таким образом, в литературе индивидуально-авторской эпохи произведение не только может, но в известном смысле и дол-

жно быть многоязычным, полижанровым, стилистически разноплановым (вспомним пушкинское «мышление стилями», о котором писали многие филологи, и обобщающую характеристику А. В. Михайлова: «каждое литературное произведение — это узел, в котором соединяются разные стилистические линии»²³). В то же время не внешним ограничением, а внутренней проблемной границей этой множественности становится утверждаемый или отрицаемый творческий центр, который в идеале (в свете классического диалога согласия) объединяет универсальность общечеловеческого опыта и уникальность единственного, здесь и сейчас живущего человека в его конкретной историчности. Проблема рода-жанровой доминанты и вообще отношения рода — жанра — стиля в типологии индивидуальностей имеют ближайшее отношение к этому творческому центру и противостоянию полюсов «центрирования» и «децентрации».

Попытаюсь хотя бы в некоторой степени конкретизировать эти общие положения в определении *эпической* доминанты чеховского *рассказа* «Дама с собачкой». Его эпичность не раз подвергалась серьезным сомнениям и становилась предметом полемики. Вспомним хотя бы противопоставление Л. Толстого и Чехова в монографии В. Я. Лакшина: «Чехов подхватывает традицию Толстого-психолога, мыслителя и сердцеведа, но эпический тон остается ему совершенно чужд... У Чехова нет такой целостной, завершенной (хотя и противоречивой) концепции жизни, как у Толстого... Чехова интересует не столько человеческая жизнь в целом с ее радостями и скорбями, жизнь как выражение вечных законов бытия, сколько характерные черты и настроения современной ему действительности... Вместо эпического взгляда на мир, у Чехова — лирика и ирония, трезвый и тонкий скептицизм, разлитый во всем и не коснувшийся разве что мечты и надежды»²⁴. На мой взгляд, гораздо более убедительно и точно характеризует специфику чеховского творчества В. А. Свительский: «Картина жизни, предлагаемая в самом компактном рассказе, тем не менее свидетельствует о бытии, отражает объективно сущий мир в целом...»²⁵.

Чеховский рассказ проявляет внутреннюю противоречивость именно человеческой жизни в целом: ее общий ход соединяет в себе и надежду, и безнадежность, и все ужасы, и красоту так же, как почти всегда упоминаемый в анализах поэтики «Дамы с собачкой» серый цвет и связывает, и различает и «серый, длинный с гвоздями» забор, и «серое солдатское сукно» на полу гостиничного номера, и «серое, точно больничное одеяло», и

«серую от пятен» чернильницу и... «любимое» Гуровым «серое платье», и «красивые серые глаза» Анны Сергеевны. И это не контраст, не совмещение противоположностей в точках наивысшего драматического напряжения, а прежде всего многогибкость и разнонаправленность того «непрерывного движения жизни на земле», где вместе сосуществуют и «непрерывное совершенство», и «полное равнодушие к жизни и смерти каждого из нас», и «тайная», и «явная» жизнь.

Лиризм и драматизм чеховского рассказа «Дама с собачкой» охватываются его эпической доминантой — эпосом встречи «личной тайны» и «высших целей бытия» в вечном потоке жизни с ее «взрывчатой энергией» и непредсказуемыми перспективаами, драматической разобщенностью и возможностью встречи двух любящих людей — двух обращенных друг к другу индивидуальных существований. Эпическая перспективность «Дамы с собачкой», конечно же, не в счастливом конце, а в «начале» — в неповторимом для каждой, единственной в своем роде личности возвращении к первоначалам рождения, индивидуального осуществления человечности, — осуществления, которое в эпическом мире «только еще начинается». Именно это слово является последним словом чеховского рассказа: «И казалось, что еще немного — и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается». В этой точке финальной гармонии может быть особенно явственно согласуются друг с другом, сходятся родо-жанровая доминанта и стилевое «лицо» чеховского рассказа.

«Содержанием эпоса, — писал Гегель, — является целостность мира, в котором совершается индивидуальное действие... Собственно же эпическая жизненность заключается как раз в том, что обе основные стороны: особенное действие с его индивидами и всеобщее состояние мира, — оставаясь в беспрестанном опосредовании, все же сохраняют в этом взаимоотношении необходимую самостоятельность, чтобы проявлять себя как такое существование, которое и само по себе обретает и имеет внешнее бытие»²⁶. Эпическим событием и становится такая исторически развивающаяся взаимосвязь всеобщего состояния мира и особенного действия с его индивидами — при сохранении этих фундаментальных родовых принципов необходимой бытийной самостоятельности и беспрестанного опосредования — в то же время во внутреннем движении родо-жанровых форм раскрывается изменяющийся масштаб целостного мира и индивидуального действия в нем.

У Чехова выявляется характерное для «конца века» предельное «дробление» бытия и то кризисное состояние индивидуальности в мире, о котором очень выразительно говорил И. Анненский: «С каждым днем в искусстве слова все тоньше и все беспощадно правдивее раскрывается индивидуальность с ее капризными контурами, болезненными возвратами, с ее тайной и трагическим сознанием нашего безнадежного одиночества и эфемерности...». В то же время, по мнению Анненского, это «человеческое я, которое не ищет одиночества, а напротив боится его; я, вечно ткущее свою паутину, чтобы эта паутина коснулась хоть краем своей радужной сети другой, столь же безнадежно одинокой и дрожащей в пустоте паутины, не то я, которое противопоставляло себя целому миру, будто бы его не понявшему, а то я, которое жадно ищет впитать в себя этот мир и стать им, делая его собою»²⁷.

Жаждя «впитать в себя этот мир и стать им, делая его собою» — это стремление, содержащее в себе эпическую перспективу того восполнения и «расширения» человеческого бытия, которое В. Кайзер считал «сущностью собственно эпического»: «Что же приводит в эпическое событие, помимо обязательного «овнешненного события», из сущности собственно эпического и воздействует на построение? Это, очевидно, как раз расширение, включение человека и событий первого плана в широкое содержательное пространство, в более обширный мир»²⁸. Такое расширение и выстраивается наиболее отчетливо в сопряжении «высших целей бытия» и «личной тайны», и именно здесь сходятся родовая и жанровая доминанты, эпос и рассказ оказываются единосущными: единосущны чеховское повествование в тоне и духе героя о случае из жизни и объективно развертывающееся событие рождения любви-человечности в мире.

Отличительные признаки рассказа: «сосредоточенность внимания, выдвинутый по напряженности центр и связанность мотивов этим центром»²⁹ — предстают и как родовые характеристики. Эпическая объективность и событийность реализуются именно в этих жанровых признаках как в своем «языке». Авторским творчеством род и жанр сводятся в отношениях и взаимопереходах особенного действия и всеобщего состояния мира, локальности и глобальности в событии, о котором рассказывается, и в событии рассказа, а доминанта «центрирует» этот творческий процесс и обнаруживает родовые и жанровые (точнее, родо-жанровые) смыслы в их стилевом, индивидуально-

личностном преломлении или иначе, обнаруживает авторское присутствие во всех типологических характеристиках целого: и в роде, и в жанре, и в стиле.

Контрастным и в то же время «издалека» проясняющим эпичность чеховского рассказа историко-теоретическим фоном может быть суждение о герое шекспировской трагедии как герое эпическом — суждение, которое высказывает С. Г. Бочаров, опираясь на работу Л. Е. Пинского «Трагическое у Шекспира»³⁰: «Шекспировскому персонажу, как в эпосе, свойственна универсальность характеристики, нерасчлененность общего и индивидуального... для трагического героя Шекспира его свободная индивидуальность и есть воплощение естественного закона (форма, в которой сознаются новые общественные закономерности)»³¹.

На этом, повторю, контрастном шекспировском фоне можно отчетливо увидеть, что у Чехова перед нами, казалось бы, предельно обособленные частные индивиды, но в освещении их личной тайны открывается не частное своеобразие, а индивидуально-личная основа общей жизни. И центр истинного бытия в этом мире может быть только индивидуальным — потому встреча и рождение любви при все более и более осознаваемой уникальности, единственности происходящего обретают всеобщий смысл, напрямую связанный с перспективой человеческого существования. А предфинальный вопрос героя «Дамы с собачкой»: «Как освободиться от этих невыносимых пут? Как? Как? — спрашивал он, хватая себя за голову. — Как?» — вопрос этот соотносим в этом смысле с гамлетовским «быть или не быть» и масштабом индивидуальной задачи шекспировского героя: соединить «обрывки» разрывавшейся нити жизни. Во всяком случае, в мире чеховского рассказа к ситуации «начнется новая, прекрасная жизнь» ведут только индивидуальные пути, и, с другой стороны, любое успешное индивидуальное усилие *быть* обретает общежизненное значение. А проблема: как сделать так, чтобы что-то хорошее получилось у двух частных индивидов в их, казалось бы, сугубо обычном, современно-повседневном существовании, — это в логике чеховского эпического творчества, безусловно, мировая и общечеловеческая проблема.

¹ Кант И. Из опубликованных посмертно материалов 1770—1780-х годов к книге «Антропология в pragmatическом отношении» // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т. 3. М., 1976. С. 80.

² Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 7. М., 1956. С. 124.

- ³ Михайлов А. В. Судьба классического наследия на рубеже XVIII—XIX веков // Классика и современность. М., 1991. С. 150.
- ⁴ Женетт Ж. Фигуры: В 2 т. Т. 2. М., 1998. С. 283.
- ⁵ Там же. С. 289.
- ⁶ Там же. С. 320.
- ⁷ Там же. С. 324.
- ⁸ Смирнов И. П. Смысл как таковой. СПб., 2001. С. 256—257.
- ⁹ Гете И.-В. Западно-восточный диван. М., 1988. С. 230.
- ¹⁰ Тынянов Ю. Н. Поэзия. История литературы. Кино. М., 1977. С. 45.
- ¹¹ См. об этом: Гиршман М. М. Литературное произведение: теория художественной целостности. М., 2002. С. 36—38.
- ¹² Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: в 2-х т. Т 1. М., 1983. С. 295.
- ¹³ Теория литературы: В 2-х т. / Под ред. Н. Д. Тамарченко. Т. 1. М., 2004. С. 267.
- ¹⁴ Зырянов О. В. Эволюция жанрового сознания русской лирики: феноменологический аспект. Екатеринбург, 2003. С. 57.
- ¹⁵ Там же. С. 63.
- ¹⁶ Там же. С. 64.
- ¹⁷ Там же. С. 82.
- ¹⁸ Там же.
- ¹⁹ Там же. С. 83.
- ²⁰ Там же. С. 100.
- ²¹ Зенкин С. Н. Введение в литературоведение // Теория литературы. М., 2000. С. 31—32.
- ²² Там же. С. 34.
- ²³ Михайлов А. В. Методы и стили литературы // Теория литературы. Т. 1. М., 2005. С. 216—217.
- ²⁴ Лакшин В. Я. Лев Толстой и А. Чехов. М., 1963. С. 447, 448, 500.
- ²⁵ Свительский В. А. Идеал и действительная жизнь в художественном мире А. П. Чехова // Памяти профессора В. П. Скобелева: Проблемы поэтики и истории русской литературы XIX—XX вв. Самара, 2005. С. 166.
- ²⁶ Гегель Г.-В.-Ф. Эстетика: В 4-х т. Т. 3. М., 1971. С. 459, 462.
- ²⁷ Анненский И. Книги отражений. М., 1979. С. 206.
- ²⁸ Цит. по: Семенов А. Н., Семенова В. В. Теория литературы. М., 2003. С. 180.
- ²⁹ Локс К. Рассказ // Литературная энциклопедия. Словарь литературных терминов: В 2-х т. Т. 2. М.-Л., 1925. С. 695.
- ³⁰ Пинский Л. Е. Реализм эпохи Возрождения. М., 1961. С. 260—261.
- ³¹ Бочаров С. Г. Характеры и обстоятельства // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Образ. Метод. Характер. М., 1962. С. 356—357.

Н. Д. Тамарченко
ИСПЫТАНИЕ ИДЕИ
В РУССКОЙ ПОВЕСТИ РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ

Повесть этой эпохи, как известно, развивалась при постоянной, во многом глубоко полемической ориентации на классический русский роман XIX в. В определенной степени она была призвана заменить этот жанр в литературе своего времени. Один из важнейших ориентиров в этой литературной ситуации, конечно, — романы Достоевского. Трансформация *идей* и *мотивов*, наиболее характерных для творчества этого автора, в произведениях Л. Андреева и некоторых других прозаиков, рассматривалась неоднократно. Но при этом соотношение *жанровых структур* (например, повести и романа) произведений, преемственно связанных по своей тематике и проблематике, как правило, оставалось вне поля зрения.

Между тем, речь должна идти, на наш взгляд, не просто о воздействии одного писателя на другого или на целый ряд его преемников в литературе. Достоевский и его последователи, а также некоторые другие авторы были причастны к традиции философского романа и повести, которая ближайшим образом связана с европейским Просвещением и отчасти с романтизмом. Чтобы выделить среди многочисленных образцов повести рубежа веков произведения, относящиеся к этой традиции, используем такой критерий, как ситуация испытания, причем не характера персонажа, а именно *идеи*, носителем которой может быть один или множество персонажей.

В романах Достоевского ядро сюжета — идеологический эксперимент героя. Однако у его последователей эксперимент может иметь в первую очередь психологическую направленность, хотя в сознании экспериментирующего персонажа присутствует также определенная идея. Эти два варианта необходимо сопоставить. Такова задача первой части статьи. Оптимальный для ее решения материал — разные повести Л. Андреева, в равной степени отмеченные воздействием романов Достоевского. К другой линии традиции относятся, по-видимому, те произведения, в которых инициатива при проверке состоятельности той или иной идеи принадлежит автору, а не герою. Таковы рассматриваемые во второй части статьи повести Чехова и Брюсова.

1

Сопоставим пути трансформации структур романа Достоевского в повестях Л. Андреева: с одной стороны, в повести

«Мысль» (1902); с другой — в «Жизни Василия Фивейского» (1904) и в «Иуде Искариоте» (1907).

В повести Л. Андреева «Мысль» есть очевидное сходство с романом Достоевского «Преступление и наказание» и прямая к нему отсылка: «Вспомните Раскольникова, этого так жалко и так нелепо погибшего человека, и тьму ему подобных»¹. О такой литературной ориентации произведения говорит и родство фамилий («Керженцев» — также указывает на раскол²). Отсюда соблазн сразу ответить на вопрос, в чем состоит различие двух трактовок проблемы преступления и наказания (или проблемы «индивидуалистического бунта» и т. п.)³. Однако в свете нашей общей темы гораздо актуальнее вопрос о том, почему сходная, если не идентичная, проблема у Л. Андреева разрабатывается в другой жанровой структуре (романом «Мысль» никто не считает; правда, иногда ее называют «рассказом»). И, следовательно, разумнее начинать именно с описания этой структуры, ее конкретного варианта.

Текст повести складывается из ряда фрагментов записок героя (пронумерованных «листов») и обрамляющих эти записи вводных и заключительных сообщений и комментариев повествователя⁴. Начало рамки ставит вопросы о вменяемости героя-преступника, о том, должно ли его считать душевно здоровым человеком. С такой точки зрения, записи — «письменные объяснения», т. е. особого рода показания, «данные» Керженцевым, приобщенные к материалам следствия и послужившие основой заключения экспертов (впечатление достоверности «материалов» создает внезапный перебив порядка следования фрагментов: после четвертого — «На клочке»). В конце рамки последние сообщения повествователя касаются итогов «расследования» вопроса о вменяемости — хода судебного заседания и мнений экспертов.

Это означает, что с внешней точки зрения преступление доктора Керженцева — повод для решения вопроса о связи в данном случае *убийства с болезнью*. Но тот же самый вопрос содержится и в записках: «Притворялся ли я сумасшедшим, чтобы убить, или убил потому, что был сумасшедшим?» (I, 419). И он остается для героя неразрешенным. Но так и для экспертов, мнения которых, как и предвидел «испытуемый», разделились пополам⁵. При видимом сходстве и как бы равенстве внешней и внутренней точек зрения на одни и те же факты, преимущество отдано внутренней точке зрения, с которой случившееся — нечто неизмеримо более значительное, чем просто юридический казус. Ибо вопрос о связи убийства с болезнью и был главным мотивом убийства: оно служило проверкой

мысли о возможности намеренного, обдуманного преступления под видом или под маской болезни, внезапного приступа или помешательства.

Такая структура порождает ряд вопросов по поводу соотношения с романом Достоевского: 1) сведена ли вся проблема преступления и наказания у Андреева к одному аспекту так, что он включает в себя все остальные, или другие аспекты в повести вообще не затронуты? 2) должно ли здесь говорить об испытании героям себя или правильнее — об испытании идеи? 3) связано ли с различием трактовок преступления и наказания двумя авторами различие созданных ими жанровых форм?

Начнем с того, какие возможности предоставляет форма записок и какие ограничения с ней связаны. По традиции, идущей от Достоевского («Записки из подполья»⁶), записки — форма изображения самосознания как неразрешенного и незавершенного по своей природе. Но разрешаемый в данном случае вопрос — это и есть вопрос о самодостаточности человека. Герой ближе к финалу говорит, что его тянет к людям, чтобы найти «источники жизни» и «снова стать себе другом» (I, 419). Как видно, он остается всецело замкнутым на себе: никакого выхода к реальному другому — как самоценному субъекту, а не средству для собственного обновления, у него нет. Об этом же свидетельствует и то, что сказано в записках о детях, о девочке. Преступление для героя исключительно — испытание *себя* (проверка, проба) на самодостаточность. Таким образом, мы видим полную адекватность формы особой трактовке философско-этической проблемы.

Но ответом на поставленный вопрос такая форма стать не может: кругозор героя не ограничен от авторского. Необходима содержательная внешняя точка зрения. У Достоевского (в «Записках») ее дают другие сознания, хотя контакт с ними интериоризован героем. Здесь изображающее сознание изолировано. Отсюда необходимость обрамления записок героя речью повествователя.

На первый взгляд, создаваемая рамкой внешняя точка зрения сугубо нейтральна и носит лишь осведомительный характер⁷. Но в эту общую картину явно не вписывается фраза повествователя о смерти в глазах: «И те, на кого упал этот тяжелый, невидящий взгляд, испытали странное и мучительное чувство: будто из пустых орбит черепа на них взглянула сама равнодушная и немая смерть» (I, 420).

Отсюда — загадка «сюжета записок», итогов самосознания, которые оказываются вне кругозора героя, но — в кругозоре

автора. И с этой точки зрения очевидно, что перед нами не-примиримо расколотое, двойственное сознание, причем эта двойственность не осознается, но лишь изнутри переживается. Герой говорит, что его мысль из головы «ушла в тайники тела, в черную и неизведанную его глубину. И оттуда она кричала, как посторонний, как сбежавший раб...» (I, 409). И тут же он признает самого себя «рабом» мысли (I, 410). Отсюда и поиски выхода в изменении внешнего положения, внешней судьбы: герой надеется, что судьи дадут ему то, чего он хочет — каторгу. Отсюда же и идея о взрывчатом веществе, вернее — ее оборотная сторона: она — свидетельство того, что внутри сознания существует опасность взрыва. Раскол сознания⁸ в finale оборачивается его полной гибелью.

При сравнении Керженцева с Раскольниковым⁹ заметно, что, несмотря на ряд мотивов, сближающих этих персонажей, у Л. Андреева другая, чисто психологическая трактовка тех же проблем. Речь идет здесь о проверке себя, *но не идеи, которая больше «я»*. В сущности, у Керженцева нет полноценной, подлинной идеи¹⁰, а потому и преступления как «нового слова». Ведь «слово» всегда к кому-то обращено и при этом оно изначально не только свое.

В повести Андреева катастрофа заключается в наступившем двойничестве («двойственники»), в открытии героем того факта, что человек — не одно со своей мыслью. Особенно значимо переживание собственной мысли как «пьяной змеи»¹¹, пародоксально сочетающее мифологический символ Хаоса с мыслью, соотносимой по традиции с разумностью миропорядка. Внутреннему расколу отвечает раздвоение самой реальности: у читателя нет уверенности в том, что события представлены адекватно, что герой различает действительность и воображаемое¹².

Итак, в повести Л. Андреева мы находим практически все те аспекты проблемы, что и в романе Достоевского. Прямой отклик на роман (на финал сна Раскольникова об убийстве ста-рухи) можно увидеть в следующем пассаже о любви к идеи: «На вершину высокой горы вознесла она меня, и я видел, как глубоко внизу копошились людишки с их мелкими животными страстями, с их вечным страхом перед жизнью и смертью, с их церквами, обеднями и молебнами... Царь над самим собой, я был царем и над миром» (I, 417—418). С этим «карнавальным увенчанием короля-самозванца» (Бахтин) соседствует, конечно, и развенчание: «Долой с трона, жалкая, бессильная мысль» (I, 413). Но перед нами в точном смысле слова карнавал в одиночку. Нет контакта с чужими сознаниями и даже

самой его возможности: показательно в этом смысле отношение героя к Маше, которая здесь явно замещает Соню Мармеладову. В результате полифоническая структура «Преступления и наказания» редуцирована до внутренней диалогичности «Двойника».

«Жизнь Василия Фивейского» явно отличается от «Мысли», поскольку ориентирована на житийную традицию¹³. В то же время в ее тексте отмечена параллель между историей героя и столь значимой для романов Достоевского (особенно для «Братьев Карамазовых») притчей об Иове. Но у героя есть сомнения в бытии Божием, которых у Иова не было¹⁴. Разговоры с Богом здесь не только односторонни (понятно, что в отличие от ветхозаветной традиции здесь ответа не может быть), но и всегда отмечены вызовом (богооборчеством) — при всем иногда кажущемся, а иногда и действительном терпении и смирении.

Смысл истории передан, в первую очередь, субъектной структурой повести. Все рассказанное, несмотря на то, что повествование ведется от третьего лица, дано в основном сквозь призму сознаний персонажей, среди которых безусловно доминирует одно (авторское видение неразличимо сливаются с видением главного героя)¹⁵. Сюжетные перемены порождаются не столько объективными событиями, сколько сменами точки зрения на них главного героя.

Во-первых, это изменение наиболее важной для него внешней точки зрения: носитель норм этого мира Иван Порфирьевич вдруг впервые осознает, что поп выше его ростом, а это для него тождественно переоценке социальной значимости человека (I, 504). Но замечает он это обстоятельство только потому, что о. Василий его самого не заметил. Иначе говоря, героя возвышает его возникшая духовная сосредоточенность и замкнутость. Вторая перемена, о которой сказано тут же (в этой же V главке): «И тут впервые на сороковом году своего бытия о. Василий Фивейский понял глазами, и слухом, и всеми чувствами своими, что, кроме него, есть на земле другие люди — подобные ему существа, и у них — своя жизнь, свое горе, своя судьба» (I, 505). Это, на первый взгляд, напротив, выход из сосредоточенности на себе. На самом деле никакого выхода за пределы собственного «Я» не происходит. Возникновение контакта с дочерью (в той же главке) также ничего не меняет, поскольку подчеркнуто их родовое сходство: в ней герой видит в значительной мере себя. Еще очевиднее об этом говорит разговор с Мосягиным (VI главка). Это *двойник*: и его судьба напоминает историю Иова, и в нем есть огромный, не реализуе-

мый потенциал. А потому не случайно разговор начат фразой «Я тебя давно поджидаю» (I, 510).

Самое большее, что дано о. Василию, — увидеть себя со стороны, но не увидеть другого. И, следовательно, пока — укрепиться в идее непонятной и бессмысленной обреченности («Так, значит, и будет»). Тут же и подтверждено читательское ощущение родства двух персонажей: «...и что-то увидели они друг в друге близкое, родное и страшно печальное» (I, 513). Эта сосредоточенность на себе и объясняет отсутствие подлинной веры — такой непосредственной, как у мужика. Веру о. Василий удерживает в себе насильственно (как бы назло судьбе). Потому и церковь оказывается полна мрака.

Таким образом, перед нами изображение судьбы героя через его же монологическое сознание и без существенного авторского избытка¹⁶. Это, в сущности, «анти-Толстой»: не прямой авторский, а опосредованный, «геройный» монологизм. В то же время *замкнутость на себе* этого *насильственно верующего Иова* — это и есть главная сюжетная проблема. Испытание, посланное ему лично, оборачивается, с его точки зрения, испытанием Божьей правды и справедливости по отношению ко всему миру, проверкой наличия мирового смысла. Поэтому отсутствие у человека надежды приравнивается им к смерти: «Так, значит, и будет? — спросил поп, и слова его звучали далеко и глухо, как комья земли на опущенный в могилу гроб» (I, 512). Между тем, все люди надеются и ждут («страдание, страх и великое ожидание» — I, 514). Получается, что обреченность смерти любого человека равна всеобщей безнадежности. Отсюда и рождается идея священника: воспрепятствовать одной смерти — всемирное дело. Это означает заменить собой Бога и оправдать надежды.

Говоря об изолированности сознания героя, необходимо уточнить: речь идет не об авторском выборе одной из более или менее четко ограниченных друг от друга точек зрения. Напротив: все дело именно в том, что избранная точка зрения *никак не отграничена* ни от взгляда повествователя (последний смотрит на все изнутри изображенного мира), ни от сознаний и точек зрения других персонажей (тех, что в какой-то мере показаны изнутри; например, от восприятия действительности попадьей). Существует определенный комплекс эмоций, окрашивающих все воспринимаемое. И этот комплекс и эта окраска иррадиируют из сознания главного героя, где они сосредоточены, на все окружающее: получается универсальная, значимая для всего мира и как бы общечеловеческая субъективность. Таков здесь особый вариант гротескного субъекта.

Идея бунта и человекобожества явно исходит от Достоевского (как таковая — как постановка одного из проклятых вопросов). Есть и прямые отсылки, например, к роману «Преступление и наказание»: обреченная на смерть лошадь с кроткими глазами и мысль «Все бедные. Все плачут» (I, 516), от который герой тут же переходит к бунту. Сразу же после него, в главке VII, показан на исповеди нищий, антипод Мосягина и очевидно *анти-Иов* (жаждет признания себя страшным грешником). Того поп призывал молиться Богу, однако, отказываясь разделять с Ним ответственность за все происходящее; этому он внушает, что ада нет и не будет. Т. е. уничтожает разницу. Это и есть предел неверия. Доведя до него героя, автор создает в главке VIII основной сюжетный поворот: *гибель попади в сгоревшем доме*. Тут-то и возникает убеждение Василия Фивейского в *теодицею* (...там, где видел он хаос и злую бессмыслицу, там могу чею рукою был начертан верный и прямой путь — I, 528) и в собственной избранности для религиозного подвига. Герой уподобляет человеческое знание неведению стрелы о своем пути: «Но разве думает о пути стрела, посланная сильной рукой» (I, 529 —ср. в «Кандиде» притчу дервиша о посланном султаном корабле и корабельных крысах). Отсюда идея чуда, которая в комментариях повествователя сопровождается скрытой цитатой из Ницше («Туда не смела заглянуть еще его человеческая, слишком человеческая мысль» — I, 539). При этом, думая о Боге и мире, он держит в руке цыпленка: «И разве я — не в руке Его?». На месте прежнего противопоставления себя Богу, теперь — уподобление себя ему, почти отождествление.

После отмеченного сюжетного поворота единство точек зрения повествователя и героя распадается. Очевидно, сомнение и неверие автор считает в большей степени общечеловеческими умонастроениями, чем веру в чудо и в собственную избранность к его свершению. В конце гл. VIII герой показан глазами окружающих, в гл. IX — глазами Ивана Порфирича. В этой и следующей главах на смену Иову — испытуемому, жертве страданий — приходит Иов добровольный. Впервые священник показан сначала «глазами» метели, потом — идиота. Это с точки зрения последнего сказано: «Он грезил дивными грезами светлого, как солнце, безумия» (I, 537). Авторское стремление сблизить двух персонажей заметно и в эпизоде чтения евангельского рассказа об исцелении слепого: о. Василий делает это как бы в назидание идиоту, но под аккомпанемент метели, показанной как олицетворение родственного идиоту хищного хаоса.

Смерть Мосягина, который (в соответствии с предчувствиями, прозвучавшими еще при разговоре в церкви) как бы заживо попал в гроб, с точки зрения о. Василия — событие исключительной важности. Это повод для попытки осуществить пригрезившуюся ему в момент нового обретения веры утопию: «И в бездонных солнечных глубинах неясно обрисовывался новый мир, и он уже не был землею» (I, 530, 544). Имеет этот замысел героя как будто и всеобщее значение: показано предгрозовое затишье в природе перед службой. И даже с точки зрения Ивана Порфирия, столь значимой для изображенного мирка, поп — повелитель смерти: их разговор в церкви свидетельствует о сочетании страха с обожествлением.

Сам заключительный эпизод отпевания подготовлен всеобщим тревожным ожиданием и грозящими переменами в олицетворенной (сходной с мертвцем) природе: «видели, как позди их выползло что-то чугунно серое, лохматое, взглянуло в церковь мертвыми очами и поползло дальше к кресту» (I, 548). О. Василий также сравнивается с воплощением смерти — гробом («черный гроб и черный священник»). В то же время он «ждет приказа» и чувствует себя «стрелой, безшибочно летящей к цели» (I, 549). Отсюда душевное потрясение — смех и слезы, радость перед лицом смерти — и, наконец, попытка повторить воскрешение Лазаря («Весь блестая мощью безграничной веры...» — I, 551). При неудаче герой вспоминает выигру, идиота и их совместное одиночество. Вторую попытку чуда — призыв к Богу явиться — сменяет требование «Отдай ему жизнь». Оно напоминает требование попадьи к самому о. Василию «отдать» ей погибшего сына, результатом чего и было рождение идиота. Отсюда видение: идиот в гробу вместо Семена. Тем самым история столь своеобразного богооборчества возвращается к исходному пункту.

В сущности, сюжет строится *не на противостоянии героя Богу, а на его конфликте с природой*¹⁷. Поэтому два сюжета — об Иове и о воскрешении Лазаря — соединены образом идиота. Это воплощение, олицетворение неудачной попытки человека преодолеть природу¹⁸ или подменить ее своей волей. В повести она то оборачивается к человеку дружественной и радостной стороной (обманчивая река, «дружеские» листья кленов), то стороной враждебной, зверской (образ метели). Та же двойственность и в людях: таково сопоставление Мосягина с нищим-каlekой, который хвастается грехом — чем страшней, тем почетней. Поскольку герою противостоит сила всеобщая, непреодолимая, но иррациональная, переход его от сомнений к вере

выглядит как впадение в безумие. Губит героя именно то, что он уверовал, а следовательно, стал, как ему кажется, пророком (в ветхозаветном смысле): стал думать о двиганье горами. Правда, одно его предчувствие и слово оказались-таки пророческими: Мосягину «так и будет» — с видением гроба и земли на нем. Но ведь это, как и многое другое, по-видимому, — бессмысленные случайные совпадения. Однако, с точки зрения теодицей, случайностей нет. Но повесть как раз и представляет собою антитеодицей.

Иной вариант идеиного эксперимента, напоминающего произведения Достоевского, представлен в повести «Иуда Искариот». Пересмотр традиционной оценки Иуды не сводится к оправданию: речь идет о новом объяснении известных событий. Репутация героя, сложившаяся еще у его современников, дискредитирована в обрамляющих фрагментах повести тем, что порицали его, а впоследствии — предавали проклятию «добрые... и дурные», «добрые и злые» (II, 210, 264). По мысли автора, рассказанная им история должна убедить читателя, что Иуду до сих пор не понимали или понимали неправильно (отсюда слова о том, что в своей «жестокой участии» этот ученик Христа «остался одиноким» — т.е. непонятым). Итак, движение читателя от начала к концу текста — *путь понимания*. Однако роль Иуды в известных из Евангелия событиях оценивается всеми в прямой связи с тем, как люди понимают Христа и как относятся к другим его ученикам. Переоценка Иуды означает поэтому одновременно новый взгляд и на других действующих лиц¹⁹, а также на отношение к ним всех людей — тогда и теперь. В сущности, это означает попытку создать новое Евангелие — от Л. Андреева.

С одной стороны, это ведет к новой фабуле. Автор передал свой замысел уже отбором событий и персонажей, группировкой тех и других. Из всех евангелистов в повести показаны только Матфей и Иоанн. Не изображено воскрешение Лазаря и не показано обращение Христа к Отцу в Гефсиманском саду («моление о Чаше»). Зато кое-что добавлено: в Евангелиях не рассказывается о том, что Христа и его спутников в некоторых селениях считали обманщиками и не говорится о роли в таких ситуациях Иуды. А после казни Христа Иуда у Л. Андреева бросает серебрянники в лица первосвященников и судей. Наконец, из всех учеников явно выделен и в наибольшей степени сопоставлен с Иудой именно тот, который однажды от Христа отступил — Петр.

С другой стороны, для реализации такого замысла необхо-

дима иная, чем в Евангелии, структура повествования: авторская оценка выражается сопоставлением разных точек зрения на событие и различной степенью близости точек зрения персонажей к точке зрения повествователя. Только рассмотрев и то, и другое, мы сможем решить вопрос о жанровой структуре произведения и о его соотношении с традицией.

Повествование в целом строится на резком различии «сообщающего рассказа» и «сценического изображения» (термины Ф. Штанцеля). Везде сначала говорится «так было», «так было»; потом показано то, что «однажды случилось». Между тем и другим — соотношение либо примера, либо противоречия (нарушения привычного). Другой аспект: сообщающий рассказ передает «общее мнение» (или полемику с ним); сценки же говорят «вот как было», т. е. представляют собой свидетельство очевидца. В сообщающем рассказе меняется степень близости точки зрения повествователя к точкам зрения разных персонажей, возможны переходы от восприятия происходящего извне к восприятию его изнутри героя. Эта динамика имеет первостепенное значение для создания системы персонажей.

В то же время только через субъектную структуру можно увидеть, что именно является событием, и понять его значение. Поэтому характеристика события может быть итогом анализа каждой главы, а понимание логики всего сюжета — результатом сравнения глав. Необходимо проследить по главкам изменения субъектной структуры и, таким образом, «реконструировать» скрытый сюжет.

В первой главке сопоставлением точек зрения персонажей намечена перспективная для всего сюжета динамика отношения к Иуде: *от предвзятого отталкивания — через иллюзию приобщения — к предвещанию глубинного разрыва*. Намечена и главная тема в познании его личности: двойственность или двуличность его. Вторая главка заметно разделяется на две части. Сначала сопоставлено восприятие учениками Христа разоблачающих и порочащих, но парадоксальных рассказов Иуды о людях. При этом выделены его разговоры с Петром и Фомой, в которых фигурирует мотив «отец-козел» (т.е. тема дьявола). Эти диалоги — испытание Иуды, проверка его отношения к Христу и отношения к правде. Вторая часть этой главки — рассказы о случаях подозрений или прямой вражды к Христу в селениях: здесь поведение Иуды представляет собою аналогичную проверку его позиции жизнью. Поскольку возникшее отталкивание Христа от Иуды показано в кругозоре второго, становится очевидным, что спор в конечном счете идет между этими двумя ге-

роями. Наконец, заключительный фрагмент — Иуда среди камней, сливающийся с ними своим обликом, внушает читателю мысль о родстве персонажа с изначальным Хаосом: фраза «Наступила ночь с своими мыслями и снами» (I, 222) — почти цитата из Тютчева.

Центральная ситуация третьей главки — состязание: и в силе с учениками Христа, и в силе взгляда во время беседы с учениками, и в диалоге Иуды с Фомой (выясняется, кто больше любит Христа). Отсюда видно, что Иуда может стать собой только благодаря Христу и в борьбе с ним²⁰. В четвертой главке происходит загадочное для всех прощение проворовавшегося Иуды Христом: его поцелуй предвосхищает предательский поцелуй Иуды (гл. VII). Сближает и даже приравнивает их также неожиданное разрешение давнего спора Петра и Иоанна о первенстве в царстве небесном: Иуда видит там себя первым — рядом с Христом. Вновь вводятся мотивы связи Иуды с сатаной и его *двойственности* (приятные речи и «безнадежно-глохое» молчание) и *двуликости*.

Наконец, пятая и шестая главки имеют очевидное значение *ретардации*; они посвящены переговорам Предателя с первосвященником, его *колебаниям и выбору*. Прежде всего здесь обнаруживается полная искренность любви Иуды к Христу: отдать его убийцам означает для Иуды — убить себя. В то же время акцентируется его животная, скорее всего — змеиная природа («раненое животное, медленно уползающее в свою темную нору...», «с изумлением вылезшего из логова зверя... и выполз бесшумно» — I, 237). Поэтому и фатальная роль Иуды представляется как бы данной ему от природы. В шестой главке с продолжающейся подготовкой предательства контрастируют высказанные Иудой предупреждения, предостережения об опасности. Они как будто тут же опровергаются праздничной атмосферой вступления Христа в Иерусалим. Отражение этих противоречий и сомнений — разговор Иуды с Фомой о правоте и правде, который делает спор главного героя с Христом еще более очевидным. «Тогда я сам должен удушить его, чтобы сделать правду» (I, 243) — вариация пушкинской темы «Я должен / Его остановить». В основе полемики Иуды с Христом — идея неразрешимого противоречия между новым вероучением и природой: отсюда и вопросы, у кого из них «камни под ногами» и можно ли «поднять землю».

В конце этой же главы находим кульминационный кризисный момент — разговор Иуды с Богом, канун «грядущей ночи великого боя», т.е. событий в Гефсиманском саду. В действи-

тельности это — *параллель к молению о чаше*: «Сними тяжесть, она тяжеле гор и свинца» (I, 244). Молчание, «огромное, как глаза вечности», означает, что совершать или не совершать задуманное — именно дело выбора Иуды. Отказ Бога от руководства в этом деле он воспринимает едва ли не как «беспощадное» побуждение к предательству; а само последнее — как *тяжкий долг*. Отсюда и необходимость для автора заключительного штриха: диалог Иисуса с Петром о неизбежном отречении расценивается практически как попустительство, а то и принуждение к нему. И поскольку колебания Иуды связаны с вопросом о правде («Кто обманывает Иуду? Кто прав?»), то *долг его — не что иное, как испытание правды и самого Христа*.

В изображении событий после отмеченной кульминации заметно господство внешней точки зрения и одновременно *внешней традиционности*. Показаны: путь Христа с учениками к саду и сон их (нет, однако, моления о чаше), сцена с поцелуем и арест, события во дворе первосвященника (к евангельским рассказам добавлено то, что *Иуда* видит, как бьют Иисуса). Вся *внутренняя нетрадиционность* связана с введением точки зрения Иуды на эти события. Начиная с момента приветствия Учителю, слова и поведение этого персонажа противопоставлены тому, что говорят и делают другие ученики: их страх, вялость — его «смертельная скорбь» (приравнение Христу); рыдающий поэтический поцелуй.

Главное, однако, в том, что *внутренний хаос* в Иуде впервые раскрывается в этом эпизоде как *множество «голосов»*. Иисус «молнией своего взора осветил ту чудовищную груду насторожившихся теней, что была душой Искариота». И вот внутри Иуды голоса «стонут, гремят и воют»: «Целованием любви предаем мы тебя...» и т. д. (I, 247). Здесь мы видим отклик на евангельский рассказ об изгнании бесов из одержимого и вселении их в свиней, использованный в романе Достоевского «Бесы». Они отвечают Христу: «ибо нас много».

Л. Андреев делает своего героя свидетелем отречения Петра, стремясь доказать большую близость первого к Христу; впервые столь *прямо приравниваются* предатель к преданному и их страдания. И все же противопоставляются «чистые и нечистые уста». И все-таки отмечено «дочеловеческое» в Иуде («нечто из глубины моря»). Иисуса бьют. Иуде больно, а тот, с его точки зрения — не кукла ли? И в этом эпизоде продолжаются сомнения («вдруг догадались?») и эксперимент, имеющий целью испытание Правды²¹. Если ее нет, существует ли земля, и нужна ли она?

В главе VIII «всепобеждающее жгучее любопытство» Иуды не может преодолеть его последних сомнений: победа неверия — это победа Иуды; неверующий народ кажется его двойником: «И весь народ закричал, завопил, завыл на тысячу звериных и человеческих голосов...». А опрокинутый Пилатом Иуда сравнивается с «опрокинутым дьяволом» (I, 254). После смерти Христа Иуда чувствует себя властелином «новой маленькой земли», победителем времени (I, 257)²². В последней главке повести центральное событие — «великая месть»: диспут с врагами и учениками Распятого (неприятие жертвы). Богоchorческий пафос — в странном соединении с желанием быть прощенным и признанным — сохраняется в Иуде до конца, до момента самоубийства.

Итак, основная сюжетная ситуация — испытание правды и Христа, проверка того и другого на соответствие Божьему замыслу и сущности. А тем самым — все тот же вопрос о теодице²³. Противоположная ей правда, конечно, не может быть этически безразличной: в итоге обнаруживается, что это — правда дьявола и Антихриста²⁴.

Традиция указана в проницательнейшей статье И. Ф. Анненского «Иуда»: во-первых, это мотивы двойничества, а также психология «вывертов» и «надрывов» в произведениях Достоевского; во-вторых, — гротескная манера изображения, предлагающая читателю не «знакомое и привычное» (как у Толстого), а «небывалую группировку впечатлений» или, наоборот, «неожиданное разобщение содружеств»²⁵. Добавим, что один из важнейших для повести Андреева и привлекших особое внимание поэта-критика гротескных образов — впечатление множества ног у Иуды (ассоциируется с осьминогом) — дополняется множественностью голосов внутри его сознания и, как мы уже заметили, явно восходит к трактовке Достоевским душевного и духовного состояния современного человека как одержимости его легионом бесов.

2

В чеховской «Палате № 6» настолько очевидна традиционность жанровой структуры, что требуются специальные аналитические усилия не для обнаружения связей с традицией, а наоборот, для ответа на вопрос: что принципиально нового вносит в эту традицию автор?

Речь идет о поэтике философской повести XVIII века. Ядро сюжета в ней — обсуждение философской проблемы. Этой задаче подчинен не только собственно спор персонажей-идеологов (с оглядкой на платоновские диалоги или их более поздние

вариации), но также история основного героя, представляющая собой либо иллюстрацию, либо проверку дискуссионного тезиса жизнью (возможно и сочетание этих функций)²⁶. Такого рода повесть-дискуссия, восходящая, в частности, к Вольтеру и маркизу де Саду, достаточно хорошо знакома русской литературе XIX века. Сюда относятся, в первую очередь, «Сорокаворовка» Герцена и его же «Доктор Крупов», в котором уже был поставлен вопрос о *перевернутом* соотношении безумия и разумной нормы в современном мире. В конце же века к этой традиции принадлежат «Крейцерова соната» Л. Толстого и «Три разговора» Вл. Соловьева²⁷.

Признаки принадлежности к ней в повести Чехова очевидны. Во-первых, идеи, с которыми соотнесены жизненные позиции героев, спроектированы на историю философской мысли и философствования: некоторые имена называются (Марк Аврелий), иные остаются не названными. Текст в этом отношении провоцирует исследователя на разыскание источников — влиятельных в 1890-е годы философско-этических концепций — и трактовку повести как полемического произведения (А. П. Скафтымов показал, что Рагин фактически цитирует популярные афоризмы Шопенгауэра)²⁸. Во-вторых, личность персонажа здесь выглядит (правда, лишь в некоторой степени) адекватной тому жизненному принципу, который он выражает и отстаивает. В-третьих, изображенная действительность достаточно условна (все частное «носит исключительно символический характер»), что достигается последовательным отвлечением от подробностей быта и от «мира интимных чувств»: описания имеют целью изобразить «принципы, институты, учреждения»²⁹. В-четвертых, разговоры, в которых сталкиваются философские обоснования жизненных позиций, получают прямое отражение в сюжете. При этом большую роль играет случайность как выражение бесмысленной хаотичности жизни, противостоящей требованиям разума³⁰. В-пятых, та перемена в судьбе персонажа, которая выражает идею проверки философского тезиса жизнью, имеет притчевый смысл.

Когда доктор Рагин попадает в палату для сумасшедших, его убеждение в том, что внешние обстоятельства безразличны и не влияют на внутреннюю жизнь человека, подвергается очень жестокой проверке. Смена участия вынуждает его войти в чужое положение, взглянуть на известную ситуацию с чужой точки зрения (ср. такого рода сюжет, например, в притче Толстого «Ассирийский царь Ассаргадон», а также функцию вставной притчи — разговора с дервишем — в «Кандиде»)³¹.

Однако у Чехова дискуссия не в начале, а в самом центре произведения (IX—X главки из XIX), да и проверка происходит не сразу: поворот мы видим в середине главы XVI, в эпизоде ссоры Рагина с его приятелем-почтмейстером, а подлинное значение случившегося раскрывается лишь в трех последних главах. Эти внешне выраженные структурные преобразования свидетельствуют о переосмыслении традиционной семантики жанра.

Начало повести выдержано скорее в очерковом духе: читателя приглашают взглянуть на больницу и флигель, причем «экскурсия» происходит в незавершенном настоящем. На этом фоне даны двойные возвраты в прошлое — предыстории главных героев. Оба персонажа своей судьбой выделены, противопоставлены всем другим — отсюда и ряд признаков сходства, которые уже отмечались исследователями³². Но при этом они не только адекватны своим позициям психологически, но также физически им противоположны: повышенная этическая требовательность к жизни и судорожная активность Громова сочетается с его телесной слабостью, а пассивность Рагина и его наклонность к уступкам и трусливым компромиссам контрастирует с его физической мощью.

Резкий Громов добр, а мягкий Рагин равнодушен. Чрезмерной подозрительности первого равна безоглядная доверчивость второго, и при этом оба — субъективно честные люди. Не менее странные несоответствия обнаруживает и сам ход дискуссии. Врач Рагин ищет исключительно гуманистические аргументы, а юрист Громов — естественно-научные (он очень точно говорит о различии реакций на боль у простых и сложных организмов).

Во всем этом нетрудно увидеть авторское стремление уравновесить противоположности, воплощенные в героях и их судьбах. Точно так же уравниваются и два противопоставленных локуса: больница с флигелем для душевнобольных и город, пространства «болезни» и «здравья»³³. Другая функция такого рода мотивов заключается, по-видимому, в том, чтобы оценка идеологической позиции персонажа не могла быть отождествлена с его оценкой как личности.

Спор главных героев обнаруживает и другой аспект их сопоставления. Здесь герои не относительно равны при всех различиях, а наоборот, при внешнем сходстве судеб и высказываний абсолютно противоположны. Отношение Громова к жизни сполна оплачено его судьбой. Он занят поиском не отвлеченной истины, а этически достойной реакции на окружающую

античеловеческую «действительность». Напротив, его оппонент — сугубый теоретик, для которого интеллектуальная высота и логическая оправданность тезиса интереснее и важнее реальной несправедливости и человеческих страданий. По точным суждениям исследователей, Рагин — «пессимист и интеллектуальный гедонист»³⁴; «Громов для него — не столько живой, несчастный, страдающий человек, сколько еще одна — «говорящая» книга; читая ее, доктор испытывает интеллектуальное наслаждение»³⁵. Отсюда и необходимость проверки именно этой теории жизнью, т.е. собственным страданием теоретика. Не случайно так важны в «Палате № 6» вопросы о совести (в изображении Рагина — вплоть до конца) и о бессмертии души.

Однако безусловное осуждение идеологической позиции Рагина сочетается в силу уже указанных причин с не менее безусловным ему сочувствием³⁶. В итоге утверждается, что с точки зрения совести, практически бессмысленный и бесперспективный бунт оправдан и необходим. Поскольку мысль о связи творчества Чехова с экзистенциализмом как мироощущением возникла неоднократно, можно сказать, что в случае этой повести она представляется вполне обоснованной и убедительной.

Испытание идеи особого рода — утопической концепции «государства Разума» — смысловое и образное ядро повести В. Я. Брюсова «Республика Южного Креста». Подзаголовок произведения — «Статья в специальном № «Северо-европейского вечернего вестника», т.е. в целом по композиционно-речевой форме оно представляет собой стилизацию газетного отчета. Во вступительной части текста этот отчет противопоставляет себя другим описаниям «страшной катастрофы», постигшей Республику, и ставит своей целью дать «свод всех до сорных сведений, какие пока имеем о трагедии, разыгравшейся на Южном полюсе»³⁷.

Такой прием позволяет, с одной стороны, представить рассказ о неудавшейся попытке создания идеального государства в качестве условно-исторического (художественно-достоверного) факта. С другой стороны, он мотивирует помещение этого рассказа о прошлом — более и менее отдаленном — в рамку, отнесенную к незавершенному (а тем самым — максимально реальному) настоящему. Последние строки отчета содержат обещание знакомить читателей «со всеми новыми открытиями, которые будут сделаны в несчастной столице Республики Южного Креста» (94). Оценка социального эксперимента, таким образом, дается с точки зрения его места в истории: существование Республики, отнесенное примерно к XXI в. (в Звездном

городе во время эпидемии была возобновлена «после почти трехвекового перерыва открытая смертная казнь» — 86) продолжается чуть более сорока лет. Не менее значимо и место экспериментального государства в природе: вступительная часть повести содержит описание его особого географического положения и связанного с природными условиями своеобразия экономического и бытового уклада. Еще одна функция начала первой части обрамления — предвещание разгадки случившегося: сообщения о «событиях фантастических и невероятных» здесь объясняны заведомой недостоверностью показаний спасшихся жителей Звездного города. Ведь они «как известно, в се были поражены психическим расстройством» (76). Эпидемия душевной болезни, которая почти не знала исключений (но тем показательнее эти исключения), и есть главный мотив центральной части повести — причина катастрофы, в свою очередь, нуждающаяся в объяснении.

На объяснение скрытых причин происшедшего и направлены сведения об истории создания Республики, ее географическом положении, социальном устройстве, предваряющие главную часть рассказа. В то же время избранная автором-творцом форма «статьи» неких безличных журналистов мотивирует отказ от прямого ответа на вопрос о влиянии «строя жизни» в этом государстве «на возникновение и распространение роковой эпидемии». Такой ответ объявлен «задачей будущего историка» (80). Отсюда сочетание в предваряющем рассказе двух точек зрения: констатация того, что мог бы в свое время увидеть любой объективный наблюдатель («путешественник» — фигура, характерная для жанра утопии), постоянно дополняется демонстрацией изнанки видимого, обнаружившейся в свете уже известной катастрофы. Создается двойственное в любой точке, квазиобъективное, в действительности разоблачающее описание. При этом «лицо» Республики оказывается слишком явным для читателя слепком с классических утопий; зато не столь очевидны, а потому, быть может, более значимы присутствующие в описании оборотной стороны этого государства авторские отсылки к антиутопической литературной традиции.

Географическая изоляция нового государства вполне традиционна. Ново, однако, то, что границы его, с такой точки зрения, не безусловны и устанавливаются дипломатическим путем. Традиционно также богатство утопического общества (ср., например, страну Эльдорадо у Вольтера), но впервые оно объяснено накоплением капиталов и развитием техники в лоне «треста сталелитейных заводов». Город, являющийся, как все-

гда, средоточием Республики, несомненно, претендует быть центром мира: отсюда название его (Звездный), расположение именно «на самом полюсе», возведение здания ратуши «в той воображаемой точке, где проходит земная ось и сходятся все земные меридианы» (77). Об этом должно говорить и острие шпилия этого здания, направленное в высшую точку неба над этим местом. Наконец, об этом же свидетельствует расположение улиц, воспроизводящее рисунок меридианов и параллелей. Но претензии города быть как бы идеальным образом всего земного мироустройства противоречат тут же указанные одинаковость высоты и внешности построек, отсутствие окон, замена естественного света искусственным и отмена времен года. О противоречии искусственной цивилизации природе говорят также сведения о «напряженной жизни» в немногих других населенных пунктах и о необитаемости всей прочей страны.

В итоге складывается представление о концентрации в одном месте и раскрытии сущности глубоких противоречий всей человеческой цивилизации. Только этим и можно объяснить, почему показанное далее «психическое расстройство» поражает, в первую очередь, жителей Звездного города, несмотря на то, что он «считался одним из самых веселых городов мира» (79).

В описании принципов государственного устройства, его законов и институций расхождение внешнего и внутреннего, скрытого становится уже вполне очевидным. Каждующееся «крайнее народовластие» и забота о разнообразных нуждах населения, материальных и духовных, прикрывают «чисто самодержавную тиранию членов-учредителей бывшего треста»; «беспощадную регламентацию всей жизни страны»: «При кажущейся свободе жизнь граждан была нормирована до мельчайших подробностей» (79), вплоть до практического устраниния границ между частной и общественной ее сферами. Бдительная слежка за возможными проявлениями недовольства (штат шпионов, тайная полиция Совета) дополняется духовным рабством «счастливленного» большинства и политическими убийствами исключений, не поддающихся административным внушениям.

Бросается в глаза сходство этой картины с обездушенным технологическим раем О. Хаксли и «олигархическим коллективизмом» Д. Оруэлла, которых Брюсов опередил на тридцать сорок лет. Прозорливость писателя объясняма его непосредственной опорой на открытия Достоевского: разделение людей на десять тысяч страдальцев, взявших на себя бремя познания добра и зла, и «стомиллионное счастливое стадо» в речах о будущем Великого инквизитора, а также критику идеи Хрустального дворца в «Записках из подполья»³⁸.

В согласии с этой традицией находится центральный сюжетный поворот повести. Заболевание «противоречием» (*mania contradicens*) живо напоминает фразу подпольного Парадоксалиста о том, что если людей устроить окончательно и совершенно благополучно, то обязательно явится какой-нибудь «господин с ретроградной и насмешливою физиономией», который спросит: «а не стыдно ли нам все это благоразумие... к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить!» (V, 113). С текстом «Записок из подполья» в повести Брюсова есть и более глубокая связь: в обоих случаях перед нами бунт человеческой природы против попытки насильственно остановить ход истории³⁹ (как сказано у Достоевского там же, человечеству, достигшему всего, останется только «спать, кушать пряники и хлопотать о непрекращении всемирной истории» — V, 116).

Попытка окончательно облагодетельствовать людей, отняв у них свободу воли, т. е. способность к выбору и самоопределению, Достоевским расценивается как дьяволово искушение, другая сторона которого — утрата объединяющих нравственных понятий, которая, как видно из эпилога «Преступления и наказания», может привести человечество к гибели и даже к антропофагии. И вот сквозь видимость утопического города, т. е. земного рая, изначально просвечивает *ад* (может быть, как раз поэтому шпиль ратуши, который должен быть устремлен в зенит, смотрит на самом деле в надир), а его развлечения явно отдают Содомом и Гоморрой. В результате же эпидемии начинается всеобщее взаимное уничтожение, включая насилие над детьми и антропофагию, причем бывшая столица разума становится «величайшим и отвратительнейшим Бедламом, который когда-либо видела земля» (91). И тем знаменательнее, что организатор спасательных мер Орас Дивиль, действовавший всецело по собственной воле, и группа его «столь же самоотверженных», т. е. вполне добровольных, помощников оказались не подверженными заболеванию «противоречием».

Таким образом, повесть Брюсова актуализировала традицию, восходящую непосредственно к романам Достоевского и «Запискам из подполья», в которых, в свою очередь, было учтено, по-видимому, сочетание утопических и антиутопических тенденций в философском романе и философской повести эпохи Проповеди. Связь с этими истоками жанра ощутима в особенности благодаря тому, что в произведении отсутствует психологическая разработка персонажей. Как и у Чехова, здесь испытанию подвергаются в первую очередь и непосредственно идея, а уже тем самым — и человек идеи.

¹ Андреев Л. Собр. соч.: В 6 т. М., 1990-1996. Т. 1. С. 387. Далее при цитировании текстов автора том и страницы издания указываются в скобках после цитаты.

² Беззубов В. Леонид Андреев и традиции русского реализма. Таллин, 1984. С. 102.

³ У Андреева «...совершенно отпадает социальная мотивация, посредством преступления в философско-психологическом плане решается абстрактная проблема разума (логика или безумие в мыслях и поведении героя)» (*Михайловский Б. В. Избр. статьи. М., 1969. С. 380*); «Убийство для него «опыта», эксперимент, проба собственных сил» (*Беззубов В. Указ. соч. С. 99*); «Здесь использован “раскольниковский” мотив “философского” убийства, но при этом заметно снижен: Раскольников шел к преступлению, внимательно изучая реальные страдания окружающих; благополучный и сыйтый доктор Керженцев убил лучшего друга, выясняя границы собственной свободы» (*Татаринов А. В. Леонид Андреев // Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). Кн.2. М., 2001. С. 299*).

⁴ Ср.: *Иезуитова Л. А. Творчество Леонида Андреева (1892–1906). Л., 1976. С. 95.*

⁵ Ср. аналогичные наблюдения: *Магомедова Д. М. «Переписывание классики» на рубеже веков: сфера автора и сфера героя. // Аспекты теоретической поэтики: К 60-летию Н. Д. Тамарченко. М.; Тверь, 2000. С. 213.*

⁶ См.: *Беззубов В. Указ. соч. С. 101.*

⁷ «...никакого приближения к строю души Керженцева, никаких эмоционально окрашенных пояснений или оценки происшедшего» (*Иезуитова Л. А. Указ. соч.. С. 95*).

⁸ Ср.: *Там же. С. 97.*

⁹ В книге В. Беззубова тонко отмечены признаки сходства Керженцева с другим персонажем Достоевского — Ставрогиным. См.: *Беззубов В. Указ. соч. С. 100.*

¹⁰ В. Беззубов полагает, что доктор Керженцев — «“человек идеи”, как определяет героев Достоевского М. Бахтин» (*Указ. соч. С. 101*).

¹¹ На эту деталь обращено внимание в работе: *Михеичева Е. А. О психологизме Леонида Андреева. М., 1994. С. 87.*

¹² В научной литературе существует мнение, что автор принципиально придерживается той же позиции, что и герой: «Андрееву ничего не оставалось, как согласиться со своим героем: в мире, где умер Бог, а с ним и совесть, могучая мысль в соединении с могучей волей не знает запретов — «все позволено»» (*Богданов А. В. «Безумное одиночество» героев Леонида Андреева с точки зрения литературной преемственности // Связь времен. Проблемы преемственности в русской литературе конца XIX — начала XX в. М., 1992. С. 193*). Напротив, К. Д. Муратова полагает, что автор показал поражение героя, причина которого — не слабость разума, а «антроповечность» мысли Керженцева. См.: *История русской литературы: В 4 т. Т. 4., Л., 1983. С. 368.* Оба суждения не проис текают из анализа текста. Наконец, третий вариант: герой осужден («...сюжетно-композиционная структура произведения постепенно корректирует самовосхваление Керженцева... выявляет несомненный распад личности...» и т. д.), но «мир погряз в релятивности, стирающей все границы» (*Татаринов А. В. Указ. соч. С. 299*).

¹³ См. об этом: *Иезуитова Л. А. Указ. соч. С. 111—113, 125.*

¹⁴ Ср.: Муратова К. Д. Леонид Андреев // История русской литературы: В 4 т. Т. 4.... С. 335.

¹⁵ Ср. выводы Л. А. Иезуитовой из ее наблюдений над субъектной структурой повести: «...он останавливается на описании внутреннего состояния героя в переломные, качественно отличные от прежних, моменты его духовной жизни и дает авторскую результативную характеристику этого этапа, своего рода авторское лирическое обобщение, тесно слитое с ощущениями и размышлениями самого героя»; «С помощью двух этих приемов — перехода рассказа автора во внутренний монолог героя и авторского вторжения в речь героя — конструируется духовная драма о. Василия Фивейского» (*Иезуитова Л. А.* Указ. соч. С. 117–118, 129).

¹⁶ По мнению исследователя, «вся образность произведений» Л. Андреева «в конечном счете глубоко, подчеркнуто субъективна» (Русская литература конца XIX — начала XX в. 1901–1907. М., 1971. С. 142).

¹⁷ Видимо, первым, кто увидел в этом авторскую позицию (отличие точки зрения автора от кругозора героя) был В. Г. Короленко: «Что кто-то таинственный сознательно и преднамеренно обрушивал на голову бедного попа целые потоки бедствий — и в этом он, очевидно, не ошибался, в этом автор готов с ним согласиться. Но в то время, как он угадывал за всем этим чью-то разумную волю, чьи-то планы, которые должны были разрешиться в великое благо явного чуда, — в действительности из зловещей пустоты за них следила только «зловещая» маска идиота, олицетворяющая мистически злую преднамеренность природы» (Цит. по: *Иезуитова Л. А.* Указ. соч. С. 130). Есть, правда и совершенно иная трактовка — идея некой подмены Бога у Андреева его антиподом (но не дьяволом): «...на месте преодоленного и изгнанного Бога обнаруживается персонифицированное безумие» (*Татаринов А. В.* Указ. соч. С. 296).

¹⁸ Поэтому если и прав был Д. С. Мережковский в том, что задуманное о. Василием чудо — «чудо Антихристово» (см.: *Мережковский Д. С.* В тихом омуте: Статьи и исследования разных лет. М., 1991. С. 22), то автор с героями отнюдь не солидаризируется.

¹⁹ «Тень противоречия и двойственности падает и на Христа» (*Колобаева Л. А.* Концепция личности в русской литературе рубежа XIX—XX вв. М., 1990. С. 145).

²⁰ «Во всяком случае, правда Иудина противоположна правде Христовой, и орудием этой своей высшей будто бы правды он хочет сделать Христа, хочет подвиг его исправить» (*Мережковский Д. С.* В тихом омуте. С. 32).

²¹ «...лжец, вечный притворщик, Иуда в то же время искатель истины. Он губит Христа и погибает сам ради нее — ради истины. Именно так толкуется сущность драмы Иуды, происхождение его предательского замысла. Измена Иуды — это чудовищный, но необходимый для него эксперимент...» (*Колобаева Л. А.* Указ. соч. С. 141).

²² По очень точной формулировке Д.С. Мережковского, «Иудина победа в том, что смерть сильнее жизни, зло сильнее добра, дьявол сильнее Бога» (*Мережковский Д. С.* В тихом омуте. С. 33).

²³ О неизбежности постановки этого вопроса при анализе повести свидетельствует один из первых откликов на нее в научной литературе. См. финал рассуждений Л. С. Козловского об Иуде в: Русская литература XX века (1890–1910) / Под ред. Проф. С. А. Венгерова: В 2-х кн. Кн. 2. М., 2000. С. 54–55.

²⁴ В некоторых исследованиях из верных предпосылок — констатации идеологического конфликта (Иуда — «внутренний антагонист Иисуса» или «в лице Христа и Иуды сталкиваются две философии жизни, оспаривающие право властвовать в мире») - делаются странные выводы об авторском исключительном утверждении одной из противопоставленных позиций. Таковы утверждения о том, что Иуда «один по-настоящему верит, что прав Иисус, а не он, Иуда», а также что «свою безумною любовью Иуда утвердил правоту Учителя» (см.: Шубин Э. А. Художественная проза в годы реакции // Судьбы русского реализма начала XX века. Л., 1972. С. 56) или, напротив, о том, что «Все содержание повести призвано подтвердить уверенность Иуды в порочности человеческой природы...» (Русская литература конца XX — начала ХХ в. 1907—1917. М., 1972. С. 181), что «Несокрушимую власть зла в человеческой жизни утверждает Иуда, проделывающий свой “эксперимент” с предательством» (Михайловский Б. В. Указ. соч. М., 1969. С. 377). Роль героя и его цель иногда оцениваются, как видно, противоположным образом, но авторская позиция все равно отождествляется с позицией героя. Выход из противоречия, предложенный А. В. Татариновым, заключается в том, чтобы считать Иуду и Христа в изображении Леонида Андреева одним персонажем («Подлинным героем Андреевского рассказа становится разделившийся евангельский Христос. Искриот — это независимая жизнь одного, изолированного «Я» Иисуса Христа»); в качестве же последней авторской позиции предлагается «безгранична ирония, которая способна сделать Спасителя из распятого, предателя из любящего, учеников и апостолов из разбежавшихся трусов и лжецов» (Татаринов А. В. Указ. соч. С. 307). Вряд ли, конечно, повесть сохранила бы такую остроту и притягательность, если бы она выражала полный этический релятивизм.

²⁵ См.: Анненский И. Книги отражений. М., 1979. С. 147—152.

²⁶ Об этом жанре см.: Пинский Л. Ренессанс. Барокко. Просвещение: Статьи. Лекции. М., 2002. С. 558—590.

²⁷ См.: Магомедова Д. М. К проблеме «Вл. Соловьев и Л. Толстой»: «Три разговора» и «Крейцерова соната» (участники и структура диалога) (В печати).

²⁸ Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. М., 1972. С. 387—389.

²⁹ Пинский Л. Указ. соч. С. 560—561.

³⁰ Там же. С. 587 («В этом смысле “Кандида”: человек — марионетка в руках случайных сил, сказка самой жизни»).

³¹ Ср.: «Обычно основу философского романа составляет притча, и сам роман — это развернутая притча» (Там же. С. 585).

³² См.: Катаев В. Б. Проза Чехова. Проблемы интерпретации. М., 1979. С. 189—192.

³³ Suchanek L. Пространство здоровья и пространство болезни (Палата № 6, 1892) // Anton P. Čechov: Werk und Wirkung. Wiesbaden, 1990. S. 56—67.

³⁴ Скафтымов А. П. Указ. соч. С. 382.

³⁵ Цилевич Л. М. Сюжет чеховского рассказа. Рига, 1976. С. 58.

³⁶ «Суд и критика Чехова в «Палате №6» направляются не только на лицо Рагина как носителя дурных идей, сколько на те условия жизни, которые приводят к таким идеям и настроениям» (Скафтымов А. П. Указ. соч. С. 390).

³⁷ Брюсов В. Я. Повести и рассказы. М., 1983. С. 76. Далее страницы этого издания указываются в тексте, в скобках после цитаты.

³⁸ К. Мочульский называет Звездный город «муравейником», но указывает при этом лишь на «своеобразное сочетание» в повести Брюсова Жюля Верна и Уэллса с Эдгаром По. См.: *Мочульский К. В. А. Блок, А. Белый, В. Брюсов. М., 1997.* С. 420.

³⁹ По мнению одного из современников автора, эта болезнь — «служит символом бунта индивидуализма при строго социалистическом строем». См.: *Русская литература XX века (1890—1910) / Под ред. Проф. С. А. Венгерова: В 2-х кн. Кн. 1. М., 2000.* С. 133.

Б. Ф. Егоров УТОПИИ А. И. КУПРИНА*

Добродушный Александр Иванович Куприн (1870—1938), как бы в противовес «декадентским» катастрофам и пожарам, даже в кровавые дни первой русской революции достаточно благословно мечтает о гармоническом светлом будущем. Даже в весьма грустной повести «Поединок» (1905) Куприн устами Назанского развивает оптимистические предсказания о построении счастья на земле. Несколько странно, правда, выглядят проповеди индивидуализма и даже какого-то нарциссизма, любования собой. Но здесь Куприн, ясно, заражен типичными настроениями «декадентствующей» публики и виртуозно соединяет сепаратизм личности с цветущей жизнью всего общества: «... любовь к человечеству выгорела и вычадилась из человеческих сердец. На смену ей идет новая, божественная вера, которая пребудет бессмертной до конца мира. Это любовь к себе <...>. Тогда люди станут богами. Тогда жизнь будет прекрасна. По всей земле воздвигнутся легкие, светлые здания, ничто вульгарное, пошлое не оскорбит наших глаз, жизнь станет сладким трудом, свободной наукой, дивной музыкой, веселым, вечным и легким праздником»¹.

А год спустя в рассказе «Тост» Куприн обстоятельно воспел будущее счастливое человечество уже вне нарциссизма: «Слава вечно юной, прекрасной, неисчерпаемой жизни. Слава единственному Богу на земле — Человеку. Воздадим хвалу всем радостям его тела и воздадим торжественное, великое поклонение его бессмертному уму!»².

В рассказе «Тост» описывается канун 2906 года, празднование двухсотой годовщины «новой эры», когда народы откалились от «национальной самобытности» и соединились во «всемирном анархическом союзе свободных людей». Наука и техника достигли небывалого расцвета. Для получения громадного количества электроэнергии люди будущего «превратили зем-

* Раздел из подготовленной к печати монографии автора «Российские утопии».

ной шар в гигантскую электромагнитную катушку», обмотав его стальным (в изоляции) тросом длиной в четыре миллиарда километров и, пользуясь магнитным полем Земли, стали получать такое количество электроэнергии, которое обеспечило потребности всего человечества... (Куприн технически пытался воплотить гениальную идею Н. Ф. Федорова о важности для будущих поколений научиться управлять земным шаром!).

Председатель громадного собрания людей, собравшихся отметить юбилей, помимо хвалы своему времени, предложил почтить память героев революционного XX века, который он отнюдь не жаловал: «Кучи обжор и развратников, подкрепленные ханжами, обманщиками, ворами, насильниками, натравляли одну толпу пьяных рабов на другую толпу дрожащих идиотов и жили паразитами на гное общественного разложения»³. А герои страдали, умирали — но стойко боролись и предвидели светлое будущее. Одна женщина, выслушав возвышенный тост председателя, заплакала и сказала, что ей хотелось бы «жить в то время».

Эта, казалось бы, не самая главная в рассказе тема была для Куприна очень значительной, и некоторое время спустя он ее развивает в целый рассказ, где акценты будут иные, чем в «Тосте».

Речь идет о рассказе «Королевский парк. Фантазия» (1911). Время действия здесь — и до, и после XXX века в «Тосте». Начало — это XXVI век, аналогичный описаниям в «Тосте»: ликвидированы войны и конфликты, Земля превратилась в цветущий сад и насыщена машинами, облегчившими труд (рабочий день — 4 часа). Что-то вроде четвертого сна Веры Павловны из романа «Что делать?». Но совсем не по Чернышевскому персонажи Куприна заскучали... Лейтмотив скуки был чрезвычайно редок в напряженную пору русской жизни! Но вот Куприн подумал и об этом возможном аспекте. И писатель доводит рассказ до XXXII века, когда вспыхивает и распространяется по Земле грандиозное южно-африканское восстание: оно обратило «в прах и пепел все великие завоевания мировой культуры»⁴. Так и Куприн не избежал темы всемирного катастрофизма, при котором, конечно, людям не будет скучно...

Эта тема в несколько редуцированном виде будет воплощена в рассказе Куприна «Жидкое солнце» (1912). Достаточно наивная в условиях XX века физическая идея (материально сжигать солнечные лучи для дальнейшего использования как источника энергии) развернута в целый сюжет: герой рассказа Генри Дибблль приглашен участвовать в новых опытах — лаборатория расположена в Южной Америке, в республике Эквадор. Попутно персонажи высказывают антикапиталистические настро-

ения, опасения, что выдающееся открытие будет использовано в военных целях — но заодно и большое презрение к массам: «...чего стоит существование этих развратных негров, пьяных индейцев и вырождающихся испанцев?»⁵. А кончается рассказ ошибкой хозяина эксперимента и грандиозным взрывом, разрушающим чуть ли не весь Эквадор. Но все же не земной шар в целом!

В следующем утопическом рассказе, «Звезда Соломона», происходит еще более сильная редукция катастрофизма, хотя время подступало, пожалуй, самое катастрофическое. Впервые рассказ под названием «Каждое желание» был опубликован в сборнике «Земля» (кн. 20, М., 1917), а позднее уже под новым заглавием повторял название сборника рассказов Куприна — «Звезда Соломона» (Гельсингфорс, 1920).

Вспомнив свои юные увлечения — решать и угадывать ребусы, математические задачи, головоломки, обильно публиковавшиеся в дореволюционной массовой периодике, — Куприн сделал своего героя, Ивана Степановича Цвета, таким любителем-отгадчиком. В мистическом ореоле описывается поездка героя на Украину, в имение скончавшегося дяди, алхимика и масона, — а поездка организована талантливым пройдохой, которого звать Мефодий Исаевич Тоффель (прозрачный намек на Мефистофеля!). Ивану Степановичу удается разгадать кабалистическую формулу царя Соломона и получить сказочный дар: будут исполняться его желания! Впрочем, как оказалось, не все: законы природы не могли нарушаться: Цвет не смог подняться на стуле над полом, нарушая закон притяжения; ему не удалось остановить вращение Земли, лишь поднялся страшный ураган, нанесший большие бедствия Москве и окрестностям (Куприн вспомнил реальный московский ураган 1904 года). Зато громадное количество желаний, крупных и мелких, Цвет мог осуществлять. Но кончается рассказ изгнанием Мефистофеля и возвращением Ивана Степановича к обычной жизни.

То есть Куприна чуть-чуть задела декадентская склонность к мистике, катастрофизму, гениальным одиночкам, но в общем-то, в противоположность максималисту и новатору Брюсову, Куприн предпочитал обыденное и спокойное, и благостный тон его раннего «Гостя» куда более характерен для идеалов писателя, чем отдельные утопические всплески разрушительности.

¹ Куприн А. И. Собр. соч. В 9 т. Т. 5. М., Худ. лит., 1972. С. 208—209.

² Там же. Т. 4. С. 221.

³ Там же. С. 222.

⁴ Там же. Т. 5. С. 272.

⁵ Там же. С. 447.

Е. М. Таборисская

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР В ПОЭЗИИ АХМАТОВОЙ

Поэзия Ахматовой активно осваивается в самых разных направлениях: от анализов отдельных стихотворений до изъяснения ее места в мировой литературе. Растительный мир — очевидная периферия творчества поэта, мысли которого обращены к жизни страны и мира, к поэзии и вере, страданию и красоте, к жизни сердца и жизни духа. И все-таки при очевидной второстепенности растения в художественном мире Ахматовой несут очевидную семантическую нагрузку, тесно связанную со строем мыслей и ценностей, с ее наблюдениями и раздумьями над жизнью. Цель настоящей работы — определить растительный репертуар в лирических и лироэпических произведениях Анны Андреевны, и выявить смысловую роль отдельных растений в контексте ее творчества.

Материалом для решения этих задач стала выборка упоминаний растений в художественных текстах А. Ахматовой, включенных в книги стихов «Вечер», «Четки», «Белая стая», «Подорожник», «Аппо domini», «Тростник», «Нечет» и «Бег времени»¹.

А. Ахматова — поэт XX века, урбанистического склада, это обуславливает место и роль растений в ее поэтическом творчестве. Богатый и разнородный жизненный опыт, блестящая наблюдательность — особая «акмеистическая» зоркость, великолепный культурный тезаурус впрямую влияют на появление растительных мотивов в ее стихах и поэмах. Общая творческая эволюция от ранних личностно-исповедальных книг к мощному осмыслиению жизни страны — в поздних не может не отразиться и в периферийных для автора «Вечера» и «Бега времени» растительных мотивах. В ахматоведении уже были попытки обращения к исследованию отдельных аспектов растительной темы в ее стихах и поэмах. Например, Р. Тименчик опубликовал статью «О библейской тайнотопии у Ахматовой», в которой среди прочих рассмотрены и растительные мотивы кедра (ливана), розы, маврийского дуба². Э. В. Слинина в статье «Пушкинские мотивы в царкосельских стихах Анны Ахматовой» уделяет немало внимания образу ивы³.

Очень важную роль, прежде всего методологическую, сыграли многочисленные статьи по флоропоэтике К. И. Шарафадиной и, в первую очередь, ее монография «“Алфавит Флоры” в образном языке литературы пушкинской эпохи (источники, семантика, формы)»⁴. В ней исследуется «язык цветов» в бытовой культуре первой трети XIX века, основанный на полиге-

нетических корнях, среди которых важную роль играли произведения сентиментальной и ранней романтической литературы. Исследовательницу занимала эволюция растительных мотивов на переходе от условных кодов дворянской культуры пушкинской поры к более непосредственному восприятию и воспроизведению жизни в литературе середины XIX века.

Для поэзии Ахматовой, как представляется, тонкая и сложная система флористических иносказаний не столь актуальна. Деревья, кустарники, цветы, травы и даже низшие растения (грибы, мох, плесень) чаще всего существуют в творчестве Ахматовой в соприродном им жизненном пространстве и одновременно выступают соучастниками переживаний и дум автора. Растительный мир в поэзии Ахматовой — своеобразный слепок с ее биографии, косвенное отражение ее пребывания в разных местностях, расположенных в разных географических поясах. Надо оговорить, что впечатления от поездок в Европу практически не оставила следа в ее флористической и дендрологической палитре. Только в стихотворении «Прогулка» (1913), вошедшем в книгу «Четки» как примета Булонского леса упомянуты «Бензина запах и запах сирени».

Можно выделить три основных растительных ареала в поэзии Ахматовой. Это характерная флора степного причерноморья в поэме «У самого моря»; это среднеазиатские маки и тополя, персики и гранаты в стихах, связанных с пребыванием автора в Ташкенте (1942–1945), — см.: цикл «Луна в зените», стихотворение «Ташкент зацветает» и др. Однако преобладает у Ахматовой флора Нечерноземья: деревья, кусты, злаки, травы и цветы подмосковья, тверского Слепнева, но в первую очередь — садов и парков, пустошей и кладбищ Петербурга-Ленинграда. Сводная роспись растений, упоминаемых Ахматовой, в целом чужда экзотике. Из двадцати древесных пород, так или иначе упоминаемых автором, экзотическими можно назвать, пожалуй, только кедр (упоминания) и однократно упомянутые чинара и кипарис. Поскольку чинара вписана в нарочито романисцентный контекст стихотворения «Кавказское» (1927): «И только раз мне видеть удалось / У озера в густой тени чинары, / Сияние неутоленных глаз / Бессмертного любовника Тамары» — это дерево, становясь приметой Кавказа, утрачивает экзотичность, которая обнаруживается лишь на фоне среднерусских и петербургских берез, сосен, ив, осин и тополей⁵. То же самое можно сказать о кустарниках. У Ахматовой можно найти бузину, шиповник, малину, можжевельник, вереск, крыжовник, рябину и, конечно, занимающую первое место по числу

упоминаний сирень, а экзотичен лишь «царственный карлик — гранатовый куст», связанный с ташкентскими впечатлениями («И в памяти, словно в узорной укладке» — 1944). К числу цветущих растений относится экзотическая глициния, появившаяся в стихотворении того же 1944 года «Когда лежит луна ломтем чарджуйской дыни», но на страницах ахматовских стихотворений и поэм фигурируют преимущественно всем знакомые гвоздика, георгины, бессмертник (иммортели), лилии и фиалки, левкой, мак, маргаритка, мимоза⁶, нарцисс: привычная в первой половине истекшего века резеда, тюльпан, хризантема и рекордсменка по количеству упоминаний (32) среди всей ахматовской поэзии — роза.

Пожалуй, самая общеизвестная область ахматовской флористики — дикорастущие (сорные) травы: крапива, лебеда, лопухи, одуванчик. По существу, спектр дикорастущих трав в ее позиции шире: у Ахматовой можно обнаружить степной донник и не менее характерное растение степной зоны — перекати-поле, относительно частая гостья ахматовских стихов полынь, дважды появляется колючий чертополох, неприхотливый, вездесущий подорожник, душистая мята и цветущие полевые и лесные подснежник, клевер, повилика. Не чужды Ахматовой и растения, связанные с водой: камыш, тростник, осока и дважды введенная в ранние сборники «Вечер» («Я пришла сюда, бездельница» — 1911) и «Четки» («Цветов и неживых вещей» — 1913) тина. Хотя ботанически это скорее ряска, затягивающая поверхность воды мелкими плоскими листочками, переливчатыми, как парча: ср. «Там есть прудок, такой прудок, / Где тина на парчу похожа».

Уже эти наблюдения позволяют говорить, что в поэзии Ахматовой растительный мир представлен достаточно обширно и разнообразно. Но такое утверждение мало что открывает в специфике ахматовского видения отечественной флоры. Значительно интереснее понять, по каким законам существуют растения в ее поэзии, какую несут смысловую, композиционную, сугестивную, тематическую нагрузку.

Следует сказать, что в поэзии Ахматовой растение достаточно системно может «замещать» собрата по творчеству, превращаясь из своего рода реалии чужого поэтического мира в обобщенный знак индивидуальности создателя этого мира — конкретного поэта.

Ярче всего такого рода прием проявляется в лирической миниатюре «Про стихи Нарбута» (1940). Стихотворение вошло в поэтическую книгу «Бег времени», где публикуется в составе

цикла «Тайны ремесла». В нем Анна Ахматова выстраивает цепочку разнородных предметов, которая призвана пробудить в воображении читателя впечатление, аналогичное стихам Нарбута — человека и поэта, впитавшего мир пышной и знойной черниговщины:

Это — теплый подоконник
Под черниговской луной
Это пчелы, это — донник,
Это — пыль, и мрак, и зной.

Степной ароматный донник — цветущий во второй половине лета дикорастущий медонос с солнечными желтыми соцветиями, помещенный Ахматовой рядом с пчелами и по соседству с черниговской луной, оказывается и полновесной реалией родной для Нарбута Черниговщины, и слепком, снимком с нее, запечатленным в стихах собрата по цеху поэтов. В контексте стихотворения Ахматовой донник сразу и растение-реалия, и суггестивный знак, действующий по законам поэтической метонимии.

Такого же рода метонимическое замещение несложно обнаружить в стихотворении «Борис Пастернак («Поэт»)» (1936), вошедшем в книгу «Тростник». В этом лирическом портрете Ахматова в предельно концептуированном виде воспроизводит его мировидение и поэтику. Стихотворение заканчивается мотивом своеобразного вознаграждения Пастернака за открытие дотоле неизвестного видения жизни, за обретение нового языка.

Он награжден каким-то вечным детством
Той щедростью и зоркостью светил...

«Вечное детство» (эквивалент остроты и первичности восприятия мира) и «зоркость светил» дарованы тому, кто «дым сравнил с Лаокооном. Кладбищенский воспел чертополох».

Ахматова дважды обращалась к образу этого жизнестойкого колючего сорняка, разрастающегося на пустырях и нередко достигающего роста человека. Оба раза чертополох в ее стихах появляется в мортальном контексте. Но в первом случае — это контекст не собственный, а пастернаковский. Условно говоря, это воспроизведение первооткрытия другого поэта, напоминание о его «творческой собственности». В стихотворении 1940 г. «Август 1940» («Когда погребают эпоху») контекст предельно ахматовский — эпохальный:

Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,

Крапиве, чертополоху
Украсить ее предстоит.

Тут речи нет о воспевании, здесь суровое, мрачное пророчество неизбежного забвения-запустения, физический запах уничтожения не только эпохи, но и памяти о ней. И одновременно соседство кладбищенских крапивы и чертополоха — предельно конкретный, зримый «акмеистический» образ заброшенного, бесхозного, безлюдного и очень русского кладбища, где плодится и множится никем не тревожимый бурьян.

Третье растение, соотносимое с собратом по перу, — бузина — появляется в позднем стихотворении «Нас четверо» (1961). В качестве эпиграфов, дешифрующих содержание миниатюры, Ахматова выбирает строки стихов, посвященных ей О. Мандельштамом, Б. Пастернаком и М. Цветаевой. «Комаровские наброски» (такой подзаголовок дан этому произведению), по замечанию самой Ахматовой, — поздний ответ ее замечательным современникам. Возможно, он был инициирован недавней смертью Б. Пастернака. Мандельштам и Пастернак присутствуют в этом стихотворении как бесплотная перекличка голосов «на воздушных путях», тогда как вестью о Цветаевой, ее «письмом» выступает четко и живописно закрепленная «у восточной стены / В зарослях крепкой малины / Темная свежая ветвь бузины».

И снова читатель сталкивается с предельно и даже как будто излишне конкретизированным («восточная стена» по отношению к чему?) образом. Бузина — растение неприхотливое, теневыносливое, охотно селится на всяких неудобьях: появление ее ветви в зарослях малины вполне вероятно. Эпитеты, которыми Ахматова наделяет цветаевское «письмо», ботанически точны. Хотя побеги у бузины полые, они производят впечатление устремленности и моши, особенно на фоне малины, верхушки стеблей которой склоняются под тяжестью листьев и ягод. Зелень бузины значительно гуще, темнее, чем относительно светлая окраска листьев малины, серебристых с обратной стороны. Достоверность ахматовского описания растительного привета от Цветаевой в «Комаровских набросках» абсолютна. И столь же точно Ахматова соотносит выбранную растительную реалию с адресатом, вернее, со стихотворением Цветаевой «Бузина» (1931—1935)⁷.

Бузинная ветка вполне закономерно превратилась в позднем стихотворении Ахматовой в посмертное «письмо от Марины». В мае 1935 г. М. Цветаева завершила работу над стихотворением «Бузина», продлившуюся четыре года. В полном образного и словесного накала-разгула произведении Цветаевой обыг-

ран вегетативный цикл бузины: «зелень — значит лето в начале», ниже — «По всем порам твоим, лазорь, Рассыпающаяся корь Бузины», «А потом — водопад зерна, А потом — бузина черна С чем-то сливовым, с чем-то липким». Автор упивается богатством перемен бузинного куста, дающим простор неистовству и точности ее образного видения и слову, безудержно экспрессивному и неоспоримо изобразительному одновременно:

А потом — через ночь — костром
Ростопчинским — в очах красно
От бузинной пузырчатой трели.

Цвет и форму обильных бузинных соплодий Цветаева уподобляет смеси «кумача, сургуча и ада», блеску «коралловых мелких бус» и вкусу «запекшейся крови». И от этого синтетического образа она переходит к вариативному повтору — повтору стиха, открывающего все стихотворение («Бузина целый сад залила!»): «Бузина целый сад залила Кровью юных и чистых, Кровью веточек огнекистых, Веселейшей из всех кровей: Кровью сердца — твоей и моей».

Для Цветаевой бузина — не только растение, но и *слово*, значимое в своем звучании и семантике, как куст во всех его щедрых превращениях: «Из-за ягоды бузины, Детской жажды моей багровой, Из-за дерева, из-за слова: *Бузина* (по сей день — ночьми...) Яда — всосанного очьми...». И в обеих ипостасях (куста и слова) — бузина выступает как растительное *alter ego* Цветаевой: в ней не только «кровь сердца», но и цвет глаз автора: «бузина моих глаз зеленей», и безудержность самораздавливания: «водопад зерна» — близкий аналог неотставимо и невосстановимо хлещущему стиху (см. стихотворение «Подставляйте миски и тарелки...»), и вечное цветаевское одиночество: «Возле дома, который пуст. Одинокий бузинный куст».

Восстановив поэтику и семантику стихотворения М. Цветаевой «Бузина», можно с полным основанием сказать, что Ахматова, в чьих стихах бузина появляется только однажды, сделала безукоризненный выбор, характеризуя третьего из наиболее близких ей поэтов в стихотворении «Нас четверо».

Обращение к анализу «портретирующего» растения помогает лишний раз осознать принципиальное различие поэтического письма Ахматовой и Цветаевой. Там, где М. Цветаевой необходим широкий, непрестанно меняющийся, вызывающий целый спектр звуковых, зрительных, биографических, психологических, онтологических аналогий образ, предельно суггестивный и столь же личностный, там Ахматова остается в пре-

делах жестко отобранный детали, почти прозаической в своей обыденности, но бесконечно богатой в реминисцентных возможностях.

Подводя итог характеру растительного портретирования поэтов-современников в лирике А. Ахматовой, должно отметить, что во всех трех случаях автор обращается к растениям, отмеченным в творчестве адресатов. И донник по отношению к Нарбуту, и чертополох, «воспетый» Пастернаком, и цветаевская бузина выступают в роли реминисценций, вводимым Ахматовой в ее лирике и расширяющим ее смысловые и ассоциативные рамки.

Наиболее интересны в поэзии А. Ахматовой растительные мотивы, связанные с двумя очень важными в ее поэтическом мире темами: смертью и творчеством. В обоих случаях автор, как правило, избегает обращаться к растениям, имеющим устойчивую эмблематическую семантику, точнее, она предпочитает апеллировать не к эмблематическим значениям упоминаемых растений, а к традиции их связей с конкретикой важных для поэта жизненных проявлений.

Так, например, имеющий восходящую к античности траурную репутацию кипарис⁸ упомянут Ахматовой только дважды в стихотворении 1928 года «Если плещется лунная жуть». Кипарис откровенно вписан в кладбищенскую обстановку: «застывший навек хоровод Надмогильных твоих кипарисов», его семантика нарочито демонстративна и усиlena тем, что окружающие неназванную «твою» могилу кипарисы вынесены в концовку стихотворения, наполненного тоскою бессонницы и атмосферой отравленности:

Если плещется лунная жуть,
Город весь в ядовитом растворе.
Без малейшей надежды заснуть
Вижу я сквозь зеленую муть...

Могила в хороводе кипарисов. Логика жесткая, остропси-хологическая и, казалось бы, внепоэтическая. Ахматова, однако, вводит в стихотворение прием, который усиливает мортальную акцентированность концовки, слишком прямолинейно вытекающей из начала стихотворения. Чтобы ощутить удар невосполнимой потери, необходим контраст красоты и блага жизни, ведомых лирической героине, но исключенных бессонной ядовитой ночью. Так появляются отринутые отрицанием «не» «детство мое», «море», «бабочек брачный полет Над грядой белоснежных нарциссов». Весенние нарциссы с играющими над

ними бабочками — сразу и контрастное воспоминание, детализированное и зримое, и эмблема, восходящая к языку альбомных рисунков (мотылек над цветком — обожатель, жаждущий обладания). Но нарцисс с античных времен считался цветком мертвых, и для знающих об этом гряда нарциссов не только — примета весны, но и увертюра к появлению надмогильных кипарисов.

Гамма растений, связанных с темой смерти, у Ахматовой очень разнообразна. Это уже упомянутые крапива и чертополох («Когда погребают эпоху»), которые становятся знаком забвения, это весенние подснежник и одуванчик, цветущие у могил. Их можно принять за дистанцированный во времени отклик Ахматовой на концовку пушкинской элегии «Брошу ли я вдоль улиц ...». «Младая жизнь» играет у «гробового входа», порождая кратковременные, но вечно обновляющиеся цветы. Так, в «Поэме без героя» появляется «подснежник в могильном рву», а в стихотворении «Памяти друга» (1946) вдова-весна, хлопочущая над могилой безымянной, «Дохнет на почку и траву разгладит, И бабочку с плеча на землю ссадит, И первый одуванчик расpushит». Подснежник и одуванчик — неприхотливые дикорастущие растения. Они вырастают где угодно, и их появление «в могильном рву» абсолютно естественно. Однако, попав в контекст поэзии Ахматовой, эти простенъкие цветы превращаются в своеобразную эмблему неразрывности жизни и смерти.

В «Поэме без героя» очень важен образ заветной темы, неотвязно сопровождающей автора, невоплощенной и мучительной. Характеристика этой неназванной, но понятной темы дана через образ цветка в мортальной ситуации:

И была для меня та тема
Как раздавленная хризантема
На полу, когда гроб несут.

Упавший на пол, затоптанный ногами цветок — сама попранная красота. Но в ситуации похорон, выноса гроба, общего горя — до красоты и участи цветка никому нет дела: это издережка ритуальной суеты. В стихах Ахматовой объединены микро- и макрообразы. Они создают своеобразное взаимоотражение (цветок мертв, и он адресован умершему — мертвого несут, умерщвляя цветок). Этот образ как нельзя более подходит к автохарактеристике строя поэмы, данного самой Ахматовой: «И зеркальным пишу письмом». Раздавленная хризантема —

одна из «криптограмм» автора, раскрывающая внимательному читателю его намерения и мысли.

Среди растений, которые Ахматова вводит в свои произведения, разрабатывая тему смерти, ее предвестия, посмертной памяти и очень часто кладбища, фигурируют чертополох и крапива («Когда погребают эпоху»), розы («Памяти Булгакова», («Вот это я тебе взамен могильных роз»)), черемуха («Мои молодые руки») — все стихотворения написаны в 1940 г. В отклике на смерть Булгакова розу — поминальное подношение — по мысли автора должны заменить стихи:

Вот это я тебе взамен могильных роз,
Взамен кадильного курения.

В этом стихотворении Ахматова берет на себя роль плакальщицы.

О, кто подумать мог, что, полоумной мне,
Мне, плакальщице дней небывших...

<...>

Придется поминать того, кто полный сил,
И светлых замыслов, и воли,
Как будто бы вчера со мною говорил,
Скрывая дрожь смертельной боли.

Лирическая ситуация миниатюры «Мои молодые руки» — заключение договора с веком, который в «Поэме без героя» Ахматова обозначает как «некалендарный. Настоящий двадцатый век».

Мои молодые руки
Тот договор подписали
Среди цветочных киосков
И граммофонного треска...

<...>

*A на закат наложен
Был белый траур черемух,
Что осыпался мелким
Душистым сухим дождем.* (Курсив мой — Е. Т.)

Ахматова очень точно передает впечатление от облетающей черемухи, конец ее пышного цветения, когда за кистями цветов не видно листьев. Поэт не забывает упомянуть еще одну примету цветения черемухи: ее сильный и вместе с тем легкий аромат с приметной горчинкой. Белый траур, казалось бы, оксюморон, но у ряда народов, особенно на Востоке, траурные одежды белого цвета. Наконец, белый траур черемух, наложенный на закат, создает в воображении читателей мощное зрительное впечатление: белые пышные силуэты деревьев на

фоне пламенеющего заката превращаются в театральный задник, на фоне которого развертывается внутренняя драма героини, тогда как кулисы — приметы городской жизни начала прошлого века.

В своих стихах Ахматова очень по-разному вводит мортальные растительные мотивы, по-разному «инструментирует» их, достигая неповторимого поэтического воздействия. Самым употребимым в мортальных контекстах цветущим растением в ее лирике выступает сирень.

В 1914 г. сирень в связи с кладбищем возникает в стилизации «Лучше б мне частушки задорно выкликаль», создающей проекцию взаимоотношений героини и героя на уклад простонародной жизни, обещающей простые занятия, и семейную гармонию:

Лучше б мне ребеночка твоего качать,
А тебе полтинник в сутки выручать,
И ходить на кладбище в поминальный день
Да смотреть на белую Божию сирень. (Курсив мой —
E. T.)

Божия белая сирень, растущая на кладбище, — примета весны, с нею связаны не черные мысли и подавленное настроение, а ощущение благодати и прочной связи с основами жизни, где ритуалы поминания хранятся веками. В этом стихотворении драматизм кроется не в выскакованном, а в невысказанном. Если это лучшая доля, чем же и как живут герой и героиня по-настоящему?

В стихотворении 1959 г. «Наследница», входящем в цикл «Из заветной тетради», речь идет о глубоко свойственном Ахматовой ощущении связи времен. Она — наследница великих традиций и трагических судеб русских поэтов:

О, кто тогда бы мне сказал
Что я наследую все это:
Фелицу, лебедя, мосты
<...>
И липы дивной красоты
И даже собственную тень,
Всю искаженную от страха,
И покаянную рубаху,
И замогильную сирень.

Еще через пять лет появились четыре стиха, в которых гла-венствует приятие неотвратимого и близкого конца:

А я иду, где ничего не надо,

Где самый милый спутник — только тень,
И веет ветер из глухого сада,
А под ногой могильная сирень.

В этих мужественно-мудрых строчках благодаря «тесноте стихового ряда» (Ю. Тынянов) «глухой сад» и «могильная сирень» срастаются в образ кладбища — прибежища тех, кому «ничего не надо».

В третьей главе «Поэмы без героя», которую в ремарке, открывающей текст, автор обозначил как «лирическое отступление», воссоздается атмосфера кануна первой мировой войны как рубежа некалендарного XX века:

Оттого, что по всем дорогам,
Оттого, что ко всем порогам
Приближалась медленно тень,
Ветер рвал со стены афелии,
Дым плясал вприсядку на крыше
И кладбищем пахла сирень. (Курсив мой. — Е. Т.)

В последнем процитированном стихе очевидна авторская трактовка: объекты обменялись своими атрибутами. Запах цветущей сирени можно расценивать как характерную примету русских кладбищ центральной полосы. Но с самим кладбищем устойчиво связано представление о разложении, тлении, которые сопровождаются специфическим устрашающим запахом. Этимато запахом гниения и разрушения наделяет Ахматова душистое растение, внушая своим читателям мысль о неизбежности катастрофического поворота истории.

Ахматова выступает здесь как наследница античных авторов, зафиксировавших в своих рукописях противоестественные проявления природы (вплоть до выхода мертвцев из могил) накануне разрушительных исторических потрясений. Ту же образность использовал в своих трагедиях Шекспир. А. А. Ахматова далека от нагнетания ужасов, но в очень тонкой нюансировке этот прием присутствует в «Поэме без героя».

Тот же образ-перевертыш («кладбищем пахла сирень»), без сомнения, восходит к стихотворению 1934 года «Привольем пахнет дикий мед», где объекты и атрибуты образуют своего рода палиндром: «привольем пахнет дикий мед» в той же степени, как приволье пахнет медом. У нагретой пыли есть особый запах, а в солнечном луче видны пылинки. Эти наблюдения срастаются и дают жизнь ахматовским строчкам.

Привольем пахнет дикий мед,
Пыль — солнечным лучом.

Тот же прием использован в стихах «Водою пахнет резеда, И яблоком любовь». Последний образ восходит к «Песне Песней». Центральный образ стихотворения («Но кровью пахнет только кровь») разрушает ряд преимущественно растительных запахов и задает направленность второй завершающей строфы стихотворения.

Тема творчества, безусловно, одна из важнейших в поэзии Ахматовой. Она главенствует в цикле «Тайны ремесла», центральна в «Венке мертвым», многое определяет в «Поэме без героя». Растительные мотивы присутствуют в некоторых произведениях, посвященных творчеству, но они менее выпуклы и ярки, чем мотивы, сопутствующие мортальной теме.

В роли третьего (последнего) эпиграфа к «Решке» («Поэма без героя») выступают полтора стиха В. Князева «...жасминный куст, Где Данте шел и воздух пуст». Ахматова выбирает многозначительное слово «решка» чтобы дать сигнал читателю о реверсе — оборотной стороне своего произведения. Вторая часть поэмы выступает в роли метатекста по отношению к первой. В «Девятьсот тринадцатом году» Ахматова сделала свою лирическую героиню участницей безумного карнавала, свидетельницей катастрофы «драгунского Пьера», прототипом которого был поэт Всеволод Князев. «Послесловие» к «Девятьсот тринадцатому году» открывают стихи: «Все в порядке: лежит поэма И, как свойственно ей, молчит». «Решка» начинается сообщением о недовольстве «моего редактора», который пытается уклониться от неудобного автора тревожащей и столь же неудобной поэмы. В «Решке» Ахматова выступает не только как поэт-творец, но и как литератор-профессионал, имеющий дело с редактором и его мнениями. Вторая часть «Поэмы без героя» прочитывается как поэма о поэме, т.е. как метатекст. Эпиграф, взятый из стихов В. Князева, устанавливает параллели с Данте (ср.: «Ты ль Данту диктовал Страницы Ада?» Отвечает «Я» — «Муза»). Данте — олицетворение трагического поэта, к каким Ахматова причисляет и себя. Его творческие способности ассоциируются с цветущим и благоухающим кустом, его жизненный путь — пустыня. Впрочем, словосочетание «воздух пуст» допускает и другую трактовку: мир пустеет после ухода великого поэта.

Так или иначе, а контраст жасминного куста и пустого воздуха — значимый элемент художественного видения Ахматовой. Цитата из Князева устанавливает преемственность первой и второй части ее триptyха, а цветение и пустота становятся знаками предназначения и участия поэта. Жасминовый куст превра-

щается у Ахматовой в еще одну версию портретирующего растения, но на этот раз — это автопортретирование и создание обобщенного портрета поэта-трагика.

В «Поэме без героя» упоминается еще одно растение, соотносимое с творчеством, с поэтической свободой поэта. Это низкий, стелющийся вечнозеленый кустарник вереск. С июня по сентябрь вереск цветет мелкими сиреневыми цветочками, настолько густо покрывающими его побеги, что кустики кажутся седыми.

Создавая портрет «существа странного нрава», автора «железных законов», «векового собеседника луны» (именно так Ахматова характеризует поэта) она пишет:

Он не ждет, чтоб подагра и слава
В попыхах усадили его
В юбилейные пышные кресла,
А несет по цветущему вереску
По пустыням свое торжество.

Вереск преображает пустыню, которая в «Поэме без героя» наполняется идущей от Пушкина семантикой не бесплотности, а безлюдности.

В первом из «Эпических мотивов» («В то время я гостила на земле» — 1913) Ахматова выводит образ музы-наставницы в образе девушки-иностраники, которую лирическая героиня встречает позднем летом.

Она со мной неспешно говорила...
Мне чудился полуоткрытый рот,
Ее глаза и гладкая прическа.
Как вестника небесного молила
Я девушку печальную тогда...

Решающая встреча, ознаменованная дарением слова, проходит только однажды, «когда я виноград В плетенную корзинку собирала, *A смуглая сидела на траве*, Глаза закрыв и распустивши косы... Она слова чудесные вложила В сокровищницу памяти моей...». (Курсив мой. — E. T.)

Трава знаменует и близость к земле, и естественность, не-принужденность общения наставницы и ученицы. «Код» травы войдет в ряд стихотворений Анны Ахматовой, развивающих тему поэтического творчества. В 1921 году написано стихотворение «Пусть голоса органа снова грянут», центральная тема которого — любовный разрыв. Лирическая героиня мужественно принимает уход любимого к другой: «Прощай, прощай, будь счастлив, друг прекрасный», — оставляя себе власть над чудесным садом, «Где шелест трав и восклиchanья муз». Через пятнадцать

лет появляется стихотворение «Творчество», в котором момент, отграничивающий начало поэтического процесса от всего, что было до него, отмечен возникновением «все победившего звука»: «Так вокруг него непоправимо тихо, Что слышно как в лесу растет трава...» (Курсив мой — Е. Т.). Прорастание травы — процесс беззвучный, но, видимо, Ахматовой важны не только образ, гипербализированно передающий обостренное внимание поэта, но и соотнесенность названного образа с пушкинской традицией (ср. в «Пророке»: «И внял я неба содроганье, И горний ангелов полет, И гад морских подводный ход, И дольной лозы прозябанье», то есть прорастание).

Как частные вариации «травяного кода» в стихах Ахматовой о поэзии можно расценить одуванчик, лебеду и лопухи в стихотворении 1940 г. «Мне ни к чему одицеские рати», которое в цикле «Тайны ремесла» печатается вторым (вслед за «Творчеством»). Здесь стихи уподоблены сорнякам, неприхотливым и жизнестойким, не лелеемым рукою человека, а отринутым за пределы «цивилизованного» мира:

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.

Поэт у Ахматовой, с одной стороны, способен пробудить самые простые, подчеркнуто антипоэтическое впечатления: «Сердитый окрик, запах дегтя свежий, Таинственная плесень на стене», а с другой — такие впечатления дают жизнь задорному и нежному стиху, дарящему первозданную, не отягощенную культурными штампами радость.

Напрашивается вывод, что в поэзии Ахматовой растительный ряд, представленный широко и разнообразно, не только сохраняет «акмеистическую» наглядную и достоверную конкретику, не только становится средством ассоциативного портретирования поэтов-сократцев с отчетливой доминантой соотнесения «портретирующего» растения с его исходной «моделью» в творчестве того или иного автора, но и организует своеобразные коды, соотносимые с такими значащими для Ахматовой темами, как смерть и творчество.

¹ Ахматова А. Соч. В 2 т. М.: Правда, 1990. Т. 1 / Составление, подготовка текста и комментарии М. Кралина.

² Тименчик Р. О «библейской» тайнотписи у Ахматовой // Звезда. 1995. № 10. С. 201—207

³ Слинина Э. В. Пушкинские мотивы в царкосельских стихах Анны Ах-

матовой // Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена. Пушкинский сб. Псков, 1973. С. 129–139.

⁴ Шарафадина К. И. «Алфавит флоры» в образном языке пушкинской эпохи (источники, семантика, формы). СПб.: Петербургский университет печати, 2003.

⁵ Экзотичность чинары отсылает к лермонтовскому творчеству («Демон», «Дубовый листок оторвался от ветки родимой...» и др.). Чинара закономерно соседствует у Ахматовой с образом «Бессмертного любовника Тамары».

⁶ Из контекста стихотворения не ясно, идет ли речь о мимозе в строгом ботаническом смысле или о кавказской акации, которую под именем мимозы знают все в настоящее время. Кстати, именно желтые цветы этой мимозы несет Маргарита в день первой встречи с мастером в романе М. А. Булгакова — человека ахматовского поколения.

⁷ Подробнее о бузине в поэзии и жизни М. И. Цветаевой см. в статье К. И. Шарафадиной: «Цветаевский мир бузины» и его ассоциативно-репинисцентный миф // От текста к контексту. Сб. статей. Ишим, Омск, 1998. С. 102–117.

⁸ См. об этом: Шарафадина К. И. «Поэтическая флора» К. Н. Батюшкова и ампирные эмблематические контексты // Русская литература и внелитературная реальность. Историко-литературный сб. материалов «Герценовские чтения» 2003 г. СПб.: Сага, 2004 С. 23–24.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ

В. А. Свительского и Б. О. Кормана

Публикация и примечания Е. А. Подшиваловой

I

17 марта 1971 г.

Борисоглебск

Дорогой Владислав Анатольевич!

Только что я прочитал в *Известиях ОЛЯ* статью действительного члена АН СССР В. М. Жирмунского, лауреата Государственной премии доктора филологических наук члена Союза писателей СССР Б. С. Мейлаха и доктора филологических наук старшего научного сотрудника Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР Г. М. Фридлендера о работах Бахтина, и мне хочется поделиться с Вами теми или иными, отдельно взятыми соображениями и чувствами. Так как в своей повседневной научной работе я привык пользоваться субъектным методом, то мне представляется, что я, видимо, хотел бы подойти к названной статье с позиций указанного метода.

Прежде всего обращает на себя внимание демократизм рецензентов, их умение, оторвавшись от важных научных дел, найти время для анализа работ литературоведа гораздо меньшего масштаба, достижения которого (литературоведа) не идут ни в какое сравнение со свершениями рецензентов. Мне кажется,

что в этом факте явственно ощутима та гуманистическая традиция, которую выработала в свое время отечественная военная наука и которую восприняло наше литературоведение: «Сам погибай, а товарища выручай!»

Эта готовность найти время, снизойти и поддержать тем более трогательна, что в работах М. М. Бахтина есть немало ошибок и просто слабых мест. Но рецензенты проявили здесь то великодушие, ту душевную щедрость и благородство, которые всегда были присущи нашей словесности и которые с такой поразительной яркостью проявились в известных словах Пушкина о Дельвиге и о себе: «Свой дар, как жизнь, я тратил без внимания, / Ты гений свой воспитывал в тиши». Можно смело сказать, что соотношение между размахом научной деятельности рецензентов и изысканиями М. М. Бахтина такое же, как соотношение между титаническим поэтическим подвигом Пушкина и скромными устремлениями Дельвига. Но характерно, что подобно тому как Пушкин в цитированном выше стихотворении назвал свой гений даром, а дар Дельвига гением, так и рецензенты с похвалой отзывались о работах Бахтина, почти ни слова не сказав о своих трудах и лишь скромно сославшись на рецензию одного из рецензентов и на несколько страниц в книге другого рецензента¹. Между тем совершенно несомненно, что названная рецензия и указанные несколько страниц будут привлекать к себе внимание все новых и новых поколений ученых, тогда, когда о самом Бахтине будут знать лишь благодаря тому, что перечисленные в начале моего письма рецензенты решили поддержать менее одаренного, но, по их мнению, заслуживающего поддержки коллегу.

Демократизм рецензентов сказался также и в той обстоятельности, с которой они восстановили историю присуждения М. М. Бахтину ученой степени. В рецензии назван год, указано научное учреждение, в которое была представлена диссертация, и поименованы официальные оппоненты, а также отмечен тот факт, что соискателю, претендовавшему лишь на степень кандидата наук, была присвоена степень доктора.

Я думаю, что рецензенты столь тщательно выписали этот эпизод для того, чтобы нравственно поддержать М. М. Бахтина, напомнив ему, что он является таким же доктором наук, как и двое из рецензентов (хотя для всякого непредубежденного наблюдателя очевидно, что докторский диплом М. М. Бахтина «не тянет», как говорят у нас в народе, сравнительно с докторскими же дипломами Б. С. Мейлаха и Г. М. Фридлендера).

Во внимании к интересующему меня эпизоду сказалась еще

одна особенность позиции рецензентов: их высокая оценка объективности наших академических учреждений. И если находятся еще порой недостаточно осведомленные люди, которые почему-то говорят о недооценке Бахтина, то эпизод, приведенный рецензентами, лучше всего опровергает неправильное мнение о недостаточном внимании к М. М. Бахтину.

Показательно для позиции рецензентов и то, что, говоря о статье М. М. Бахтина «Эпос и роман» (опубликованной в «Вопросах литературы» за 1970 год), они не упоминают о том, что названная статья представляет собой доклад, прочитанный М. М. Бахтиным в Институте мировой литературы в 1937 году. Тем самым они проявляют деликатность, не фиксируя нашего внимания на том, что М. М. Бахтин не проявил элементов пробивного начала и в течение тридцати с лишним лет так и не сумел опубликовать свою хотя и интересную, но содержащую некоторые преувеличения статью. Наконец, еще одно соображение: рецензия, которая произвела на меня столь глубокое впечатление, написана тогда, когда М. М. Бахтин оставил педагогическую и научную деятельность и, уйдя на пенсию, т.е. на заслуженный отдых, поселился в Московской области — в доме инвалидов Министерства социального обеспечения РСФСР, — т.е. тогда, когда он уже не принимает участия в историко-литературоведческом процессе и, собственно говоря, не может претендовать на то, чтобы серьезные ученые и серьезный научный орган занимался его работами, которые, конечно, должны учитываться, но которые не определяют.

Но рецензенты сочли возможным поддержать коллегу, отметить его вклад, как это и принято при уходе человека на пенсию. Мне кажется, что и здесь проявили они великодушие и гуманность, которыми проникнута их статья (рецензия).

Вот, пожалуй, все те чувства и соображения, которые я хотел высказать. Добавлю лишь, что все то время, пока я писал это письмо, у меня не выходило из головы стихотворение Баратынского «Когда твой голос, о поэт». Разумеется, оно не имеет к предмету этого письма никакого отношения и вспоминалось лишь потому, что в последнее время я усиленно занимаюсь изучением лирики Баратынского.

Будьте здоровы и благополучны.

Ваш Б. О.

¹ Речь идет о след. работах: *Фридлендер Г. М.* Реализм Достоевского. М.; Л: Наука, 1964. С. 188—191; *Мейлах Б. С.* Талант писателя и процессы творчества. Л.: Советский писатель, 1969. С. 214—218.

II

26 марта 1971 г.

Дорогой Борис Осипович!

Получил Ваш обстоятельный отклик на лаконичную статью трех известных литературоведов. Письмо пришло в тот момент, когда у нас на столе как раз лежали Известия ОЛЯ, раскрытые на тех самых страницах.

Добавить к Вашим словам трудно что-либо, но все-таки две мелкие подробности заслуживают внимания. Прежде всего — краткость статьи. Каждое слово — на вес золота! Совсем недавно М. М. Бахтину исполнилось 75, и, вероятно, юбилей навеял это послеобильное слово, хотя бы вслед... Говорят, многие ленинградские ученые послали старику телеграммы с поздравлениями.

Во-вторых, заметили ли Вы последнюю фразу? Статья писалась в антракте между более важными и более академическими трудами. Каждый из соавторов вложил в нее свою долю — 3—4 странички. Все мнения носили итоговый характер резюме, а в общем итоге получилось нечто не полифоническое, слишком безапелляционное и окончательное. Выявилась монологическая природа мышления. Тогда-то и пришлось, спохватившись, оговорить в конце, в последних строках, что книги М. М. Бахтина «заслуживают широкого обсуждения» и что их статья обсуждения не отменяет. Оговорка немаловажная, а то один доцент с каф. русской литературы ВГУ, посмотрев статью, сообщил мне, что наконец-то есть официальное мнение о Бахтине и полифонии...

Письма В. А. Свительского и Б. О. Кормана связаны с М. М. Бахтиным. В 1971 г. вместе с С. Г. Бочаровым и Л. А. Шубиным В. А. Свительский побывал в Доме престарелых г. Клиновска, где нашла свой приют чета Бахтиных. В том же году он сообщал Б. О. Корману (23. XII): «с М. М. Бахтиным плохо. У него умерла жена, и по непроверенным сведениям он сам в очень плохом состоянии». Из его же письма от 9.XII.72: «...Кстати, мне удалось здесь с ним (М. М. Бахтиным. — Е. П.) повидаться несколько раз. Он очень постарел, но голова удивительно ясная и хранит дух прежней эпохи. Помнит он имя Кормана и одобрительно отзвался о "Лирике Некрасова" (сам назвал)...». В письме от 29.01.74 (на штемпеле) В. А. Свительский сообщил Б. О. Корману московский адрес Бахтина. Из письма от 13.01.75: «Горькой поездкой был необходимый визит в Москву на проводы М. М. Бахтина. Кажет-

ся, Вы были на вечере памяти М. М. Бахтина в Литературном музее (мне об этом писали, но неуверенно). Скажу только несколько слов о похоронах. Ни одного слова не было произнесено — и это было хорошо и правильно. Никакого официального участия (может быть, только автобус да распорядитель были от Союза писателей). И не было почти никого из самых старших поколений; из тех, кто еще на коне, — преобладание молодежи — меньше — сорокалетних. Человек 150—200. А гроб несли те, кто любил, по своей воле. Чужих вблизи не было. Другие детали уместнее в устном пересказе...».

Е. А. Подшивалова
АВТОР В ПОНИМАНИИ
Б. О. КОРМАНА И В. А. СВИТЕЛЬСКОГО

В статье «Творческий метод и субъектная организация произведения», опубликованной в 1979 г. в Кемеровском сборнике «Литературное произведение как целое и проблема его анализа», Б. О. Корман пишет: «Теория автора возникла из необходимости дать строго научное функциональное описание литературного произведения, трактуемого как идеально-художественное единство¹. В шестидесятые-семидесятые годы отечественная литературная наука активно разрабатывала проблемы художественного мастерства писателя². Но как справедливо заметил в 1974 г. В. А. Свительский, «поэтика как отрасль науки о литературе еще недостаточно осознала себя, свои цели, свою специфику»³.

Семантическое наполнение термина происходило на глазах студенческого поколения 1970-х годов благодаря исследовательской практике тех людей, которые составляли для этого поколения литературоведческую среду. Сегодня это уже стало историей литературоведения. И есть смысл перелистать ее страницы, тем более, что многие привычные для современных филологов понятия родились в стенах филологических факультетов Воронежа и Ижевска и история отечественного литературоведения есть история наших кафедр.

Разработка вопросов поэтики закономерно привела ученых в 1970-е гг. к проблеме единства художественного мира произведения. Проблемами целостности эстетического явления занимались и в Донецке, и в Кемерово. Для Б. О. Кормана представление о целостности связано с тем, кто ее организует — с автором. В статье «Целостность литературного произведения и

экспериментальный словарь литературоведческих терминов» он писал: «В течение ряда лет мы с группой сотрудников сначала в Борисоглебске, а затем в Ижевске работали над системным пониманием литературного произведения, получившим устоявшееся, хотя и не совсем точное название «теории автора», («проблемы автора»)»⁴.

Понимая литературное произведение, как систему взаимосвязанных друг с другом элементов или уровней текста, систему, организованную автором-демиургом, Б. О. Корман и от литературоведа требовал понятийно-терминологического единства. Он сетовал на то, что в современной науке отдельные понятия и их группы во многом существуют сами по себе, о чем свидетельствуют до сих пор справочные издания (КЛЭ и словари литературоведческих терминов). Профессиональная жизнь Б. О. Кормана была посвящена разработке системы понятий, которыми представлена «теория автора». Тем самым, с его точки зрения, достигалось соответствие объекта изучения — системно понимаемого художественного произведения и метода исследования. Требование понятийно-терминологической целостности было связано с задачей объективного, научно-строгого исследования художественных явлений и с необходимостью совершенствовать теорию литературы, приводить литературоведение к зрелости. Выстраивая систему понятий, Б. О. Корман дифференцирует автора, выделяя три его ипостаси. Биографический автор — дотекстовая и послетекстовая сущность. Концептированный автор — текстовый; целостная система произведения и представляет собою данного автора. Внутри текста он проявляется в различных субъектных формах в зависимости от рода и жанра художественного произведения. Разграничив таким образом понятие «автор», Б. О. Корман: 1) исследовал принципы переработки жизненного материала в художественный, т.е. законы превращения биографического автора во плоти произведения в категорию эстетическую, в некий срез сознания, выражением которого является все произведение; 2) описал субъектные формы выражения авторского сознания в эпосе, лирике и драме; 3) разграниril формально-субъектную и содержательно-субъектную организацию произведения; 4) нашел принцип соотношения между формально- и содержательно-субъектной организациями произведения в дореалистических методах и в реализме; 5) выявил, как соотносятся субъектная организация произведения с пространственно-временной, сюжетной; 6) соотнес категории «автор» и «читатель». Результатом его системных теоретико-литературных по-

строений стали «Экспериментальный словарь литературоведческих терминов» и статья «Принципы анализа художественного произведения и построение единой системы литературоведческих понятий» (1979), а также учебные пособия «Изучение текста художественного произведения» (М., 1972), «Практикум по изучению художественного произведения» (Ижевск, 1974), «Образцы изучения текста художественного произведения в трудах советских литературоведов» (Ижевск, 1974), «Практикум по изучению художественного произведения. Лирическая система» (Ижевск, 1978).

В. А. Свительский, связанный с Б. О. Корманом много летней дружбой, а с теорией автора — регулярными литературоведческими размышлениями, не ставил задачей выработку строго научного метода исследования. Но к понятию «автор» он обратился не случайно. В 1971 г. он посетил М. М. Бахтина в Климовске, в доме инвалидов, а до этого прочитал и воспринял как откровение книгу «Проблемы поэтики Достоевского». Бахтин помог ему научно откорректировать собственные представления о Достоевском и в определенном смысле установил ракурс литературоведческого зрения (в ноябре 1971 г. В. А. Свительский защитил кандидатскую диссертацию по творчеству Ф. М. Достоевского, а Б. О. Корман был его первым оппонентом).

Через книгу М. М. Бахтина и через исследование творчества Ф. М. Достоевского В. А. Свительский и Б. О. Корман завязали многолетний диалог об авторе, который происходил в статьях, письмах, беседах. Попробуем прописать несколько сюжетных линий этого диалога.

В 1978 г. Б. О. Корман пишет статью «Из наблюдений над терминологией М. М. Бахтина». Материалом его анализа служит в основном пятая глава книги «Проблемы поэтики Достоевского», которая называется «Слово у Достоевского». В ней Бахтин употребляет термин автор и модификации последнего. Корман выявляет круг значений слова «автор», используемых Бахтиным. «Автор» в тексте Бахтина это: 1) последняя смысловая инстанция; 2) повествователь; 3) рассказчик; 4) герой как носитель прямой речи. При этом Б.О. Корман обращает внимание на то, что М. М. Бахтин склонен замещать слово «автор» словосочетаниями «авторский замысел», «авторская речь», «авторское слово», «авторский контекст». Из этих наблюдений он делает вывод: «Явления, которые объединяются словом «автор» или его синонимическими заменами, здесь явно неоднородны. Последняя смысловая инстанция, с одной стороны, и повествователь, герой как носитель прямой речи лежат в раз-

ных плоскостях, относятся к разным уровням⁵ художественного целого. Обосновывая эту мысль, Б. О. Корман выписывает из книги М. М. Бахтина все синонимы слова «автор», которые употребляет учений: «автор-художник», «автор как конструктивный момент формы», «вненаходимость художника», «художник», «творческая личность автора», «автор-творец», «активность художника в романе». Для Б. О. Кормана очевидно: автор у Бахтина может выступать как синоним рассказчика или говорящего героя. Прямая речь того или другого может стать, с его точки зрения, авторской позицией, непосредственно авторским словом, авторским текстом.

В статье «Проблема автора в художественной прозе Ф. М. Достоевского»⁶ Б. О. Корман использует в понятие «фразеологическая точка зрения», чтобы понять, как соотносятся герой-рассказчик и автор в романах писателя. Фразеологическая точка зрения — это соотношение между субъектом и объектом в речевой сфере, т.е. между речевыми манерами субъекта и объекта. В той мере, в какой герой выступает как носитель резко выраженной фразеологической точки зрения (Лужин, Ф. П. Карамазов), он отделяется от автора и превращается в объект чьего-либо сознания. Сложнее, считает Б. О. Корман, обстоит дело с идеологическими героями: чем идеологичней текст, тем дальше герой от автора. В ряде случаев, с точки зрения Кормана, у идеологических героев наряду с исповедально-философской появляется повествовательная функция. Очень точно учёный замечает, что повествователь, вытесняемый из основного текста одной из разновидностей рассказчика, переходит в текст, приписанный герою. Рассказчик претендует на всепонимание и всеобъяснение. Что касается персонажа, который в ряде случаев скрыто выступает как повествователь, то он на всепонимание вовсе не претендует. Интенсивность критического взгляда на него ослаблена, степень его близости к автору повышается. И вот очень важная мысль, позволяющая объяснить архитектору текста и связанный с ней способ выражения авторской оценки в прозе Достоевского: если писатель не дает идеологическому герою скрытой повествовательной функции и в то же время хочет сохранить за ним нормативное начало, приблизив тем самым к автору, он резко ограничивает его исповедальные диалоги (Алеша сравнительно с Иваном и Дмитрием) или вообще лишает его текста (Христос в «Легенде о великом инквизиторе»)⁷. Из размышлений следует, что повествовательная функция речи и молчания — признаки близости героя к автору.

Поставив вопрос о соотношении автора и героя у Достоевского, Б. О. Корман решает его, исследуя структуру текста, а В. А. Свительский — рассматривая принципы организации художественного единства. «Непонятно, — пишет он в статье «Проблема единства художественного мира и авторское начало в романе Достоевского», — каким образом в произведениях Ф. М. Достоевского (а это в большей мере присуще и прозе XX века) взаимодействие между чуждыми друг другу автономными «кругозорами» — точками зрения героев организуется романное целое. Не ясно, как проявляется себя при этом автор»⁸. Чтобы ответить на эти вопросы, В. А. Свительский отталкивается от сущности и функции полифонизма в романах Достоевского. Полифонизм здесь — это определенный методологический принцип (тип художественного мышления Достоевского) и структурно-композиционное явление. С точки зрения Бахтина, пишет В. А. Свительский, роман Достоевского не дает никакой устойчивой опоры для монологически объемлющего сознания. Последнему «нет ни композиционного, ни смыслового места». С точки зрения самого В. А. Свительского, «организующее действие художника предшествует диалогу. Мало того, для организации дискуссии», то есть полифонии, «требуется знать, кого и зачем свести вместе»⁹. «Сведение героев вместе, расстановка их друг подле друга несет не только постановку автором проблемы, но и частичное, неполное решение ее. Поэтому ошибочно говорить, <...> что у художника в романе Достоевского «нет ни композиционного, ни смыслового места». Расположение книг в «Братьях Карамазовых», когда за «Pro и contra» идет «Русский инок», а затем «Алеша», когда роман венчается «речью Алеши», уже несет авторскую мысль, авторскую оценку»¹⁰. В. А. Свительский пишет об авторе у Достоевского как о последней смысловой инстанции и о том субъекте, который вербализован на уровне композиционной представленности текста: первичное и последнее единство в романе Достоевского все же строится на основе «монологического» и тотального (исходного) отношения художника к миру. А полифония, диалог, развертывающийся в произведении, существует в пределах этого отношения и на его основе, в условиях, им созданных. Понимая так автора, В. А. Свительский иерархически дистанцирует его от героя: почти автоматически любая другая точка зрения по сравнению с авторской у Достоевского объективируется, попадает в равные взаимоотношения с остальными. Автор, выражаемый через структуру романа, актуализирует художественную роль композиции.

Эти размышления над соотношением автора и героев в творчестве Ф. М. Достоевского привели В. А. Свительского к постановке вопроса о том, как авторский смысл проявляется в ряду других значений литературного произведения. Он предлагает дифференцировать понятия «художник» и «автор». Автор реализуется в плоти произведения. До того мы имеем дело с художником (понятие более широкое и независимое) или синонимичным художнику автором-творцом. Между автором биографическим и автором-«концепцией мира, выраженной в художественном произведении» В. А. Свительский предлагает поместить художника (автора-творца). Эта категория связана с художественным замыслом, с творческой историей произведения. Авторский смысл состоит, с точки зрения ученого, из 1) замысла (на этом уровне проявляется художник), 2) авторской идеи (на этом уровне проявляется системный автор, автор как концепция мира, выраженная в целом текста), 3) мироотношения, переданного в речах субъектов сознания или героев 4) смысла, который извлекает из произведения читатель. Разграничивая «художника» и «автора», В. А. Свительский справедливо пишет о том, что художник не равен авторскому проявлению в отдельном сочинении. Понятие художник более широкое, связанное с творческим потенциалом личности, оно уводит исследователя от конкретного текста к системе творчества.

Данное размышление над системой понятий оформилось в 1985 г. В 1990-е гг., рассуждая об авторе, В. А. Свительский все более и более связывает эту категорию с аксиологической функцией литературы. Он занимается русской психологической прозой и ему, естественно, оказалась очень близкой мысль Б. О. Кормана о том, что реализм меняет систему ценностей в искусстве слова, ставя в основу ценностной системы человека как такового, человека по определению, без каких-либо оговорок. С точки зрения В. А. Свительского, в деятельности автора давали о себе знать ценности человека, личности, индивидуальности. Категории авторства и автора он рассматривает теперь как личностные прежде всего. В статье «Теория автора и изучение русской психологической прозы XIX века» он дает глубокий анализ сделанного Б. О. Корманом. Теорию автора В. А. Свительский представляет здесь как антропологию. Для ученого работы Кормана о Достоевском — вершина духовной биографии создателя теории автора. Наблюдения над терминологией М. М. Бахтина, считает В. А. Свительский, помогли Б. О. Корману объяснить противоречия, проявившиеся в книге о Ф. М. Достоевском. Он обращается к замечанию Б. О. Кор-

мана о том, что автор у Бахтина активен: «Обратим внимание на общее значение глаголов, сочетающихся у М. М. Бахтина с разными словесными обозначениями понятия «автор»: «проникает», «вводит», «вкладывает», «пользуется». Все это семантические парадигмы активного действия»¹¹.

И последние записи, найденные на столе В. А. Свительского уже после его кончины, отражают размышления ученого о смысле авторской активности у Достоевского: «Активность автора становится активностью выраженной оценки». Такова одна из конспективно набросанных мыслей. М. М. Бахтин в работе «Эстетика словесного творчества» писал, что произведение индифферентно к ценности, но далее он заметил: «Безоценочное понимание невозможно, нельзя разделить позицию и оценку. Они одновременны и составляют единый ценностный акт»¹².

И Б. О. Корман, и В. А. Свительский в итоге творческого пути пришли к мысли о том, что автор — категория эстетическая, но призванная заявить об этической позиции художника через систему элементов произведения. Такой взгляд на автора обуславливался отношением к литературе как к сокровищнице истины, добра и красоты.

¹ Корман Б. О. Творческий метод и субъектная организация произведения // Литературное произведение как целое и проблема его анализа. Кемерово, 1979. С. 16.

² См., например: Лихачев Д. Внутренний мир художественного произведения // Вопросы литературы. 1968. № 8.

³ Свительский В. А. Проблема единства художественного мира и авторское начало в романе Достоевского // Проблема автора в художественной литературе. Вып. 1. Ижевск, 1974. С. 177.

⁴ Корман Б. О. Целостность литературного произведения и экспериментальный словарь литературоведческих терминов // Проблемы истории критики и поэтики реализма. Куйбышев, 1981. С. 40.

⁵ Корман Б. О. Из наблюдений над терминологией М. М. Бахтина // Корман Б. О. Избранные труды по теории и истории литературы. Ижевск, 1992. С. 132.

⁶ Корман Б. О. Проблема автора в художественной прозе Ф. М. Достоевского // Корман Б. О. Избранные труды по теории и истории литературы... С. 149–160.

⁷ Там же. С. 159.

⁸ Свительский В. А. Указ. соч. С. 178.

⁹ Там же. С. 184

¹⁰ Там же.

¹¹ Корман Б. О. Из наблюдений над терминологией М. М. Бахтина... С. 129.

¹² Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества М., 1979. С. 346.

Т. А. Никонова

*Памяти моего отца,
Александра Федоровича Никонова (1914—1975)*

«ЧАС МУЖЕСТВА»

О литературе Великой Отечественной войны

О Великой Отечественной войне написано много — сразу, по горячим следам, и позже, когда фронтовое поколение пришло в литературу, принеся в нее свой жизненный опыт, гражданскую зрелость, систему ценностей. В их богатом материале есть свидетельства, которые мы до сих пор еще не до конца поняли, интонации, еще нами не уловленные, принадлежащие времени, ставшие Историей. Стихи и проза, публицистика и дневники — все, что было написано по горячим следам, вне дистанции времени, сегодня обрело особый смысл и вес.

Отечественная война была тем моментом истины, который нам нас объяснил. Она была временем трудного возвращения к национальной традиции от обольщений революционных десятилетий, от трагедий 1920—1930-х годов. Не вступая в спор с историками и современными идеологами, хочу попытаться заново посмотреть на давние строки и страницы, написанные в годы молодости моего отца, участника боев на Карельском фронте, хочу попытаться понять, как жили, как думали они, полные сил и жизни, застигнутые войной в пору их молодости. Хочу вернуться к свидетелям тех трагических лет, равных эпохе, унесших столько жизней (кто же сможет учесть всех погибших, пропавших, недоживших!) уже по одному тому, что сильно ранят слова пренебрежения о Великой войне, о нашей Победе, задевают многие знаки нашего беспамятства, недомыслия. Нам нередко кажется, что мы умнее и мудрее их, не знавших всего того, что знаем сегодня мы о действиях нашего командования, о руководителях нашей страны и мировых держав, и т.д., и т.п. Однако художественные тексты, дошедшие до нас статьи и письма свидетельствуют что наше *знание* существенно и сущностно отличается от их кажущегося *незнания*.

Мы знаем, что нынче лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет (1, с. 380).

Это скорбно-спокойный голос Анны Андреевны Ахматовой, которая «час мужества» почувствовала еще в 1914 году, когда Россия и вся Европа вступили в тяжелейшую полосу своих испытаний — во времена мировых войн, отменяющих все призрачные ценности, кроме глубинных.

Не страшно под пулями мертвыми лечь
Не горько остаться без кровя,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово (1, с. 380).

Ахматова имела право на *такие* строки, она знала цену Слову берегущему, охраняющему — не жизнь, нечто большее. Именно Слово не давало сфальшивить ни стиХУ, ни прозе, ни дневнику. Именно к нему обратилась литература в первые же дни войны, в июне-августе 1941-го.

Разумеется, не ко всем и не сразу пришла верная интонация, искренность, которая и сегодня делает нестареющей лирику Великой Отечественной. Нередко в первые дни войны срабатывал опыт прежних лет, диктовавшей велеречивость и патетику стихов декламационных, эстрадно-обобщенных.

Касаясь трех великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Покрыта сеткою меридианов,
Непобедима, широка, горда (4, с. 18),

— пишет в 1941 году Симонов (*«Родина»*). Но скоро, очень скоро в его стихи-послания, адресованные уже не целой стране или Родине, а другу (*«Ты помнишь, Алеша...»*), любимой (*«Жди меня...»*) войдут «дороги Смоленщины», «деревни, деревни, деревни с погостами», где «прадеды молятся / За в бoga не верящих внуков своих». И о такой земле он уже не сможет сказать: «ключок земли, припавший к трем березам...», как в стихотворении *«Родина»*. Сменится и лексика его стихов, ориентированных на иное восприятие. «Седая старуха в салопчике плисовом» (едва ли такое одеяние могло появиться в довоенных стихах того же Симонова, а главное — с такой оценкой!), «весь в белом, как на смерть одетый, старик» своих «родимых» провожают на смерть, оставаясь ждать их возвращения в тылу врага, как и вся родная земля.

«Мы вас подождем!» — говорили нам пажити.
«Мы вас подождем!» — говорили леса. (4, с. 40).

Земля, обретшая Слово, голос — первая и главная реальность Отечественной войны. Это самый частотный и полисен-

мантический образ лирики и публицистики военных лет. В публицистике И. Эренбурга он, например, существует как идея и лозунг. «Враги захватили немало нашей земли. Что они нашли? Пустыню. Я не знаю ничего патетичней крестьянина, который, узнав, что немцы близко, подносит спичку к соломенной крыше отцовской, дедовской хаты. Да, помимо идей, помимо пафоса русской истории, существует еще земля, родная земля, своя земля, и ее теперь отстаивает весь советский народ» (7, с. 21).

«Земля», равная советскому народу, требует отмщения и борьбы. Однако иная «земля» и иной защитник у А. Твардовского. Его невозможно представить себе подносящим «спичку к крыше отцовской хаты». Вчерашний крестьянин, сегодня волею войны командир, отступающий через родную деревню на восток, совершенно иначе ведет себя в родном доме, в котором на милость врага останутся его жена и дети.

Вот не спится человеку,
Словно дома — на войне.
Зашагал на дровосеку,
Рубит хворост при луне.

Тюк да тюк. До света рубит.
Коротка солдату ночь.
Знать, жену жалеет, любит,
Да не знает, чем помочь (6, с. 140—141).

Это не просто иное, чем у Эренбурга, отношение к земле, занятой врагом, но и иная оценка войны. Эренбург реализует лозунг-метафору, принятую официальной пропагандой, о земле, горящей под ногами фашистов. Победа любой ценой — вот суть этого лозунга, не принимающего в расчет ни людей, ни их семейную историю, память. Для героя А. Твардовского победа тоже несомненна и необходима. Но для него в войне существует не только враг. От войны страдают и те, кому из-за сегодняшнего отступления жить в плену. Перед кем солдат, армия, пусть и невольно, но виноваты. А уж горящий родной дом, подожженный собственными руками, для него за пределами понимания. Потому и не нуждаются герои А. Твардовского в словах призыва. Идущий из окружения «как бы политрук» повторяет единственную в этой ситуации «политбеседу»: «— Не унывай».

Не зарвемся, так прорвемся,
Будем живы — не помрем.

Срок придет, назад вернемся,
Что отдали — все вернем (6, с. 136).

Война заставила русскую литературу вернуться к исконным понятиям, какими она всегда жила. Первая мысль — о «скрытой теплоте патриотизма» (Л. Толстой), вторая — о народе, представление о котором всегда было связано с крестьянином. Не зря К. Симонов в лучшем своем стихотворении «Ты помнишь, Алеша...» скажет лишь на первый взгляд неожиданное для советского писателя:

Ты знаешь, наверное, все-таки родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на проселках свела (4, с. 39).

Напомним, что советская литература 1920—1930-х годов, формируя корпус понятий советской литературы, на первый план выводила горожанина — сознательного рабочего, активного участника социалистического строительства. С ее точки зрения, он был открыт новым идеям, новому образу жизни, не в пример крестьянину. Исходя из этой доктрины, особую — организующую и направляющую — роль идеологи отвели двадцатипятитысячникам в проведении коллективизации. И зачастую, призванные закладывать основы новой жизни на селе, последние выступали лишь в роли разрушителей старой.

Критически отнесясь к крестьянину, советская литература утратила и привычные коннотации слова «народ». Однако, как показывает история русской литературы в XX веке, насилиственная идеологизация не затронула глубинные ее пласты. Так, А. Платонов в 1930-е годы говорит о «рядовом народе». Избегая классовых определений, он в своем творчестве не различает мастерового и крестьянина по их отношению к социальному прогрессу. От имени «многих» заговорит в послереволюционные годы А. Ахматова. Записывая текст поэмы «Реквием», созданной в 1930-е годы, оглядываясь на него из 1960-х, она скажет:

Я там была с моим народом,
Где мой народ, к несчастью, был.

«Мой народ» — эта формула уже иных, 1960-х годов, но чувство «инакости» того народа, к которому и она принадле-

жит, возникло у поэта еще в годы Первой мировой войны, окрепло в скорбных очередях «ежовщины». Безымянной гибели «многих» сопротивляется поэт, говоря:

Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.

Такое понимание «народа» объединяет прежде всего *людей*, объединяет в страдании. Ядерный смысл слова «народ» в этом случае переводится на *человека*. И тогда «рабочий» и «крестьянин» лишаются разъединяющего классового смысла.

Подтверждение этой мысли найдем и в стихах Б. Пастернака, поэта сугубо гражданского, не «военного», но опиравшегося на русскую традицию. В стихотворении «Смерть сапера» (1943) он рассказывает о смерти солдата:

Хоть землю грыз от боли раненый,
Но стонами не выдал братьев,
Врожденной стойкости крестьянина
И в обмороке не утратив (3, с. 379).

Безусловно, не этими строками Б. Пастернак вошел в мировую поэзию, однако в них высветлена интересующая нас тенденция. Особый смысл фронтового братства подчеркнут ключевым образом земли, к которой припадает раненый, подпитывая «врожденную стойкость крестьянина». Фронтовая профессия (сапер) обеспечивается, как и у А. Твардовского, мирным опытом.

«Врожденная стойкость крестьянина» стала главным препятствием уже не в стихотворном, но реальном «сюжете» войны. Именно она сорвала задуманный Гитлером план молниеносной операции по захвату России, завершением которой должно было быть взятие Москвы. Об этом рассказывают газетные репортажи И. Эренбурга: «Скуп язык военных сводок. Дважды в день страна узнает, что бои продолжаются на всем огромном фронте. Мы знаем, как тяжелы эти бои. Мы знаем, что немцы заняли ряд наших городов. Но мы не теряем бодрости. Словеса, сказанные в первый день войны — «победа будет за нами» — живы в сердце каждого советского гражданина» (7, с. 32). По этому поводу много написано, сказано историками, политикаами, поэтами. Но вот свидетельство что называется по горячим следам. М. М. Пришвин записал в дневнике 30 июля 1941 года: «Всех ободряет, что началась вторая неделя войны, а немцы не движутся лавиной, как думали» (5, с. 300; курсив мой. — Т. Н.). «Думали» не только немцы, но и многие в нашей

стране до войны. Но пришла беда, и случилось то, что не могло не случиться: народ стал защищать свой дом.

Как и И. Эренбург, М. Пришвин уверен, что «победа будет за нами». Но его уверенность не столь декларативна, а его знание о реальной тяжести первых дней войны многосоставно. «Объявлено: Вязьма взята. А говорят, что взята она в среду, и немец теперь под Можайском, а то и ближе еще...» (5, с. 309). Официальное сообщение («объявлено») корректируется тем, что приносит людская молва («говорят»). Беженцы, эвакуированные, местные жители верят больше тому, что «говорят». И тем важнее свидетельства думающего очевидца, русского писателя: «14-й день войны... Москва, как и Ленинград, потихоньку эвакуируется, и уверенно никто не скажет, что Москва не будет взята немцами. Но всякий знает, что Россия останется неразбитой страной и без Москвы, а немцы придут в Москву в существе своем разбитыми. Они и теперь разбиты, потому что их расчет был на ненависти к большевикам. В этом они просчитались...» (5, с. 301).

Опять, как в 1812 году, сдача Москвы (столицы, символа государства) для русского человека не означает гибели страны, ибо ее защищает народ, временно отступивший. Ненависть к большевикам, на которую рассчитывали фашисты, была ненавистью к государственной власти. Отношения же с государством в России всегда были одинаковыми: власть почитали мало, больше доверяя человеку. Не случайно и Пришвин запишет в дневнике мысли многих: «...простые люди ждут переворота («Минина и Пожарского»)» (5, с. 305). Потому и «весь народ поднялся» (там же, с. 301) не на защиту власти — на защиту отчего края, своей земли.

Как показали уже первые дни войны, различной была не только оценка современности, но и русской истории и культуры. Апеллировали к разным событиям, разным ценностям: война 1812 года, Суворов, Кутузов, Л. Толстой, Гоголь... Однако и классика переживалась и понималась по-разному.

«Начал читать Горбатова «Непокоренные» с большим удовольствием и сочувствием, но, не дочитав первой страницы, сообразил, что герой ее, — Тарас с сыновьями, есть гоголевский Тарас, и, значит, патриотизм его условный, литературный, уводящий в сказку, как у Гоголя, но не подлинный. И даже слово «Россия», как он говорит, это опять не из уст действительного современного мужика, а сочиненного, и что Гоголю на свободе тогда это можно было сочинять, а теперь в тесноте этого нельзя, не верится», — опять обращаемся к свидетельству М. Пришвина (5, с. 345).

Подробная запись ценна не тем, что М. Пришвин не принял официальную концепцию советского патриотизма, заявленную в повести Б. Горбатова («...несмотря на то, что повесть, наверное, хорошо написана, я читать ее не стал...»). Значительно более важным представляется то, что М. Пришвин понял тогда же, в годы войны: закончился важный период не только в жизни, но и в литературе. Оказалось невозможным оставаться в пленах прежних рассуждений о «сочиненном» мужике, об условном патриотизме, о «чугуне и стали» вместо человека. Времени понадобились слова «правды сущей, / Правды, прямо в душу бьющей» (А. Твардовский). В годы войны оказалось не переносимым слово трескучее, книжное. Нельзя было писать об истории торопливо и неряшливо, как, например, писала В. Инбер:

Когда внезапно перешедши Неман,
Приблизился к Москве Наполеон,
Он встречен был огнем, пожаром гнева,
Он ненавистью был испепелен (4, с. 19).

Так же всуе вспомнит Н. Тихонов «свинцовый час Полтавы», «раскаленный день Бородина» (4, с. 20). Речь не о том, что не надо говорить о славе русского оружия. Речь об интонации, о цене Слова.

Отсылки к русской истории совершенно иначе интонированы в стихах поэтов-фронтовиков, чей гражданский опытвойной же и был сформирован. И в их стихах появятся поле Куликово, Непрядва, Ярославна. С. Орлов: «Танкисты спят, как запорожцы, в травы / Закинув шлемы, разметав чубы...» (2, с. 38). Наровчатов «в каждой бабе видел Ярославну, / Во всех ручьях Непрядву узнавал» (4, с. 81). Не однажды появятся Иван Сусанин, Минин, «древняя, как мир, тоска» (2, с. 23) в глазах женщин. Н. Старшинов напишет не без осознанной полемичности:

Когда нарушив забытье,
Орудия заголосили,
Никто не крикнул: «За Россию!..»
А шли и гибли
За нее (4, с. 111).

«Голосанию» орудий противопоставлено молчание гибнущих за Отчизну. Кольцевая рифма интонационно скрепляет графически разорванную строфу, наполняя новыми смыслами слово, завершающее стихотворение.

Это и был голос «действительно современного мужика», в реальности, а не в сочиненных текстах отстаивавшего дело жизни. И только в этом контексте до конца ясны слова М. Пришвина, записавшего в страшные дни ноября 1941 года: «Я так давно был занят словом и так недавно понял это вполне ясно: не чугуном, а Словом все делается» (5, с. 311), имея в виду противопоставление заданий сталинских пятилеток духовной жизни человека.

Литература должна была вернуться к такой картине мира, в центре которой человек. И война оказалась временем, которое подсказало выход из жизненного и творческого тупика предвоенных лет. В ее литературе место героя-интернационалиста, оставившего свою хату для того, чтобы «землю в Гренаде крестьянам отдать» (М. Светлов), занимает русский труженик-солдат, ничем не отличающийся от других:

Парень в этом роде
В каждой роте есть всегда,
Да и в каждом взводе (6, с. 130).

Если герой советской литературы 1920—1930-х годов был воплощением исключительного (Чапаев, Павка Корчагин, тот же «мечтатель-хохол» М. Светлова), то герой поэмы А. Твардовского замечателен именно своей похожестью на сотни мирных людей. Он словно бежит от пафоса, от героических декламаций, демонстрируя единственное качество: всегда быть *на своем месте*: «Ну, война — так я же здесь» (6, с. 129). Высшие ценности для Теркина — это ценности мирной жизни обычного человека.

В таких произведениях, как «Василий Теркин» А. Твардовского, словно бы сама собой начинала звучать патриотическая традиция русской литературы, казалось, утраченная в советские годы. Возвратился взгляд на человека, главное в котором — «скрытая теплота патриотизма» (Л. Толстой), а не идеологический догмат.

Однако утверждать, что в изображении человека в 1940-е годы был уже преодолен опыт советской литературы, значит выдавать желаемое за действительное. Социалистический реализм как художественная система, сложившаяся на рубеже 1920—1930-х годов ориентирован на непременную *победу* человека над обстоятельствами. И не случайно, что последние органичные произведения, которые могут быть оценены как созданные в системе соцреализма, были написаны в годы войны. Это «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, поэма М. Али-

гер «Зоя», наиболее пронзительная и живая из всего созданного П. Антокольским поэма «Сын» и др. Но не трудно заметить, что такого героя, как Василий Теркин, в вышеназванных произведениях нет. При возможном формальном сходстве поэмы М. Алигер с поэмой А. Твардовского (центральный герой дает имя произведению, в основе сюжета — реальные военные испытания, одинаковое для героев отношение к врагу, к своему долгу и т.д.) различие между поэмами *концептуальное*. В них по-разному увиден человек. Жизнь Зои была подготовкой к гибели: «Настала пора, и теперь мы в ответе / За каждый свой взнос в комсомольском билете...». В контексте наших сегодняшних размышлений невольно возникает вопрос об источнике чувства вины героини. Жертвенность подвига Зои подчеркнута сценами, предшествующими выполнению задания (вспомним «патетичного» крестьянина И. Эренбурга, подносящего спичку к соломенной крыше отцовского дома), ее мыслями о маме и заштопанной ее руками кофточке, что довольно трудно соотнести с чеканными формулами, скажем, Вс. Вишневского: «И смерть бывает партийной работой». Мотив жертвы усиливает трагическое звучание поэмы и несет в себе, может быть и не осознанные автором, зерна иного мировоззрения, когда война понимается не только как смерть.

Вырастут на свете люди,
Что еще не родились,
Смерти никогда не будет —
Будет жизнь (3, с. 49).

А это уже голос С. Орлова, позиция которого не могла сложиться вне опыта А. Твардовского, его поэмы «Василий Теркин».

Поэмы М. Алигер и А. Твардовского предлагают разные решения проблемы «человек на войне». Традиции советской литературы, складывавшейся в годы гражданской войны, несут на себе печать ее идеологической заостренности и антагонистичности конфликтов. Героиня М. Алигер гибнет потому, что враг пришел на родную землю, но и потому, что она комсомолка, верная «боевому приказу». Многозначительно и то, что, погибая, героиня отказывается от имени, данном ей при рождении. Она избирает образец исполнения долга. И ее выбор носит ритуальный, знаковый характер. Герой А. Твардовского по мере развития поэмы тоже теряет имя, превратившись в конце войны (а, следовательно, и поэмы) в «солдата-сироту». Он отдал войне все, что может отдать человек: дом, семью, будущее («Ни окошка нет, ни хаты, / Ни хозяйки, хоть женатый,

/ Ни сынка...»). Герой Твардовского сохранил свою жизнь, но его вклад в Победу ничуть не меньше того, что внесен Зоей. И сейчас, когда он осознал, что «в войну осиротел», демонстрирует, казалось бы, недопустимую для победителя слабость:

На краю сухой канавы,
С горькой, детской дрожью рта,
Плакал, сидя с ложкой в правой,
С хлебом в левой, — сирота (6, с. 321).

Выполнена тяжкая, непосильная работа, заплачена высокая цена, но война и смерть остановлены. Дальше герою жить, строить дом, страну. А мы должны «помнить о его слезе святой», *сострадать* его слабости и беззащитности перед собственным горем и сиротством. Гибель Зои требует отмщения, государственной воли для уничтожения врага. Слеза солдата-сироты помогает выйти из безумия войны, из ее пожара и крови каждому, способному к *состраданию*. И в этом великий урок литературы военных лет. Она учила не ненависти, она учила на войне *жить*, не утрачивая человеческого. Советская традиция учила *умирать* во имя высокой цели, героизировала и поэтизировала ее. Русская традиция сохраняла глубокое уважение к человеческой жизни, понимая ее неповторимость и трагическую значительность.

Как и вся наша история в XX веке, русская советская литература военных лет не была однородным явлением. Но русское и советское в ней, по-разному истолкованные, восходящие к разным традициям, перед лицом всенародной беды слились в одном трагическом осознании *войны*. Это слияние стало источником нашей Победы и условием рождения блестательной страницы в русской литературе XX века.

¹ Ахматова А. Стихотворения. М., 1977.

² Орлов С. Мой лейтенант. Л., 1972.

³ Пастернак Б. Избранное: В 2 т. Т. 2. М., 1985.

⁴ Присягаем Победой: Стихи о Великой Отечественной войне. М., 1975.

⁵ Пришвин М. Дневники. М., 1990.

⁶ Твардовский А. Собр. соч.: В 5 т. Т. 2. М., 1966.

⁷ Эренбург И. Летопись мужества: Публицистические статьи военных лет М., 1983.

В. М. Акаткин
«СОФИЯ И ЗЕМЛЯНКА»
(К спорам о красоте и пользе в литературе о войне)

Долгое время тема Великой Отечественной считалась у нас, как и сама война, священной. Поэтому все написанное о войне спешно вносилось в активный и ценный багаж советской литературы. Сомневаться в качестве этого написанного, порой просто объективно анализировать казалось предосудительным и даже кощунственным. Годы войны — особый период в развитии нашей литературы, он сформировал свою этику и эстетику, свои представления о прекрасном и безобразном. Однако всесильное время размывает границы особых периодов и погружает их в общий литературный процесс, в котором главенствуют уже иные критерии. Скажем сразу: за годы войны были созданы произведения непреходящей ценности, они у всех на слуху, но общая картина литературного потока, главные силовые линии в нем пока не прописаны.

Во времена Базарова яростно спорили о том, что в данный момент нужнее: сапоги или Шекспир? И в горячке споров слышнее были те, кто отдавал предпочтение «сапогам», хотя литература в целом выбрала Шекспира. Применительно к теме войны (впрочем, как и к другим идеологически «священным» темам) сапоги и Шекспир оказались в литературных спорах на тех же позициях, только литература склонилась в основном к «сапогам», хотя не забывала в редких случаях о Шекспире. Злободневное и вечное, землянка и собор, газетное и художественное — этими и другими родственными категориями обозначались крайние точки в долгих спорах.

Вопрос об актуально полезном и эстетически полноценном, сверху заданном и творчески свободном возник уже на первом этапе войны. Содержание споров об этом едва пробивалось во фронтовую печать, потому что велись они в основном на всевозможных совещаниях и пленумах и лишь к концу войны получили огласку. Как известно, многие писатели были мобилизованы и активно работали в качестве военных корреспондентов в редакциях дивизионных, армейских и фронтовых газет, разумеется, и центральных. Была даже учреждена особая должность — военный писатель, дающая право на относительно большую творческую свободу и свободу местонахождения. И как-то само собою сложилось убеждение, что повседневная работа в газете нужнее и важнее художества. Обязанности журналиста возобладали над творческими планами и порывами,

ответственность за газетную полосу, ко времени и как положено заполненную, над своевольной фантазией. Отпечатки фронтового повседневья, словно пороховая пыль, так глубоко проникли во все жанры, что за ними порой не было видно живого почерка, живого индивидуального лица. Многое из написанного держалось на плаву боевым напряжением момента: стихали бои, отодвигались линии фронтов — и газетные строки без востребования навсегда оседали в пропыленных подшивках.

Фронтовая газета, при всем многообразии и сложности своих материалов, обречена на заданную однозначность толкования происходящего. Все непредсказуемое, противоречивое, живое подчиняет себе запрограммированная сверху позиция, заранее определенное представление о сути и конечном результате любого конфликта. Стрелочки-указатели «за» и «против» господствуют здесь над всякими тонкостями и оттенками, над всяkim инакомыслием — оно вообще недопустимо. Вот почему многое из написанного на фронте появилось в печати уже после войны, например, стихи поэтов-фронтовиков, дневники К. Симонова, книга записей «Родина и чужбина» А. Твардовского, вызвавшая и тогда ожесточенные критические оценки.

Причастным к фронтовому писательству постепенно приходило убеждение: мало победить врага силой оружия, необходимо победить огнедышащую стихию войны конгениальным словом, надо не только научиться писать о войне, но и писать войною, как говорил Маяковский. Однако у многих возникала по-человечески понятная иллюзия: написал, идет в номер, печатают, читают — значит, это нужно, значит, это хорошо, а лучше и не надо. Достаточно запечатлеть, «сфотографировать» боевой эпизод, без особых затей рассказать о подвиге танкиста или бронебойщика — и редактор доволен. Не нужно ничего выдумывать, искать какие-то неповторимые слова, все равно войну не перекричишь, больше отгремевшего боя не наговоришь. Многим, с одной стороны, казалось, что война сама придаст написанным о ней словам особое, повышенное эстетическое значение, с другой — война все спишет, все зачтет и оправдает, как ни пиши. Вопрос о художественной несостоительности многоного тогда напечатанного кажется неделикатным и постыдным, однако он возникал и в ходе боев. Зенитчик Павел Коньков пишет Твардовскому: «Как много выпускается «литературы-халтуры...»¹. И это не единственное от солдат-фронтовиков письмо с подобными упреками. Как, откуда могла появиться на фронте халтура? Ведь по условиям военного времени за это могло последовать суровое наказание.

Знаменательную оговорку делает в своей статье бывший военный художник студии им. Грекова Б. Неменский: «Мы... были на фронте чем-то вроде военных корреспондентов»², однако «в задачи студии не входило обслуживание конкретных (как у газетчиков) сегодняшних нужд пропаганды. Фактически мы были нацелены с самого начала на фиксацию явлений Отечественной войны, их осмысление для будущего, для истории. Это вытекало из самой сути этого вида искусства. Конечно, мы не только не хотели, но и не могли уйти от сегодняшних сиюминутных задач пропаганды»^{2а}.

Обслуживание нужд пропаганды... По нынешним временам это звучит непростительным грехом и даже преступлением. Но тогда многие приняли это как высокий долг и даже призвание. Все тогда было пропагандой — и репортаж, и очерк, и статья, и драма, и проза, и поэзия. Вот что пишет критик наших дней, не видевший войны, о тех далеких днях: «Что интересно: поэты «сороковых» в своих стихах были менее подвержены декларативности, чем поэты в послевоенную пору, подчас впадавшие в обнаженную публицистику... Даже в экстремальных условиях шла работа в самой поэзии, она обладала свойством филигранно обработанного камня»³.

Итак, какой широкий разброс оценок: «халтура-литература», «обслуживание пропаганды», «филигранно обработанный камень». Работа на победу, активная, мобилизующая роль искусства — вот главное в культуре военных лет, считает исследователь Л. В. Максакова. Откровенная заданность? Да. «Но эта «заданность» искусства, диктуемая военной действительностью, ни в какой мере не умаляет огромного культурного и духовного богатства, созданного в военные годы.

В разгар войны были созданы произведения, не утратившие и поныне своей художественной ценности, произведения мирового значения»⁴. С этим трудно не согласиться, однако не заслоняется ли тут шедеврами то, что не выдержало проверку временем, не упрощается ли реальная картина литературного процесса?

Чего ждал от журналиста или писателя фронтовой читатель? Прежде всего, пишет Л. В. Максакова, он ждал «слова правды, моральной поддержки, объяснения справедливости правого дела»^{4а}. И литература стала голосом, летописью войны, документом времени, она доносила до него суровую правду сражений, она заряжала его мужеством и верой в победу. Однако по давней (еще с писаревских времен) традиции Л. В. Максакова противопоставляет этой служилой, подвижнической сло-

весности изысканность слога, литературные красавицы и т.п. (как будто их было в избытке!). Кстати, это противопоставление станет едва ли не главным в «приподнимании» на эстетические высоты всего, что относили к «документам времени». По тому пафосу, с которым пишет Л. В. Максакова об этих «документах», создается впечатление, что фронт — это идеальная среда для самореализации художника. Как положительный факт отмечается, что для писателей «работа во фронтовой печати стала основной»^{4б}, что их книги до выхода в свет отдельными изданиями «печатались в центральной и фронтовой прессе». И это вызывает настоящий восторг исследователя: «Подобного явления в истории еще не было»^{4в}.

Конечно, годы Великой Отечественной войны — это самый «газетный» период существования русской литературы. Но стоит ли восторгаться тем, что «газета определяла стиль, форму, характер литературной деятельности»^{4г}? Если писали все, что требовала редакция? Писали в таких условиях, которые вообще противопоказаны для творческой работы? «Писатель и поэт, — констатирует Л. В. Максакова, — шли по горячему следу событий»^{4д}, для них «конкретный факт становился темой поэтического произведения»^{4е}. Сама газета активизировала поиски нужного слова, и «чем сильнее было у писателей желание подчинить свое творчество боевым задачам дня, чем глубже осваивался и осмысливался ход и опыт войны, тем стремительнее вырастал литератор как художник»^{4ж}.

Все вроде бы так. Но суть дела в особенностях таланта, а не во внешних обстоятельствах: он может стремительно вырасти и вне войны, и вне газеты. М. Шолохов писал в 1943 году: «Конечно, против врага надо стрелять и статьями, и очерками, но если уж нам, русским писателям, выйти на поле боя, то мы должны ударить тяжелой артиллерией нашего искусства. Я знаю, создание такого крупного произведения потребует времени, и тяжелая артиллерия может прийти к огню, когда враг уже будет разбит»⁵. От журналистской горячности предостерегал своих корреспондентов и А. Твардовский. Не торопитесь писать стихи, советовал он фронтовому поэту Т. Иванову, «только для того, чтобы послать в газету, а для «самопроверки» погодите до того момента, когда вам писать захочется неотложно, независимо — для печати или нет. Тогда пишите. Это первое условие литературного творчества, чтобы не внешняя, а самая внутренняя причина толкала к нему»⁶, (самому Твардовскому исполнить этот толстовский завет и не удавалось, и

не давали). Газета была как раз этой внешней причиной, которая нередко заглушала побуждения внутренние.

Приняв армию и фронт как родную для него стихию (наравне с деревней), Твардовский пишет своему другу Исаковскому с финской войны: «Разве так важно, что поэт территориально не на фронте?»^{6а}. Можно и в тылу написать такие вещи, которые могут стать как бы частью фронтовой действительности, что и случилось с песнями Исаковского. Полгода спустя он вновь подступает к этой мысли, попутно оценивая свою поэтическую работу на фронте: «То, что ты видел в печати из моих стихов, — это случайные и не лучшие, конечно, вещи. 2–3 стихотворения я написал здесь более подходящих. Но, само собой, все это делается в спешке и под углом прямой газетной задачи. А — буду жив да здоров — после войны напишу что-нибудь»^{6б}. В мае 1942-го у него звучит тот же мотив недовольства собственной газетной продукцией: «Балладу о Москве» — не суди. Это газетная штука, скорее всего то, что в основе ее лежит, — мною не поднято поэтически»^{6в}. В декабре 1943 года он пишет Исаковскому поразительное по откровенности письмо, которое могло бы скорректировать восторженный пафос Л. В. Максаковой: «Живу я, Миша, скучной трудовой жизнью <...> Пишу, но мало радуюсь написанному. Порой очень одиночно на душе, кажусь иной раз себе таким умным, что и поговорить не с кем: все дураки вокруг. Вроде того получается. А проще сказать — устал. В сущности, третий год я пишу как линотип, ничего, кроме неприятностей, от начальства не последовало за сей период. Не то, говорят. А я знаю, какое это «то» требуется, да не выходит у меня то «то». Однако дух мой бодр и готов к новым длительным испытаниям»^{6г}. Под стать этому и другое письмо, написанное в июле 1944-го. Оно приоткрывает нам внутренний мир поэта, работающего во фронтовой газете, освещает такие глубины души, куда не проникнет взгляд стороннего наблюдателя. Испытывая необыкновенное счастье оттого, как стремительно освобождают родную землю наши войска, Твардовский признается: «Я, может быть, и не в силах сейчас же найти для всего этого соответствующие слова выражения на бумаге, я пишу всякую газетную всячину, но это меня даже не удручет сейчас. Я к тому, что период этот иногда меня настолько замордовывал физически, что не было сил собраться написать даже жене. Поверь, что это так. Я только последние дни немного осел на одном месте, а то $\frac{3}{4}$ суток проходили на колесах. И это бы ничего, если б не требовалось писать в газету, иногда в состоянии предельной усталости. На-

пишешь то, что в номер безотлагательно, а потом уж и сил нет писать что-либо... Мои личные записи очень скучны»^{6д}. Под этими строками мог бы подписаться каждый, кто думал и говорил одно.

Однако для пишущих на «священную» тему подобные психологические детали не важны, сама тема задает определенное направление мысли: «Работа в газете обогащала писателей, позволяла наладить тесный контакт с читателями, давала величайшую радость почувствовать важность своей работы»⁴³. А о том, что, помимо всего, и обедняла, и мешала, и ограничивала в выборе жанров, тем и героев, говорить не принято. Тогда чем объяснить весьма неутешительные итоги газетной работы? «Спустя десятилетия, — признает Л. В. Максакова, — многое из созданного в те годы может показаться и однозначным, и излишне прямолинейным»^{4и}.

Каким было реальное положение писателя на фронте? Какие задачи ставил он перед собой: сиюминутные, пропагандистские, летописные или художественные? Может быть, тут случались всевозможные пересечения? Как могли подружиться факт и вымысел, конкретный случай и обобщение, реалистическое и символическое? Естественно, великую войну невозможно запечатлеть и смоделировать подручными, наивно-описательными средствами. С грозной стихией войны мог справиться только реализм высшего порядка, реализм с такой же мощной огласовкой, как и сама война. Поиск адекватных ей художественных средств начинается с первых шагов войны.

Выступая в декабре 1941 года на совещании писателей и редакторов армейских газет Юго-Западного фронта, Твардовский так сформулировал свою творческую стратегию: «Мы думаем над тем, как работать лучше, чтобы перо приравнять к штыку. У меня сложилось такое убеждение, что нужен особый метод работы поэта на фронте, особый метод того искусства, которое ставит непосредственной задачей мобилизовать массы <...> Стих должен быть сейчас лучше, чем в мирное время, он должен быть горячее, он должен быть задушевнее... В момент горячего боя может быть создано такое произведение, которое будет жить долго»⁷. Для годов войны подобная установка редкостна, потому что все упивали на будущее: потом напишем свое, настоящее, а теперь только то, что требуется. Мобилизующий, но горячий и задушевный стих — вот чем предлагал Твардовский ответить на запросы фронта. Да и чем иным, если не словом сердца и духа, мог писатель оказаться нужным воюющему народу? Воюющий человек остается человеком, и ему претит

агитационно-пропагандистская «сухомятка», как позднее скажет Твардовский. Теми же помыслами ответила на великую беду русская православная церковь. Митрополит Сергий в своем Послании писал: «В то время, когда Отечество призывает всех на подвиги, недостойно будет лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается, малодушного не ободрить, огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить о долге и о воле Божией»⁸. Однако подобные помыслы способны быть действенными только на высоте подлинного искусства и святой сердечной молитвы.

Не чуяясь газетной черновой работы, хорошо зная все, что появлялось во фронтовой печати, Твардовский не обольщался ценой написанного. Он понимал, что многое делает «не так, как хотелось бы»: фронтовая обстановка и постоянная спешка не позволяют писать иначе. Однако многое, что он сдавал «с колес» в очередной номер, с интересом читается и теперь. Его статьи и очерки, полудневниковые записи содержат в себе нечто большее, чем скоропреходящая злоба дня. Что же касается суровых оценок газетной поденщины, то это следствие суровой требовательности к себе, крик писательской совести, болезненно реагирующей на разрыв между словом и делом. Доходило до того, что он хотел сменить перо на винтовку, а редакционный вагон на солдатский окоп. Он пришел в газету, не рассчитывая на то, что на фронте все простится и спишется, он пришел вести «свою войну» — стихом и словом.

Его поэма «Василий Теркин» рождалась, по собственному признанию, из потребности армии в народном герое, который «был бы олицетворением и удачливости, и веселости, и жизнерадостности»⁹, а также из неотступного желания помочь фронту. Еще до прибытия в «Красноармейскую правду», выступая 22 июня 1942 года на заседании Военной комиссии ССП, Твардовский сделал любопытное и, казалось бы, странное заявление: «Поэма эта к моей газетной работе на фронте отношения не имеет»^{9а}. Как же так? Ведь вся поэма (за исключением одной главы) будет потом напечатана в «Красноармейской правде». Однако поэт знал, что говорил. «Книга про бойца» оставалась зоной его творческой свободы, где никто ему был не указ, где он оставался полновластным хозяином: и заказчиком, и исполнителем, и — вместе со всеми — читателем. Его корреспондентская работа, естественно, подчинялась планам редакции и указаниям начальства (хотя и тут «нажать» на него было сложно), а вот с поэмойправлялся только он сам, никому не дозволяя заходить за проведенную им черту.

В понимании долга писателя, самой сути писательской работы на фронте четко наметились два подхода. Одни считали, что надо оперативно и незатейливо писать о сиюминутно проходящем, соотносясь с ним на уровне призыва, лозунга, заметки, репортажа (и таких было большинство). Другие, напротив, были уверены, что грохот орудий не должен заглушить пение муз. Примечательно, однако, что даже у крупных писателей нет-нет да и мелькала такая вот мысль: на фронте, дескать, не до искусства, самое главное — успеть отозваться на события, поднять в атаку, назвать отличившихся, заклеймить врага. В ходу было убеждение: для газеты, для простых солдат нужно писать иначе, чем для себя, для искушенных. По наблюдению И. Эренбурга, написанное на фронте четко разделялось на «чистую литературу» и прочие материалы, которые «безусловно полезны для фронта»^{9б}. Однако писатели-газетчики, по его мнению, не утруждая себя, «переносят в армейскую печать профсоюзный язык, язык социалистического соревнования и пишут о войне, как писали о выполнении плана. У них готовые фразы»^{9в}. Насколько полезными могли быть подобные писания?

А. Сурков вообще считал мастерство поэта чем-то вычурным, излишним, вредным и чуждым окопному солдату: «Есть материал, при котором виртуозность и изощренность не помогают, а мешают раскрытию темы, в которой игра в аллитерации, сложные метафоры, виртуозная рифмовка и прочее кажутся кощунством. Суровая правда воинского подвига народа — не материал для поэтического обыгрывания, манерничания, игры в слова»¹⁰. Столь суровое, аскетически-утилитарное понимание литературы о войне явилось прямым отражением официальных установок. «Требования фронта, — заявил критик Е. Крекшин, — заставили заговорить о вещах сугубо практических»¹¹. Согласно этим требованиям, «задачи непосредственной политической работы были главными, они отодвигали на второй план чисто литературные задачи»^{11а}. Критик безоговорочно убежден: «Все, что писалось на месте событий, только конспекты будущих книг»^{11б}. Едва ли не благородным подвигом писателя считалось, если он «всегда готов был поступиться художественной завершенностью во имя того, чтобы слово работало оперативно и безотказно, как оружие в грозный час и день»¹³. Противопоставление злободневного и вечного, «Софии и землянки», высокого искусства и газеты, служащей «на подхвате», было типичным для годов войны (впрочем, как и не различение). Тот же И. Эренбург подчеркивал: «Писатель дол-

жен уметь писать не только для веков (как будто этого было в избытке. — В. А.). Он должен уметь писать и для одной короткой минуты, если в эту минуту решается судьба его народа». Предпочтение, конечно же, отдается минуте. Но в таком случае и написанному счет идет на минуты: едва успев прозвучать, слово умирает вместе со вчерашними новостями. В масштабном литературном потоке военных лет, как и во все другие времена, немало было скороспелых поделок, журналистского ширпотреба. Высокие цели, благородные помыслы, быть может, извиняют в наших глазах подобные писания, но даже в те годы они не оставались вне критики. В широко известном докладе «Отечественная война и советская литература» Н. Тихонов отмечал: «Язык литературных произведений редко производит впечатление той свежести и той легкой ясности, которая так пленяет в классиках»¹⁴. Слишком много во фронтовых писаниях словесной руды, говорил он по завершении войны, как-то так оказалось, что «мир современного человека богаче, чем мир образов... язык ярче, чем язык стиха»¹⁵.

Твардовский, будучи фронтовым корреспондентом, прекрасно понимал, что у поэта и газетчика разные уровни аккредитации: «Можно быть штатным комиссаром, штатным редактором, но штатный поэт — это ужасная вещь, и нужно, по-моему, ставить себя в такие условия, когда задания касаются только таких областей, в которых обязательность возможна»¹⁶. По сути дела он поднимал немыслимый и крайне опасный для военного времени вопрос — о свободе творчества, о правде делать не то, что прикажет редактор, а то, что диктует писателю талант и совесть. Замышляя поэму о народном герое, он видел его своим подобием: Теркин «совершенно свободно высказывается обо всем, — ему незачем поступать иначе»^{16а}. Этую свободу взял себе за правило и сам Твардовский.

Словесное искусство — не скромный репортаж о дозволенном. Фронтовая реальность многослойна, предельно динамична, эмоционально обжигающая. Она требует отзывчивого, выразительного, насыщенного смыслами слова. Служебное, безыскусственное слово остается в тени событий, хотя и называет их. А истинно поэтическое, изобретенное хранит их в себе вечно, как «Слово о полку Игореве», как «Полтава» и «Бородино», как, надеемся, будет хранить в себе Великую Отечественную «Василий Теркин».

О военных стихах Твардовского (даже периода финской кампании) всегда писали иначе, чем об общефронтовом стихотворном потоке. Злободневная тема в них, отмечал Д. Горбов,

«нашла выражение истинно поэтическое, без сколько-нибудь существенных уступок соблазну «хоть как-нибудь» пропеть то, чем полно сердце»¹⁷. Оглядывая все написанное Твардовским за две войны, Д. Данин приходил к тем же оценкам: «В нашей поэзии ни в дни войны, ни в дни мира никто не писал о войне с такой естественностью и свободой, как Твардовский»¹⁸.

Подлинное художественное произведение говорит само за себя, ему не требуются никакие событийные подпорки. Поэма «Василий Теркин», при всей простоте и доступности содержания, полна неожиданностей. Во-первых, эта поэма о войне не отразила ни одного великого сражения, не назвала ни одного выдающегося полководца, ни Главнокомандующего. Во-вторых, главы ее не следуют по пятам войны, а нередко выступают эмоционально-смысловым контрапунктом наших побед или поражений. В-третьих, в поэме почти ничего не утверждается безоговорочно и прямо, все поступки и размышления в ней вариативны, что дает неограниченную свободу для аналогий и домыслов. Наконец, поэма эта не столько о войне, сколько о народе и его судьбе, о России и ее бытии в мире, не только о великой Победе, но, прежде всего, о великой цене Победы, о тех неизмеримых жертвах, которые положил русский народ на весы истории. Написанная на войне и про войну, «Книга про бойца» антивоенна по своему пафосу, каждое ее слово работает «ради жизни на земле».

«Василий Теркин» — отнюдь не сермяжная, безыскусно информационная, агитирующая речь. Это настоящий праздник поэтического слова! Сколько тут выдумки, остроумия, сколько голосов, красок и запахов жизни, какое разнообразие технических приемов (строфика, ритм, рифмы), какое виртуозное владение интонацией и стихом! Это вроде бы и не литература, не затвердевший жанр, а живой разговор, песня и плач, инвектива и молитва, призыв и утешение, исповедь и патетика и т.п. Но именно этот отказ от литературщины, от готовых, захватанных приемов художественности позволил Твардовскому создать истинно художественное произведение, ставшее в один ряд с великими литературными творениями.

Поэма повернула нас к духовным национальным истокам и к языку народа. Острее многих отреагировал на это русский писатель-эмигрант Иван Бунин. Именно он первым высоко оценил не «пользу», а «красоту» поэмы — ее высочайшую художественность. В открытке, посланной Н. Телешову (1947 г.), он писал: «Это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая легкость, точность во всем и какой нео-

быкновенно народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова!»^{1a}.

О том, как Бунин читал «Василия Теркина», есть неоценимые свидетельства его литературного секретаря, писателя Л. Зурова. Стареющий и больной Бунин, при всем его злом скепсисе по отношению к советской литературе, был изумлен и обрадован: «Настоящая поэзия, такая удача бывает редко. Какие переходы. Талантлив. Подлинный солдатский говор. А для поэта это самое трудное <...>

Не оценят, не почувствуют, — говорил он. — Удивительная книга, а наши поэты ее не почувствуют, не поймут. Не поймут, в чем прелесть книги Твардовского. Да и откуда им знать? Разве они переживали что-либо подобное? Ведь они ни народа, ни солдатской речи не слышат. У них ослиное ухо. О русской жизни не знают и знать не хотят, замкнуты в своем мире, пытаются друг другом и сами собою.

Вот вы услышите, скажут: «ну что такое Твардовский?.. Да это частушка, нечто вроде солдатского раешника». А ведь его книга — настоящая поэзия и редкая удача. Эти стихи останутся. Меня обмануть нельзя»¹⁹.

Как в воду глядел Иван Алексеевич, мало в чем обманулся. Судьба поэмы довольно странная: огромный поток читательских писем (как правило, восторженных), многочисленные статьи и монографии и три-четыре главы в школьном изучении (при весьма застарелых и скучных толкованиях, как будто намеренно отвращают молодежь от этой великой заповедной книги).

Знаменательно: первым читателем, отзавшившимся письмом на поэму, был... Теркин, только Виктор Васильевич, командир артиллерийского взвода на Западном фронте. Надо признать, многие читатели оценили «Книгу про бойца» по-бунински. Ни одно произведение о войне не имело такой огромной и долговременной почты, как «Василий Теркин». Она так обширна и содержательна литературоведчески, что требует отдельного разговора. Фронтовики живо отзывались на каждую главу, предлагали новые сюжетные повороты, размышляли о жизни и литературе, открывали душу автору. Это подвигло Твардовского признать: «Поэта на свете нет без того, что есть какие-то сердца, в которых он отзывается»²⁰. Однако «Василия Теркина» никак нельзя назвать массовой литературой — это литература народная, это наша высокая классика.

Немало писали о секретах «простого стиля» Твардовского, о его приверженности традициям. Но главный секрет — это глубина

бинная народность, умение достигнуть максимального поэтического эффекта минимальными средствами. По главным своим характеристикам поэма «Василий Теркин» — произведение неоспоримо новаторское. Твардовский сделал все, чтобы форма, сам стихотворный текст поэмы не мешал читателю общаться с героем и автором, чтобы естественно, без умысла и умничания вести разговор о самом главном — о жизни и смерти, о доме и матери, о прошлом и будущем, о войне и мире, о тяготах и надеждах и т.п. Мы ведь не замечаем воздуха, которым дышим, не видим света, который помогает нам все различать, не ценим обыкновенную воду, без которой и недели не протянуть. Что в них особенного? Все обыкновенно и просто. Вода у него холодная, пища добрая и горячая, шутка немудрая, женщина-мать заботливая, правда сущая и горькая, сон сладкий, стихи понятные. И все это не декларативно, хотя и программно. Война заставила вернуться к первоосновам бытия, открыла человека во всей его телесности и духовности, вырвала празднословный язык литературщины и вооружила поэта словом добра и правды, так необходимым народу «в дни беды и в дни побед».

Эстетика литературы о войне представляется многим эстетикой прямого называния событий и переживаний. Однако из прямого называния поэзия не возникает. Всякий раз поэту необходимо было угадать это толстовское «чуть-чуть», за рамками которого либо фактография, либо угнетающий натурализм, либо неуместное формалистическое лихачество. А угадать это «чуть-чуть» дано лишь таланту. Всем существом своим Твардовский почувствовал себя призванным для исполнения миссии «певца во стане русских воинов». И честно исполнил эту миссию, написав «Книгу про бойца».

Многие выдающиеся произведения о войне написаны либо по ее завершении, либо много лет спустя. «Василий Теркин» создавался не только во время войны, но и на войне. В нем все многоголосье войны: зарева и гулы сражений, дружеские беседы и властные команды, беззвучный ропот сердца и взрывной солдатский хохот, победные салюты и прощальные залпы, молитвы и проклятья, горделивое ликованье освободителей и горький плач солдата-сироты. И во всем этом потрясающая реалистическая достоверность, добросердечная поэтизация всего, из чего состоит «не война, а просто жизнь». Фронтовой реквизит почти с документальной точностью и одновременно изящно и гибко ложится на страницы поэмы, будто нотные знаки на стане. Но самое убедительное и удивительное в этой

поэме о войне — это разнообразие и глубина переживаний, душевных движений, поступков и жестов, незаметность переходов от плача к патетике, от прозы быта к героике, от локальных зарисовок «окопной правды» к широкохватным, с высоты птичьего полета, картинам величайшей мировой войны, занявшей полсвета.

Все последние десятилетия, вплоть до вчерашнего дня, не смолкали разговоры о том, будет ли что-то написано о Великой Отечественной, равное «Войне и миру» Толстого. В недавней заметке с характерным названием «Без «Войны и мира» С. Михайлов, информируя о круглом столе по военной литературе, в частности писал: «Большинство участников диалога сошлись на мысли, что «Войны и мира» о Великой Отечественной войне еще не написано. Да и стоит ли ожидать появления такого сиквела?»²¹ Не стоит. Ибо равных не бывает и не должно быть. А вот равновеликое, ответившее на запросы своего времени, появиться может. И оно написано по горячим следам войны. «Василий Теркин» Твардовского — не только ровесник Победы и память о «днях годины горькой», но и духовный завет будущим поколениям свято беречь Родину, быть ответственными «за Россию, за народ и за все на свете», не сдаваться перед бедами и с надеждой смотреть в будущее. Красота и польза в этой поэме породнились навечно...

¹ Твардовский А. Василий Теркин (Книга про бойца). Письма читателей «Василия Теркина». Как был написан «Василий Теркин» (Ответ читателям) М., 1976. С. 279. ^{1a} С. 348.

² Неменский Б. М. Военный художник // Советская культура в годы Великой Отечественной войны. М., 1976. С. 106. ^{2a} С. 107.

³ От имени России. Диалог С. Луконина и О. Наровчатовой о фронтовой поэзии // Литературная газета. 2005. 6—12 мая. № 19. С. 8.

⁴ Максакова Л. В. Культура Советской России в годы Великой Отечественной войны. М., 1977. С. 152. ^{4a} С. 154. ^{4б} С. 158. ^{4в} С. 209. ^{4г} С. 158. ^{4д} С. 172. ^{4е} С. 173. ^{4ж} С. 160. ^{4з} С. 160. ^{4и} С. 207.

⁵ Шолохов М. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1980. Т. 8. С. 128.

⁶ Твардовский А. Т. Письма (1932—1970) // Твардовский А. Т. Собр. соч.: В 6 т. М., 1983. Т. 6. С. 16. ^{6а} С. 337. ^{6б} С. 339. ^{6в} С. 348. ^{6г} С. 350. ^{6д} С. 350—351.

⁷ Цит. по: Спивак А. И. Советская поэзия периода Великой Отечественной войны. Львов, 1975. С. 23—24; 188.

⁸ Цит. по: Платонов О. Бич божий: эпоха Сталина. М., 2004. С. 138—139.

⁹ О войне, о литературе, о себе... // Вопр. литературы. 1975. № 5. С. 228. ^{9а} С. 229. ^{9б} С. 239. ^{9в} С. 241.

¹⁰ Литературная газета. 1945. 17 мая.

¹¹ Крекшин Евг. Писатели на фронте // Новый мир. 1941. № 2. С. 232. ^{11а} С. 234. ^{11б} С. 237.

- ¹² Резник О. Художественная публицистика в годы войны // Новый мир. 1945. № 11–12.
- ¹³ Эренбург И. Музы в походе // Литературная газета. 1989. 26 апреля. № 17. С. 301.
- ¹⁴ Звезда. 1944. № 2. С. 103.
- ¹⁵ Тихонов Н. Перед новым подъемом. Советская литература в 1944–45 гг. М., 1945. С. 45.
- ¹⁶ Вопросы литературы. 1975. № 5. С. 230. ^{16а} С. 231.
- ¹⁷ Горбов Д. Военные стихи А. Твардовского // Новый мир. 1942. № 11–12. С. 252.
- ¹⁸ Данин Д. Черты естественности // Литературная газета. 1946. 25 мая. С. 12.
- ¹⁹ Цит. по: Бабореко А. Бунин о Твардовском (Новые материалы) // Приднепровье: Проза. Стихи. Литературная критика. Смоленск, 1962. С. 285.
- ²⁰ Твардовский А. Т. Собр. соч.: В 6 т. М., 1980. Т. 5. С. 305.
- ²¹ Михайлов С. Без «Войны и мира» // Литературная газета. 2005. 25–31 мая. № 21–22. С. 8.

А. Б. Ботникова
СЕГОДНЯ О ТОЙ ВОЙНЕ
(«Траектория краба» Гюнтера Грасса)

Гюнтер Грасс относится к тому поколению, которое еще застало войну, хотя и отчасти, в самом конце. Людей из «поколения вернувшихся» осталось совсем немного. Но и по сию пору война неизменно остается с ними, не отпускает. Переожитое все еще требует осмысления, несмотря на прошедшие годы. Первые послевоенные опыты художественного изображения войны в Германии были связаны с деятельностью известной «Группы 47» и, как правило, изображали войну исходя из индивидуального (чаще солдатского) опыта. Человек, втянутый в мощный водоворот войны и не способный из него выбраться, человек — жертва обстоятельств, не умеющий доискаться до причин и не пытающийся это сделать, обреченный и примирившийся с ролью жертвы, — таков герой первых созданий «поколения вернувшихся».

В середине 90-х, особенно в связи с полувековым юбилеем окончания войны, немцы начали трактовать ее события уже не столько с позиции личности, сколько с позиции всей нации, как трагедию всего народа. Стали появляться многочисленные свидетельства о беженцах, как тех, кто оставлял насиженное место по собственной воле, так и тех, которых выгоняли из дома и родного края. Жертвой стала восприниматься не только отдельная личность, но и вся страна, на долю кото-

рой выпали тяжелые испытания. Возникла опасность смещения акцентов. Упор на трагизм положения народа в последние годы и месяцы войны в известной мере оказывался питательной почвой для реваншистских настроений разного рода. Грасс очень остро ощущает эту опасность.

Обращаясь в своих последних произведениях к теме войны, он решает эту тему по-своему, пишет о войне, как обычно, с той видимой всем ироничностью, за которой, однако, скрываются горькие раздумья. Писатель тоже помнит и о разрушенных бомбёжками городах, и «о страданиях беженцев из Восточной Пруссии: о потоках людей, движущихся по зимним дорогам на Запад, о закоченевших трупах в сугробах, о людях, погибавших в придорожных кюветах или в проломленном льду, когда замерзший залив Фришес Хафф начинал крошиться под бомбами или трескаться под тяжестью перегруженных конных повозок...», когда «сотни людей срывались с места, гонимые ужасом мести, который несли русские, и шли по бесконечным снежным полям... Беженцы... Белая смерть...»¹. Как и другие, он знает, что такое было. Но знает и другое, что неотвратимый бег времени требует иногда дать «задний ход», остановиться, чтобы заново осмыслить и понять все.

В 2002 году Грасс опубликовал свой роман «Траектория краха» (*«Im Krebsgang»*)², в центр которого поместил военный эпизод, хорошо известный в истории второй мировой войны, — гибель в самом ее конце, в январе 1945 года, огромного лайнера «Вильгельм Густлофф», потопленного советской подводной лодкой.

Этот эпизод — один из бесчисленных военных эпизодов — в равной мере может рассматриваться и как трагическое событие, принесшее гибель тысячам людей (большую часть которых составляли беженцы), и как торжество военной тактики и военного искусства советского подводного флота. Каждая из воевавших сторон вправе трактовать названный эпизод по-своему. И, скорее всего, делает это. Командиру подводной лодки Маринеско, в 1945 году торпедировавшей лайнер, посмертно было присвоено звание Героя Советского союза.

Обратясь к названному военному эпизоду и — больше того — поставив его в центр романного сюжета, Гюнтер Грасс менее всего склонен давать ему однозначное толкование. Позиция писателя в этом случае представляется весьма симптоматичной, прямо скажем, — знаковой.

Мотив тонущего корабля постоянно присутствует почти во всех романах Грасса. Он получает значение символа, многознач-

ного, как всякий символ, и не до конца разгадываемого, как все у Грасса³. Несомненно, что в нем заключено что-то для художника очень личное. Может быть, то, что все родные писателя чудом избежали гибели, хотя стремились попасть в число пассажиров последнего рейса «Вильгельма Густлоффа». Не случайно эпиграфом к роману поставлены слова: *in memoriam*. И, как всегда у Грасса, остается загадкой, призывает ли писатель помнить погибших на том корабле, или вообще помнить, чтобы не повторять ошибок прошлого.

Изображение катастрофы изобилует страшными подробностями. Торпедированный корабль накренился, спасательных шлюпок не хватает, на море шторм. Люди баражаются в почти бесполезных спасательных жилетах, кричат пронзительными или ослабевшими голосами. Плавающие на поверхности воды мертвые дети: «Все они падали с корабля головками вниз. Так они и застряли в своих громоздких жилетах ножками вверх...» (С. 160).

Однако Грасс склонен не столько жалеть погибших, сколько анализировать сложившуюся ситуацию, искать причины кошмарного происшествия и возможные его исторические и психологические последствия. Поэтому история потонувшего корабля, образуя смысловой центр повествования, не исчерпывает его фабулы. Сам писатель, устами рассказчика, склонен называть свое произведение «новеллой», видимо, памятая об известном определении новеллы как «неслыханного происшествия», данном Гете. Однако это, пожалуй, не более чем литературное кокетство: объем повествования, времененная протяженность действия, многообразие исторических отсылок и воспроизведение, хотя и частичное, судьбы трех или даже четырех поколений одной семьи, — это все признаки романного жанра.

Этот «роман», однако, — менее всего «эпос частной жизни». Писателя интересуют не отдельные человеческие судьбы, а историческая судьба всего общества. Он не стремится вникнуть во внутренний мир своих (впрочем, малочисленных) героев, не склонен объяснять мотивы их поведения, почти не обращается к характерным, «говорящим» деталям (Исключение составляют, пожалуй, лишь частые упоминания о седых волосах Туллы и ее знаменитая, пронесенная через всю жизнь трофеинная лиса). Изобразительный ряд уступает место аналитическому.

Противоестественная природа войны так же ясна немецкому писателю, как и авторам военной прозы в России. Однако акценты они расставляют по-разному. Русские (советские) пи-

сатели, даже те, кто наиболее жестко и честно писал о ней (Симонов, Грассман, Астафьев, Быков), относились к ней, говоря словами К. Симонова, «как к тяжелому, трудному, трагическому делу...»⁴, т. е. как к осмысленному деянию. В изображении войны русские писатели, каждый по-своему, но опирались на национальную традицию и, в первую очередь, на опыт Толстого. Судьба человеческая сопрягалась с судьбой народной, неповторимые индивидуальные характеры в неповторимости своей жизни выступали в то же время и как носители определенной исторической миссии. Практически во всех случаях изобразительное начало превалировало над рационально-аналитическим. В связи с этим акцент делался на индивидуальность человеческих судеб, а не на проблему.

В книгах немцев все по-иному. Может статься, в силу того, что война не была для этого народа общенациональным делом, ее художественное изображение иное. Немецкие писатели либо замечают лишь безысходный трагизм положения человека на войне, либо изображают военные события как воплощение абсолютного абсурда, в духе экзистенциалистской философии связывая его с общей абсурдностью состояния человека в мире.

На этом фоне роман Грасса выглядит по-особому. Писатель не замыкается на военных эпизодах, какими бы трагичными они ни были. Ему памятна и хорошо знакома «проза кирзовых сапог и портянок» (С. 118), да и кошмарную картину гибели «Густлоффа» он в состоянии представить себе и читателю во всех подробностях, равно как и трагические и жестокие обстоятельства, сопровождающие бегство на Запад огромных масс мирного населения. Но это для него — не главное. Он пытается нашупать первоначальные причины всех этих явлений, их исходные обстоятельства, а заодно и то, какое значение они имеют сегодня. Поэтому и возникает принцип «заднего хода» — «траектории краба», т. е. желание не рассказывать последовательно обо всех упоминаемых событиях, а использовать, как сказано в романе, «траекторию повествования, пролегающую как бы поперек хронологической оси, чтобы получилось нечто вроде того, как ползает краб, который, оттопырив клешни в сторону, имитирует задний ход, но, на самом деле, весьма бойко продвигается вперед» (С. 7).

Авторская мысль поначалу прочитывается с трудом. Мешает нарочито бесстрастная, скрыто ироничная интонация повествования. В иных случаях интонация кажется почти циничной. Трагизм ситуации открывается по-настоящему лишь в finale.

Грасс явно чурается прямого авторского слова, передоверяет повествование рассказчику, который не был свидетелем главного события, хотя в силу не совсем обычных обстоятельств и пережил его (роды у его матери начались во время обстрела лайнера). Сама по себе эта ситуация тоже настораживает своей необычностью. Занимаясь поисками начала всего, рассказчик лишь вскользь и мимоходом, как бы даже стесняясь, вспоминает об обстоятельствах своего рождения.

В случившейся центральной трагедии рассказчик, а вместе с ним и автор, менее всего склонен обвинять вражескую сторону. Напротив, он удивительно объективен, не забывая сообщить, что в гибели тысяч людей на продырявленном торпедами лайнере повинны не только русские подводники, но и само немецкое командование. После того, как первая торпеда попала в нос корабля, говорится в романе, «всем, кто отдыхал, жевал коврижки, дремал в койке и кто уцелел при взрыве, не суждено было выжить, поскольку капитан Веллер при первом же докладе о повреждениях приказал автоматически задраить все переборки носовой части корабля... Среди матросов и хорватских добровольцев, которыми пришлось пожертвовать, были как раз многие из тех, кто по аварийному расписанию должен был следить за организованной эвакуацией людей и спускать на воду спасательные шлюпки» (С. 151). Невзирая на часто встречающиеся в мемуарной литературе описания жестокости русских солдат по отношению к беженцам, Грасс не забывает упомянуть о том, как главная героиня повествования Тулла (Уrsula) Покрифке с новорожденным пробиралась через занятые советскими войсками территории и благополучно спасла себя и своего сына.

Впрочем, писателя интересует не столько война с ее трагическими (или героическими) подробностями, сколько ее отзвуки в сегодняшнем дне. Отсюда и «ход рака», желание дойти до начала, до исходной ситуации. Временной диапазон рассказываемого расширяется. Повествование ведется сегодня, но аналитическая мысль рассказчика стремится в прошлое, и лишь постепенно перед читателем возникает связная картина последовательности вспоминаемых или рассказываемых эпизодов. Для чего? По-видимому, чтобы показать неразрывность причинно-следственных связей. Повествование начинается в конце 90-х годов, когда рассказчик обнаруживает в Интернете переписку диспут двух молодых людей, занимающих полярные позиции, но одинаково заинтересованных судьбой злополучного корабля. Продвигаясь вглубь времени, рассказчик вынужден обратиться к событию 4 февраля 1936 года, когда недоучившийся студент-ме-

дик Давид Франкфуртер застрелил в Швейцарии нациста Вильгельма Густлоффа, которого затем официально объявили «мучеником» и в честь которого был назван злополучный лайнер.

Это обстоятельство, в свою очередь, заставляет рассказчика вспомнить о корабле — великолепном сооружении, построенным и оборудованным по всем к тому времени новейшим технологиям и со всей возможной роскошью: зимний сад, бассейн, фольклорный зал и пр. Вслед за описанием лайнера пришлось рассказать и о его использовании, а заодно и о демагогической политике нацистской организации «Сила через радость», приготовившей сначала корабль для «бесклассового» использования. Затем на нем был организован избирательный участок для австрийцев, якобы желающих воссоединиться с Германией, а потом его стали использовать в чисто военных целях. Так история корабля становится своеобразным зеркалом истории страны.

Однако писатель отнюдь не ограничивается чисто политической интерпретацией событий. На фоне истории лайнера прочерчивается и история семьи Покрифке, главным представителем которой является загадочная и любимая героиня Гюнтера Грасса — Тулла. Ее мы встречаем во многих произведениях писателя. Это она в семнадцать лет родит ребенка, случайно спасвшись на подошедшем миноносце сразу же после взрыва на лайнере. Это она с тех пор останется седой. Это она на всю жизнь сохранит восхищение лайнером «Вильгельм Густлофф», даже будучи уже членом СЕПГ и возглавляя на фабрике ударную бригаду. Это она будет рассказывать внukу о том, какое это было прекрасное начинание, чем полностью сбывает подростка с пути. Образ Туллы, со всей его противоречивостью и непонятностью, призван как бы символизировать собой саму Германию с ее запутанной и даже загадочной историей.

Дело, однако, не в немецкой истории. Из всего повествования явствует, что автор написал свой роман как предупреждение против чрезмерного углубления в прошлое. Память, при всей своей несомненной ценности, порой может сыграть и злую шутку. Некоторые факты немецкой (а, может статься, и не только немецкой) современности заставили его беспокоиться о будущем. Пробираясь сквозь дебри прошлого, нацистского и послевоенного, читатель лишь постепенно понимает, что для автора главным отнюдь не была гибель «Вильгельма Густлоффа», а то, чем она аукнулась в настоящем, в последние годы двадцатого столетия. Два споривших в интернете подростка, в сущности, — главные герои этой книги. Один из них — Конрад

Покрифке, внук Туллы и сын рассказчика, путем хитросплетений весьма абсурдной логики приходит к убеждению, что если бы Давид Франкфуртер не убил «мученика», не случилось бы и катастрофы с кораблем. Густлофф — убежденный и последовательный нацист, в его глазах приобрел черты невинно убиенного страдальца. Идея «бесклассового» лайнера завладела его умом. По сложной логике незрелого сознания, всю вину он начал возлагать на «международное еврейство». А посему выдвигает лозунг: «Германия для немцев». Его оппонент, напротив, держит в памяти кошмар холокоста и даже, будучи немцем, в виртуальной перепалке выдает себя за еврея. Эта перепалка, этот спор подростков в интернете, поначалу казавшийся вполне безобидным, заканчивается трагически. Один убивает другого.

Книга пронизана горьким чувством. Люди ничему не научились, потому что среди них всегда есть «вечно вчерашние». Роман заканчивается знаменательными словами: «Никогда этому не будет конца. Никогда» (С. 250).

Грасс — писатель совестливый и справедливый. Он знает, что ностальгические чувства иногда могут привести к аберрации и исказить действительную картину событий. Сколь бы прекрасным ни представлялось родителям Туллы их плавание на лайнере «Вильгельм Густлофф», рассказчик (да и автор) знают, что вся затея была лишь пропагандистской акцией, ничего общего с бесклассовым обществом не имеющей. И лишь незрелые юнцы способны воспринимать всю нацистскую затею серьезно. Это настраивает на осторожность в обращении с прошлым.

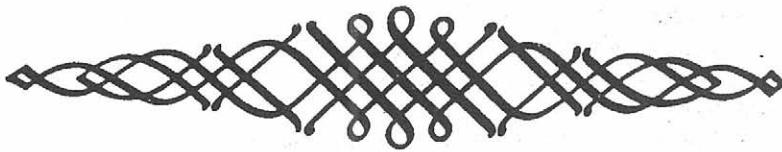
Книга Грасса, анализируя прошлое, призывает не предаваться ностальгическим воспоминаниям, а думать о будущем. Этот призыв художника представляется актуальным. И там, в Германии, и здесь, у нас.

¹ Grass G. Im Krebsgang. Eine Novelle. Göttingen, 2002. По-русски, видимо, правильнее было бы озаглавить роман «Задним ходом», поскольку буквальный перевод означает «Ход раком» и заключает мысль о медленном движении назад.

² Грасс Г. Траектория краба. М., 2004. С. 113. Далее страницы даются в тексте.

³ О символах у Грасса см.: Bernhardt R. Erläuterungen zu Günter Grass Im Krebsgang. Hollfeld, 2002. S. 102 u. f.

⁴ Симонов К. Разговор с товарищами. М., 1974. С. 74.



ЛИТЕРАТУРА В ДВИЖЕНИИ ЭПОХ

И. Антанаисиевич

О ПОСТМОДЕРНИЗМЕ, КОРОЛЯХ И КАПУСТЕ

Прогресс не составляет замены ошибочной теории точной теорией. А замена ошибочной теории другой, менее ошибочной.

Хавкинс

Несколько ерническое название и эпиграф никоим образом не означают игривого расположения автора или легкомысленно-поверхностного отношения к теме, отнюдь — автор далее обещает быть суров и ритористически сухопарен. Несколько неконвенциональное начало объясняется скорее робостью автора, осознающего, что тему он затрагивает крупную — не по званию, зубы острит на авторитеты большие и вообще «лезет не в свои сани».

На это автора обязало существующее ныне положение вещей в современной фольклористике, которое вернее всего можно охарактеризовать выражением из «Науки поэзии» Горация — *grammatici certant* (*грамматики спорят*) и которое долгое время является причиной множества дискуссий, полемик, открытого неудовольствия и даже призыва к какой-то своеобразной перестройке (*sic!*).

Налицо вопиющий разлад между «живыми», «полными дыхания времени» интердисциплинарными темами, которые на стыках, на границах наук, где и совершается «концептуальная революция»¹, и «свинцовой стагнации» «чистого» литературоведения, которое изредка обогащает полученная извне «инонаучная» энергия и эвристика. Обилие кавычек свидетельствует о горькой иронии автора, поскольку данная истина, увы, не нуждается в доказательстве. Да, действительно, интердисциплинарные темы бодро «разрушают» серую традициональность привычных теорий, щедро вводя россыпь новых понятий, терминов и методов, толкая классическое литературоведение к перерождению в гибридную массу философско-логико-эстети-

ко-этического и еще Бог знает какого направления. Особенно почувствовала (и прочувствовала) всю мощь таких изменений фольклористика.

Вообще, судьба фольклористики — как интеллектуального проекта эпохи романтизма — довольно своеобразна. Зародившись во времена интереса к национальным древностям, старинным мифологиям и народному духу, фольклористика к концу XX в. не только потеряла цель и перспективу. «Неожиданно» выяснилось, что никто толком не знает, что такое фольклор, каковы его специфические задачи и методы, к какому кругу дисциплин фольклористику следует относить и т. п. Было существующее жесткое разграничение академических дисциплин, фактически подчинившее фольклористику литературоведению не позволяло ей смешиваться с этнографией и антропологией, к тому же фольклористы занимались исключительно крестьянской словесностью, причем только теми ее формами, которым вменялся устно-поэтический характер.

В связи с вышеизложенным правомерно появление вопроса: какова эвристическая специфика такой фольклористики по сравнению с дисциплинами, изучающими средневековую литературу или древние мифологии, известные нам лишь благодаря письменной трансляции? К тому же традиционные для советской фольклористической школы попытки специализированного изучения поэтики и эстетики фольклора не вылились ни в какие фундаментальные исследования по социальной феноменологии и рецепции фольклорного текста в крестьянской среде, что делает релевантным безоговорочное применение этих и других литературоведческих концептов и методов к материалам массовой (и, в частности, аграрной) культуры. Так появился какой-то, с позволения сказать, «виртуальный фольклор», который априорно принадлежал некоему «виртуальному» народу.

Необходимость перемен, потребность в стабилизации привели к более или менее успешным теориям, которые базировались на методе деконструкции, включающей в себя как критику привычных критерииев, так и попытку разграничения фольклора и «не фольклора», а также деконструкцию ряда основополагающих фольклорно-этнографических концептов (народ, традиция и т.п.).

Но радикальный замах последних лет привел к тому, что фольклористика, да и литературоведение все чаще воспринимаются как отпочковавшийся сегмент философии, этнографии, антропологии, социологии, используют методы этих наук и, хотим мы это признать или нет, перестают удовлетворять собственные нужды, превращаясь в подсобный инструмент, иллюстри-

рующий при помощи литературы положения философской или социологической мысли. Не отрицая важности и нужности использования философских и других теорий и методов в фольклористике, тем не менее, разве не время позаботиться о собственных специфических методах?! Существуют ли они вообще, или фольклористика просто нуждается в их заимствовании из других научных дисциплин?

Логически определяя понятие специфичных научных методов, необходимых в исследовательской работе, нельзя забывать о взаимоотношениях между научно-теоретической практикой и той парадигматикой мысли, речевого мышления (на Западе говорят: «дискурсом»), которая жестоко определяет — сознает это исследователь или нет — самые формы и приемы, стратегию обращения с материалом. Очень часто этот вопрос не рассматривается никак, предполагая некий само собой разумеющийся ответ. На самом же деле, только перечисление методов, без учета состояния вещей в современной фольклористике, остается лишь списком неудобноваримых положений, созданных в угоду общим правилам.

Разрушение — речь, увы, доминирующая в конце одного столетия и в начале нового — дань увлечению теорией деконструкции Ж. Деррида, которая, как и все радикальные теории, обладает фатальным очарованием. Преодолеть фатальность искушения нелегко, но нужно, потому что использование экстремально революционных методов при исследовании проблем (особенно тех, а их много в современной фольклористике, которые не имеют четкого научного ответа, но изобилуют множеством готовых, стереотипных) не дает каких-либо ощутимых результатов. Деконструкция свою прогрессивную историческую роль сыграла, деградировав в полнейшее отрицание номинации понятий, в апофатизацию сознания, в абсолютное молчание о целом мире и интеллектуальную западню для исследователей. Ничто больше не стабильно, все подвергается сомнению, отрицается и становится неупотребимым любой термин, требуя от исследователя множества оговорок и примечаний. Любая конкретно-фольклористическая работа требует от исследователя создания собственного рабочего *ad hoc* термина, что исследование превращает в такой энтилитет, где теоретическая часть поглощает конкретную, которая рядом с ней выглядит непривлекательным дополнением.

Да, современная западная литературно-историческая и фольклористическая мысль немыслима без критики М. Хайдеггером «метафизики», Ж. Деррида — «логоцентризма», а Х.-Г. Гада-

мером — «эстетического сознания» (и связанного с ним «историзма»). Но нельзя забывать того, что в русском литературоведении критика «классической rationalности» — «преодоление символизма» произошла много раньше, чем на Западе: уже в 20-е годы. Прежде всего это относится к наследию М. Бахтина. Он не только опередил на десятилетия западных философов критикой «теоретизма» и «гносеологии всей философской культуры XIX—XX веков»², «абстрактного объективизма» в филологии и лингвистике, наконец, «монологизма» речевого мышления «всей идеологической культуры нового времени»³. Бахтин еще и дал пример оптимального синтеза философских и литературоведческих методов, где ни один не идет в ущерб другому, где создается то новое парадигматическое пространство сознания и познания — сфера «понимания», — которое и позволяет по-настоящему выйти за пределы когитальной установки сознания, чего западный постмодернизм «разрушения» дать все-таки не может.

Благодаря постмодернизму трансцендентальный субъект перестал действовать «за сценой», объявив себя единственным автономным и вполне произвольным носителем всякой творческой точки зрения на мир. Но тем самым «классически идеал rationalизма» отнюдь не преодолевается, а именно оборачивается в двойника того же идеализма (как уместно здесь выражение Ивана Карамазова о черте, но «с другой рожей»!). В результате фольклористика оказалось в капкане собственного «самоедства», будучи вынуждена каждый раз бороться со всей предыдущей суммой традиционных взглядов, утверждая буквально в каждом исследовании свой философско-теоретический взгляд на абсолютно все базовые основы, вплоть до азов, не боясь во внимание — необходимо ли это в данном конкретном случае или нет.

Учитывая опыт М. Бахтина, оптимальным выходом из сложившейся ситуации было бы, как нам кажется, не отрицание, а включение в исследования всей суммы предыдущих знаний, но на качественно новом уровне, где доминирующими было бы не устранение «лишнего», а анализ его в новом контексте.

Научные исследования не должны совершать прыжки в «сверхлогику» — они должны нарушать стереотипы, но не с помощью вульгарной деструкции, а через различия, позволяющие мыслить, не нарушая законов тождества, противоречия и исключенного третьего. А это значит активирование давно известного принципа полиферации Виткинса, при котором парадигма улучшается, но не меняется, создавая своеобразный *idem reg*

idem, где доказательство какого-либо положения идет посредством того же самого положения, но псевдоморфозно измененного, когда культурная форма внешне остается неизмененной (или рождается снова в предыдущем виде), но, по сути, служит для выражения качественно нового содержания⁴.

Предлагаемый метод можно было бы определить как метод конверсии, как операцию, при которой из одного суждения образуется другое, качественно новое суждение, которое не отбрасывает первое, но оптимально его использует.

Еще в 1924 году М. Бахтин в споре с «материальной эстетикой» показал, что всякая специальная, частная научная логика и практика — это уже «вторая» логика и практика, которой пользуются внутри объемлющей ее общекультурной и пограничной, «первой» логики. То есть, когда наука замыкается в своей «научности», «ходит с границ»⁵, когда научные дисциплины «зацикливаются», паразитируя на какой-либо парадигме, заимствуя при этом «контрабандным» способом изолированные идеи и элементы из смежных гуманитарных дисциплин, — тогда начинается то, что М. Лифшиц, едко, но метко назвал «экклектическим двоемыслием»⁶. Особо актуальным данный вопрос становится именно сегодня, поскольку в фольклористике происходят изменения, при которых отдельные (не в смысле некие, а в смысле отрезанные от других) темы объявляются ключевыми и не только начинают претендовать на приоритетную роль, но и стремятся сыграть роль катализатора при создании «новых теоретических» положений.

Для того чтобы избежать «экклектического двоемыслия», необходимо не только изменить парадигму, но и увидеть последствия этой перемены и устремить их в практическое русло исследований. Изменение парадигмы означает не отказ от гносеологии, который завершенность парадигмы приобрел в Новое время в знаменитом декартовом *cogito* («Я мыслю...»), когда и возник особый тип мышления, именуемый «когитальным эстетическим сознанием»⁷. Это и введение в старые рамки так называемой «эпизации»⁸, что предполагает не только уже привычную замкнутость в собственном «космо- психо- логосе», а и момент онтологической интуиции, в той существенно бытийной форме, которую использовал Кант, говоря о *Einbildungskraft* — способе видеть, «чувствовать» мир вообще, а отсюда уже и мир в искусстве. Подобное интуитивное понимание истины отнюдь не предполагает отказ от дискурсивного мышления и не является противопоставление науки иррациональным возможностям интуиции, а представляет своеобразную (сопрягая методо-

логии и Х.-Г. Гадамера и М. Бахтина) герменевтически-диалогическую культуру мышления (парадигму).

Такая конкретная диалогичность «идеальна», то есть заключает в себе возможную полноту и предел стремлений, имеет целостный телос — то что Кант называл «незаинтересованным удовольствием», «целесообразностью без цели»⁹. Этот подход дает возможность рассматривать фольклористику из перспективы специфичного идеала, как геометрического — структурализм, так и функционального — в этом суть морфологии. Лишь с этих позиций использование нужных для фольклористики методов других наук будет и логичным, и оправданным, и предследующим определенные цели, а не только декоративным, украшающим текст в угоду «моде», причем в сам смысл используемых терминов весьма часто и не вникают.

Метод, который мы предлагаем, по сути находится по ту сторону альтернативы — или-или — и представляет собой не гибридное нетворческое сближение, которое подают под видом постмодернизма, а нечто являющее собой активное понимание-диалог (где «понимание» выступает новой относительной «гносеологизме» формой познания). Поэтому важным нам представляется вывод, следующий из данных критических рассуждений: именно фольклористическая проблематика открывает заманчивые перспективы для более тонкого — интегративного — подхода к описанию и анализу культурных явлений. Причем спор о том, является такое культурное явление фольклорным в традиционном понимании, или же постфольклорным (в понимании С. Неклюдова), или «не фольклором» (в понимании К. Богданова), или лингвофольклористикой (в понимании С. Толстой) и т.д., становится секундарным и не принципиальным.

Бессспорно, что единого (а единственного и быть не может) представления о фольклоре и фольклористике сегодня не существует. А повсеместное разрушение традиционных форм фольклора заставляет фольклористов внимательнее присматриваться к тем явлениям культуры, в которых ее традиционные аспекты проступают в инновативном облике. Будет ли описание таких маргинаций считаться фольклористическим, напрямую зависит не только от дескриптивных возможностей других гуманитарных дисциплин, но и от выбора метода, который подразумевает, что понимание фольклорного события (и события культуры вообще) не будет полным без учета различных социальных и идеологических уровней его рецепции (начиная от первичной аудитории текста и заканчивая его собирателями и описателями,

конструирующими предмет своей научной деятельности). Игнорирование любого из этих уровней является существенным промахом и в теоретико-методологическом, и в сугубо текстологическом смысле.

И еще... плохо это или хорошо, но в современной нам социальной действительности любая дисциплина неизбежно тяготеет к конструированию и декларированию своей научной идентичности. Естественно, что основанием для этого конструирования служит именно постулат о методологической и предметной специфике исследовательской работы: вряд ли большинство практикующих фольклористов согласится с тем, чтобы их профессиональная деятельность характеризовалась дисциплинарной маргинальностью и методологическим эклектизмом. Но так ли плох термин «маргинальность» в применении к фольклористике?

Конечно, теоретические споры о месте той или иной науки в общей системе гуманитарного знания, в конце концов, неизбежно сводятся к более или менее сколастическим построениям, но... признание фольклористики изначально пограничной, маргинальной сферой знания (или методом дескрипции), находящей свой предмет на периферии и пересечении разных наук — литературоведения, философии, антропологии, социологии, психологии, — позволяет и в теории, и на практике закрепить за наукой о фольклоре право на интердисциплинаризм, свободу от общеобязательных методов и эклектизм объяснительных моделей, освобожденный от «двоемыслия», причем эта фольклористическая «вседозволенность» будет являться конструктивным, а не деструктивным признаком. Признавшись, что занимается «ерундой», как иногда пренебрежительно характеризуют темы, интересующие современную фольклористику (забывая, что именно при помощи этих маргиналий — «ерунды» — исследуется коллективное бессознательное и тем самым создается возможность для решения важнейших онтологических и экзистенциальных вопросов), то есть признав фактически целенаправленное разложение привычных и незаметных форм повседневной жизни, фольклористика имеет возможность стать могущественным интеллектуальным инструментом для понимания современного общества.

Кстати, напоследок и о «капусте»: учитывая все эти моменты, нам кажется возможным не прибегать больше в фольклористике к тому, что Ювенал в своих «Сатирах» остроумно назвал *stambē geretīta* — подогретая капуста, то есть к давно потерявшему вкус и надоевшему блюду, которое выдают за со-

временный постмодернистский подход, хотя от постмодернизма он также далек, как и упомянутая капуста.

¹ Пригожин И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. М., 1986. С. 35.

² Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности (1922—1923) // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 79.

³ Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. С. 106.

⁴ Похожее правило, *circulis in difiniendo*, гласящее, что неизвестное должно быть определено известным, широко использовала средневековая логика. Если оно нарушалось, то это был *circulus in demonstrando* — круг в доказательстве — одна из грубейших логических ошибок, о которой необходимо помнить.

⁵ Бахтин М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. М., 1986. С. 56.

⁶ Лифшиц М. Мифология древняя и современная. М., 1980. С. 163.

⁷ Шевченко А. Проблема понимания в эстетике. Киев, 1989. С. 126.

⁸ Турбун В. Карнавал: религия, политика, теософия // Бахтинский сборник. М., 1990. С. 17.

⁹ Эстетика тогда — это буквально «чувственность», смыслополагающая интуиция Истины и Добра в аспекте Красоты. Эстетика в этом смысле есть онтология, самоценное и завершенное бытие.

Д. Л. Башкиров
РОД ДОСТОЕВСКИХ
НА ЗЕМЛЯХ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО
В XIV—XVI ВЕКАХ

М. В. Волоцкой не без достаточных оснований связывает родоначальников рода Достоевских с родом Ртищевых¹. Но, присмотревшись к его доводам, можно заметить, что все они основаны на близости Иртищевичей с князем Федором Ивановичем, потомком боровско-серпуховской княжеской ветви. Именно эта связь позволяет делать предположения по поводу происхождения представителей рода и до того знаменательного момента, когда они стали владельцами села Достоево в ряду других земель.

Можно утверждать практически однозначно — все, кто в разное время носил фамилию Достоевских, ведут свое начало от Даниила Ивановича Иртищевича. До пожалования Достоева Даниле Ивановичу оно входило в состав земельных владений князя Юрия Семеновича Наримунтовича, которому было дано Казимиром в 1452 году. Достоево — часть комплекса «особного держанья», которым являлось имение Дружиловичи. Из него кн. Юрий Семенович записывает Дружиловской церк-

ви св. Николая людей, землю, дань в Ополье, Достоеве, Мотоле, Довечеровичах². Те, кто стал владельцами Достоева после потомков Данила Ивановича (после 1669 года оно им, по-видимому, не принадлежало) уже носили достаточно известные фамилии.

Роль Достоева, давшего название роду, трудно переоценить. Именно достоевское начало становится той границей, переступив которую, о роде Достоевских можно говорить, подкрепляя свои суждения не только гипотезами, но и документальными источниками. Обращая свой взгляд к Достоеву, трудно удержаться, чтобы не помыслить о Промысле Божием. Список владений Иртищевичей составляют следующие населенные пункты: Достоево, Полкотичи, Молодова, Кротов. Но именно первому из них — Достоеву предназначено выйти из тьмы веков, из бездны обыденности мелочных и суетных дел человеческих. И эта связь Достоева и Ф. М. Достоевского, тленного и вечного заставляет по-другому взглянуть на преходящее, увидеть в цепи, на первый взгляд, бессмысленных событий ту связь высшейteleологической логики, о которой писал К. Леонтьев, объясняющую прошедшее по плодам его. Мелкий шляхетский род, увязнувший в истории, почти поглощенный ею, пропавший без вести, восстает весь как предшественник одного из величайших гениев человечества. Эта прикрепленность представителей рода к Ф. М. Достоевскому, накладывает свой отпечаток на понимание их поступков и их судеб. И избежать этого нельзя. Над XVI и XVII веками, над их буднями, их правдой и ложью высится гигантская по своей значимости фигура Ф. М. Достоевского. Они поверяются ею, и в ней находят один из своих сокровенных смыслов. Судьба назначила великому писателю Достоев. Благодаря Достоеву, какой-то потрясающей исторической устойчивости, которым обладает это название, давшее фамилию роду, мы можем теперь найти документальные свидетельства о предках великого писателя. Не Полкотичи, которые, если судить по документам, были более значительным пожалованием, а именно Достоев. Причем одна из ветвей предков писателя попытала стать Полкотическими (более детально мы сообщим об этих фактах позже) и исчезла безвозвратно. Достоево позволяет пройти «обратный путь» — от Ф. М. Достоевского к его предкам, найти их во времени, как бы незначительны были их жизни, дела и поступки.

Значение Достоева становится понятно, когда мы пытаемся собрать сведения о предках Данилы Ивановича Иртищевича. Здесь почти все построено на гипотезах и предположениях, если

и имеются в наличии факты, то они чаще всего не прямые, а косвенные. Поэтому гипотеза Волоцкого о «ртищевских» истоках рода Достоевских требует уточнения, сведения воедино всех имеющихся материалов, которые показывают, что версия автора «Хроники рода Достоевского», подсказанная изысканиями Н. П. Чулкова, не единственная.

Сразу нужно заметить, что мы уже никогда не сможем аргументировано и на основе документальных подтверждений связать «московских» Ртищей и «литовских», ставших в последствии Достоевскими. Единственное, что можно утверждать, и те и другие были устойчиво, на протяжении нескольких веков связаны с боровско-серпуховскими князьями. Все известные нам упоминания о Ртищах (именно Ртищах, а не Ртищевых) на русских землях связаны с Боровско-Серпуховским княжеством. И здесь же следует подчеркнуть, что, начиная с Андрея Ивановича, которому Иван Калита отказал Боровск и Серпухов в 1339 году, все эти князья так или иначе были тесно связаны с Литвой. Именно на время Андрея Ивановича приходится первое и, наверное, самое значительное упоминание о Ртищах. Находим мы его не где-нибудь, а в «Житии Сергия Радонежского» Епифания Премудрого: «Все они пришли в Радонежскую весь, которую дал Князь Великий сыну своему меньшому, Князю Андрею, и тот поставил там наместником Терентия Ртища...». Сын Андрея Ивановича, герой Куликовской битвы князь Владимир Андреевич Храбрый, был женат на дочери Ольгерда, что, по замечанию исследователей, отразилось на его отношении к приехавшему из Литвы митрополиту Киприану, с которым он находился в дружеском общении в отличие от Дмитрия Донского. В 1415 и в 1421 г. в Литву отъезжал сын Владимира Андреевича кн. Ярослав Владимирович, отец Василия Ярославича³.

Следует указать на ряд упоминаний о Ртищах—Ртищевых уже в XVI веке. Они интересны тем, что связаны с Иосифо-Волоколамским монастырем, основанным, как известно, учеником преп. Пафнутия Боровского преп. Иосифом Волоцким. Его предки в свое время выехали из Литвы, а постриг он принял в Боровском монастыре. В «Житии Фотия Волоцкого» упоминается Исаия Ртищев, постригшийся в монастыре преп. Иосифа в 1532—1533 годах. Его отец Ртище Васильев сын Александров упоминается в актовых материалах этого монастыря⁴. В Разрядных книгах под 1558 г. и 1559 г. упоминаются Нехай Ртищев и Третьяк Ртищев. Упоминания о Ртищевых в XVI в. прямого отношения к Иртищевичам — Достоевским не имеют, но прослежи-

вается вполне определенная тенденция: все они так или иначе связаны с бывшим боровско-серпуховским княжеством и с Литвой.

Первый из интересующих нас отъездов в Литву боровско-серпуховских князей кратковременен и приходится на 1446 г. Воспользовавшись своим правом, в Литву уходит князь Василий Ярославич. Сторонник и шурин свергнутого Дмитрием Шемякой великого князя Василия Темного, Василий Ярославич не столько спасается бегством, сколько ищет возможности для возвращения на престол Василия Темного. Его пребывание в Литве кратковременно, ситуация в Московском княжестве быстро меняется, и Василий Ярославич возвращается. Однако некоторое время он живет в Литве, распоряжается пожалованными ему Казимиром землями и городами: Брянском, Стародубом, Гомелем, Мстиславлем, в последнем он обосновался сам. Отъезжая, князь преследовал единственную цель — собрать силы, с которыми можно было бы вернуть великое княжение Василию Темному. В этой ситуации естественен поиск и набор сторонников в тех землях, которые ему были пожалованы. По свидетельству документов и историков, именно этим он и занимался. В данных обстоятельствах вокруг князя не только сплотились люди, отъехавшие с ним, но и появились новые сторонники из числа местных жителей, привлеченных щедрыми пожалованиями и надеждами на будущее, которое Василий Ярославич связывал только с Москвой и с ее великим князем. Причем очевидно, что это входило в планы князя и было одной из целей его отъезда. Именно на это время приходится упоминание в Литовских Метриках Степана Иртище⁵, получившего ряд земельных пожалований, которые, как верно отметил Волоцкой (применительно ко второй записи, относящейся к Василию Ярославичу), чередуются с дачами короля Казимира кн. Василию Ярославичу, а сами земли примыкают к владениям этого князя в Литве. Однако изыскания Волоцкого сопровождаются следующим замечанием: *Все эти грамоты относятся к XV веку, приблизительно к 1447–48 г., т.е. к тому времени, когда князья Ярославичи, уйдя из Московского государства, жили, очевидно, еще не в Пинском княжестве, а восточнее, вблизи московской границы: на тех листах вышеупомянутой книги, где указаны пожалования князю Ярославичу и Иртишу, очень часто упоминаются Смоленск, Брянск, Рославль, Мстиславль, Мезецк (Мещовск).* Из этого замечания видно, что автор «Хроники...», зная о двух отъездах в Литву боровско-серпуховских князей, отца в 1446 г. и сына в 1456 г., не придает должного значения обстоятельствам, при которых они происходили. В

том же 1446 году Василий Ярославич уходит обратно в Москву, исполнив в Литве свою миссию. Собранныя там им и его единомышленниками дружины во главе с Федором Басенком сыграет определяющую роль в возвращении Василия Темного на велиокняжеский престол. И тогда становится понятно, почему в документах больше не фигурирует Степан Иртище или его потомки Степановичи, появляется пропуск целого поколения, охватывающий период с 1446 года по 1506 год. В данном случае есть основание связывать Степана Иртыща и Данилу Ивановича Иртищевича по сходству прозвищ и общим покровителям. Предки Достоевских Иртищевичи не приходят в Литву из Москвы, а уходят из Литвы в Москву в 1446 году вместе с кн. Василием Ярославичем, чтобы принять участие в описанных выше событиях. Поэтому пожалования Иртищу, упоминаемые в Литовской Метрике, больше с этой фамилией не связываются. Уйдя с Василием Ярославичем, Степан Иртище автоматически утрачивает право на них. Если предположить, что Иртищи пришли в Литву в свите князя, а потом проделали с ним обратный путь, трудно будет объяснить, почему после почти полувекового отсутствия упоминаний этого имени в документах оно появляется вновь, но не при Иване Васильевиче, а при его сыне. Волоцкой прав, связывая судьбу Иртищей со злоключениями боровско-серпуховских князей. Но, учитывая появление этого имени рядом с пожалованиями Василию Ярославичу, следует обратить внимание и на его отсутствие в определенный период при Иване Васильевиче.

В следующий раз боровско-серпуховские князья в лице старшего сына Василия Ярославича Ивана Васильевича появляются в Литве в 1456 году. Это уже не отъезд, на который имели право удельные князья, а эмиграция, бегство. Его обстоятельства сходны с теми, при которых Русь покидает другой знаменитый эмигрант Древней Руси кн. Андрей Курбский. В 1456 году Василия Ярославича заточат в Угличе. В «изыманье» вместе с ним будут находиться три его малолетних сына от второго брака, которые в заточении и погибнут. Причины этого поступка Василия Темного по отношению к своим преданным союзникам по борьбе с Дмитрием Шемякой Ивану Андреевичу Можайскому и Василию Ярославичу необъяснимы. Иван Васильевич и его мачеха спасаются бегством от верной гибели. Обстоятельства этого ухода в Литву потомка Владимира Храброго резко отличаются от предыдущих: если Василий Ярославич уезжал «и со княгинею и з детми, и со всеми людми» (Ермолинская летопись, л. 276), то Иван Васильевич бежит тайно. При-

ближенные же его отца спустя несколько лет предпримут закончившуюся трагически попытку освободить своего князя из заточения. Замысел открывается Василию Темному, и на Федорову неделю 1462 года происходит казнь: *и повеле князь велики имать их, Володку Давидова, Парфена Бреина, Луку Посивьеева и иных многихъ, казнити, бити и мучити, и конми волочити по всему граду и по всемъ торгомъ, а последи повели им главы отсечи* (Ермолинская летопись, л. 286 об.). Казнь произведет жуткое впечатление на очевидцев, тем более, что все произойдет в Великий пост.

Жизнь Ивана Васильевича в Литве известна мало. По-видимому, он до конца так и не поверил в то, что больше никогда не вернется на Русь, и был одержим мыслью освободить отца, заключая договоры с такими же изгнанниками, как и сам. Казимир пожаловал ему Давид-Городок, Клецк, Рогачев. В первом Иван Васильевич провел остаток своих дней. Среди приближенных Ивана Васильевича Иртищевичей Волоцкой не находит. В документах отсутствует упоминание и о Степане Иртище и об Иване. Данила Иванович — «служебник» уже сына Ивана Васильевича, Федора Ивановича князя Пинского, и, соответственно, место расселения Иртищевичей — Пинск и его окрестности. Учитывая трагические обстоятельства, при которых покидал Русь Иван Васильевич, можно предположить, что каждый оставшийся в живых при этом бегстве человек из его окружения или окружения его отца был выделен и награжден. Следовательно, напрашивается вывод, что никто из Иртищей, ушедших в Москву, не уцелел. Не значит ли это, что Данила Иванович — потомок тех Иртищей, которые остались в Литве и обратили на себя внимание князя своим родством с теми, кто принимал участие в угличской трагедии. Учитывая характер бегства 1456 г. и события 1462 г., предположить, что мог уцелеть потомок Степана Иртище, нигде в документах не упоминаемый Иван, трудно.

В пожаловании Даниле Ивановичу 1506 года обращают на себя внимание два определенным образом противоречащих друг другу факта: достаточно крупные размеры пожалования, и отсутствие всяких упоминаний в документах о том, что Данила Ивановича входил в наиболее приближенный к князю круг «бояр пинских». Одно объяснение им найти можно. А. Грушевский в исследовании «Пинское полесье. Исторический очерк. Ч. 2. XIV—XVI в.» замечал, что Иван Васильевич почти не занимался внутренними делами Пинского княжества. От его княжения сохранилось два акта: пожалования церквям св.

Николая 1499 года и св. Дмитрия в Городке 1507 года. Последний акт отличался определенной сложностью, и для большей его убедительности воля князя подтверждена подписями нескольких, по-видимому, наиболее приближенных к нему лиц, среди которых фигурирует некто Григорий Иванович Бруяка. Данный документ приводится в книге «Ревизия пуш и переходов звериных в бывшем великом княжестве Литовском с присовокуплением грамот и привилегий на входы в пущи и на земли. Составлена старостою мстибоговским Григорием Богдановичем Воловичем в 1559 г. Изд. Виленской Археографич. Комиссии. 1867 г.» (с. 349). А в Литовской Метрике Записей, кн. № 24 под листом Матфея Гричаниновича от 1524 года (л. 88 в.—90)⁶ стоит ряд фамилий значимых и важных лиц, подтверждающих этот документ. Среди них назван Григорий Иртищевич Бруяка. В том же документе среди прочих имен упомянут Семен Корнилович Тур сын Корнила Андреевича Тура, подпись которого стоит под документом 1507 года. Соотнося оба документа, мы не без оснований можем говорить об одном и том же человеке — Григории **Ивановиче Иртищевиче** Бруяке, принадлежавшем к старшей «городецкой» знати, то есть входившем в ближайшее окружение князя Ивана Васильевича отца Федора Ивановича, покровителя Данилы Ивановича Иртищевича. Таким образом, речь идет о старшем брате родоначальника рода Достоевских, имевшем определенное влияние, которым и можно объяснить щедрое пожалование Федора Ивановича его младшему брату.

Различие в их положении ощутимо. Оно сказывается и в том, что Даниила Иванович никогда не подписывался под документами такого рода, и в том, какое место занимали потомки Григория Ивановича в Давид Городке. В одном из документов 1521 г. Ждан Бруяка фигурирует в качестве подстаростия городецкого, он же, именуясь Жданом Григорьевичем Бруякой, доказывал свои права на два дворища в Плотницах, пожалованных в 1496 году Сенку Дмитровичу княгиней Марьей Семеновной и княгиней Александрой⁷. Из документов видно, что Ждан Бруяка породнился с потомками Сенька Дмитровича, приближенного княгини Мары Семеновны, сам при этом будучи сыном Григория Ивановича Иртищевича Бруяки, члена рады — совета князя Ивана Васильевича. А. Грушевский пишет: «Жена Сенька — Марья выдала замуж дочь за Пронька Романовича Гладкого, и по ее внучке Марине Плотницкое имение перешло к Ждану». По сведениям этого же исследователя, Ждан Бруяка — одно из высших должностных лиц городецкого

княжества: в 1547 и 1551 он был подстаростием городецким. Частота, с которой имя потомка Григория Ивановича Иртищевича Бруяки мелькает на страницах юридических документов первой половины XVI века, и их несомненная принадлежность к Давид Городку и его окрестностям сравнимы с юридической активностью Данилевичей—Достоевских—Полкотических, только уже в Пинске и спустя полвека. «Городецкая» и «пинская» ветви Иртищевичей очевидно соотносятся, соответственно, с князем Иваном Васильевичем и с князем Федором Ивановичем, отцом и сыном.

Бруяки — тот след, который уходит в эпоху бегства в 1556 году Ивана Васильевича. Если обратиться к самому имени, то можно отметить следующее: его истоки угадываются в слове «бруя», что в словаре В. Даля трактуется как «рябь на поверхности реки от быстрого течения». Но к Иртищевичам оно пришло скорее всего от названия населенного пункта — Бруйска — в Каменецком повете около реки Нарев⁸. Данное место находилось в непосредственной близости от Давид Городка. В перемещении первых Иртищевичей прослеживается вполне очевидная логика: Степан Иртище фигурирует на страницах документов времени пребывания в Литве Василия Ярославича и получает пожалование на землях, данных последнему королем Казимиром, Григорий Иванович Иртищевич присоединяет к своему имени слово, образованное от названия населенного пункта в землях, пожалованных королем Ивану Васильевичу. Между этими двумя Иртищевичами разрыв как минимум в одно поколение, но определенная логика, подкрепляющая родственную связь между ними, есть.

В декрете Волынского надворного суда за 1799 год по земельному спору помещик Корженевский ссылается на пожалование князем Федором Ярославичем 14 мая 1506 года *Татьяне Ивановой Ртищевичевой, а по смерти ее на церковь святой великомученицы Варвары надворище Писколовщина называемое повета пинского об селении Особичах состоявшее*. Там же указывается на «игуменство», которое после смерти *Татьяны Ивановой Ртищевичевой* переходит к другому лицу. Во-первых, этот документ сообщает о самом первом из известных нам пожалований предкам будущих Достоевских (май 1506 года), во-вторых, речь в нем идет или о сестре Данилы Ивановича или, что более вероятно по характеру написания ее имени, матери — жены Ивана Ртищевича. На это же указывает и то, что данное пожалование предшествует пожалованию того же князя самому Даниле Ивановичу. Речь в нем может идти о являющейся игуменьей мо-

настыря (хотя указание на игуменство в документе читается неоднозначно) вдове знатного служебника князя Ивана Федоровича. В третьих, но это уже только предположение, раз такой документ спустя три века оказался в семье Коржаневских, можно предположить, что ветвь Петра Сасиновича Достоевского угасла.

Само прозвище предшественников рода Достоевских Иртище не однозначно. М. В. Волоцкой предложил свою гипотезу. Однако этимология слов, от которых оно, возможно, было образовано, достаточно богатая и не безразличная по отношению к событиям, в контексте которых протекала жизнь первых Иртищевичей. По данным словаря русского языка XI—XVII веков⁹, «рты», «ирта» — лыжи, лыжа: *И придоша на них (татар) Мордва на ртах...и казаки рязанские такоже на ртах с сущлицами и с рогатинами (Ник. лет. 6952)*. Вариант «ирты» — охотничьи лыжи, был распространен в орловско-трубчевской области, то есть в тех местах, где достаточно часто проходили и формировались дружины князя Василия Ярославича. Есть в летописях примеры использования этого слова при описании событий, напрямую связанных с борьбой Василия Темного и Дмитрия Шемяки, в которой самое активное участие принимал Василий Ярославич: *1444. Князь великий Василий Васильевич...послал противу его князя Василия Оболенского и Андрея Федоровича Голтяева, да двор свой с ним, да морду на ртах... (Ник. лет. XII, 61)*. Еще одним возможным вариантом происхождения прозвища Иртище может быть слово «арса» (артыш) — можжевельник.

Стоит обратить внимание и на одно любопытное совпадение. В той книге Литовской Метрики, где находятся сообщения о пожалованиях Степану Иртище, присутствует описание имений по реке Рось. Среди прочих упоминается село Ртищев: *Ртищев, село. А в том селе атамон и два слуги, на воину хаживали, а подымщину давали на приезд великому князю Витовту*¹⁰. Если речь идет о Рости, которая течет через Белую Церковь и Богуслав и с запада впадает в Днепр, то мы в поисках происхождения интересующего нас прозвища приходим к так называемому Поросью, очень любопытному историческому месту Киевской Руси. В городе Родне, стоявшем там, где Рось впадает в Днепр, Владимир осадил Ярополка. После побед, одержанных в Польше в 1031 и 1032 года, князь Ярослав Мудрый поселил по берегам Рости пленных. Н. М. Карамзин пишет: ...в следующий год, соединясь с мужественным братом своим, овладел снова всеми городами Червенскими; входил в самую Польшу, вывел от-

*туда множество пленников, и населил ими берега Роси, заложил там города и крепости*¹¹. На берегах Роси древнерусские князья традиционно селили торков и берендеев: ...*Васильку окрестности Роси, где жили Торки и Берендеи*¹². Рассказывая о событиях 1186–1193 годов, Н. М. Карамзин описывает следующий эпизод: *Один сын Рюриков, юный Ростислав, отличался в оных мужеством и был грозою варваров, предводительствуя Торками и Берендеями, иногда верными стражами областей Киевских, иногда изменниками: так их знаменитый чиновник или Князек, именем Кунтувдей, оскорбленный Святославом, ушел к Половцам, и долго грабил с ними села Днепровские. Чтобы обезоружить сего храброго наездника, Рюрик дал ему городок Дверен на берегах Роси*¹³. В творчестве Ф. М. Достоевского от названия этого народа образована фамилия загадочного благодетеля Я. П. Голядкина Олсуфия Ивановича Берендеева¹⁴. Не считая возможным делать из данного факта каких-либо серьезных выводов, все же отметим, что в истории создания «Двойника» отсутствуют значимые внешние факторы, которые могли оказать на писателя влияние при выборе этой «экзотической» фамилии, такие, как, например, в истории создания «Снегурочки» А. Н. Островского, где «берендеи» и их царство навеяны преданиями и топонимами Щелокова и «Русскими народными сказками» А. Н. Афанасьева.

Иногда в летописях «черные клубуки» напрямую связываются с окрестностями Роси: ...*и ту прислашася к нему Чернии Клобуци и все Порусье (места по реке Русу или Роси)...*¹⁵. Последняя цитата интересна еще и тем, что она относится к тексту, описывающему бунт киевлян 1146 г., когда среди прочих был разгромлен двор княжеского тиуна Ратши: *устремиашася на Ратшин двор грабити...*¹⁶. Ратиша (Ратша, Рачша), в дальнейшем в летописи появляется имя Ратищич, Козьма, может быть уже потомок, оруженосец Всеволода Большое Гнездо, данное имя вполне могло послужить исходной точкой для образования названия поселения Ртищево.

Сыновья Данилы Ивановича Иртищевича — Иван и Семен. Со второго поколения известных нам Иртищевичей начинается и собственно род Достоевских. Основные земельные пожалования распределились между сыновьями Данилы Ивановича следующим образом: Достоево отошло Ивану, а Полкотичи — Семену. С определенной степенью доказательности можно утверждать, что Достоевские — потомки Ивана Даниловича. Так в «Писцовой книге пинского и клецкого княжеств, составлен-

ной пинским старостою Станиславом Хвальчевским в 1552—1555 году» Достоево указывается как владение Ивана. Доказательством этого может служить и тот факт, что Семен Данилович и его сын Богдан Семенович проходят по документам уже как Полкотические. По-видимому, ветвь Иртищевичей-Данилевичей-Полкотических быстро пресеклась. По крайней мере, на страницах документов мы можем проследить судьбу представителей только двух поколений, а в середине XVII века Кропотово и Полкотичи уже принадлежат некой Терлецкой, жене Андрея Терлецкого (из известных нам случаев только в 1657 году один раз встречается имя Ян Полкотический, но определить его отношение к потомкам Семена Даниловича сложно¹⁷).

Семен Иванович был женат, вероятно, два раза. От первого брака имел сына Богдана Семеновича Даниловича Полкотического, от второго с Ганной Семеновной (урожденной Василевской) — сына Антона Полкотического. Семен Данилович скончался в промежуток времени между июлем 1562 года и ноябрем 1563 года, что можно установить из следующих документов: 2 июля 1562 года датирована жалоба земянина Семена Даниловича на отобрание служебником мостовничего пинского Гаврилом кобылы рыжей у его подданного Васка Яцковича, а 17 ноября 1563 года земянин Богдан Семенович Данилевич Полкотический обращается с просьбой о визже для присутствия им при отъезде со своего двора отцовского челяди мачехи своей и донесенье визжа по тому же делу¹⁸. Речь идет об удалении из Полкотич Ганны Семеновны, что, очевидно, могло произойти только после смерти ее мужа. В переписи войска великого княжества Литовского среди прочих пинских земян назван Антон Полкотический, охарактеризованный следующим образом: *еще молод выросток отца дей не имеет, ставил коней 2-х*¹⁹. По этому поводу можно сделать два предположения: или за время с 1563 года по 1567 год скончался Богдан Семенович Полкотический, тогда речь идет о его сыне, или Антон Полкотический — младший сын Семена Даниловича и, возможно, от брака с Ганной Семеновной.

Большую роль в положении сыновей Данилы Ивановича сыграли их браки. Если основатель рода Достоевских в документах именуется «боярином пинским», то за его потомками уже устойчиво закрепляется статус земян. Термин бояре в отношении интересующего нас сословия используется в измененном значении и в данном случае обозначает поднимающуюся снизу волну служилых людей, еще не обладающих благородным происхождением и устойчивым положением. Они легко могли как

вознестись вверх, так и опять раствориться в крестьянской среде. Более привилегированным классом были земяне. Данила Иванович редко фигурирует в документах своего времени. Он не входил в число лиц, приближенных к князю Федору Ивановичу, земельное пожалование Даниле Иртищевичу объяснимо именно наличием у него покровителя в лице старшего брата. Имя же его внуков встречается значительно чаще, они находят путь к сильным мира сего, добиваются успехов на жизненном поприще, хотя и кратковременных. Ключевыми здесь являются фигуры Федора Ивановича Достоевского и Стефана Ивановича Достоевского. Изменение сословного статуса, которое произошло со вторым и третьим поколением Иртищевичей, связано с тем, что они родятся с влиятельными пинскими шляхетскими родами, в первую очередь речь идет о браке Ивана Даниловича с представительницей семьи Фурсовичей. Основатель рода — Фурс Иванович — был уже боярином рады княгини Мары Ивановны, он и его сын входили в ближайшее окружение князя Федора Ивановича. По своей значимости и богатству в пинском княжестве эта семья занимала среди шляхты в первой четверти XVI в. одно из первых мест. Три дочери Венедикта Фурсовича выходят замуж за земян пинских — Макара Мартиновича, Андрея Кмита и Ивана Данилевича, как это видно из обращения последних для подтверждения их прав на земли, пожалованные князем Федором Ярославичем в 1518 году Венедику Фурсовичу и отданые в приданое за дочерьми²⁰.

Стефан Иванович Достоевский — представитель рода, о котором сохранилось самое значительное количество документальных свидетельств. В центре внимания находится ситуация о предоставлении «минскому земянину» Стефану Достоевскому Минского Вознесенского монастыря в «пожизненное управление, с отчинами, угодьями и доходами» и лишении его этого пожалования как «человека светского и к тому же закону не Греческого» в пользу Михаила Рагозы. Данная ситуация интересна тем, что она развивается на фоне сложных и трагических конфессиональных процессов в западных и южных землях Руси, входивших в состав великого княжества Литовского, в преддверии принятия Брестской унии 1596 года. Тот факт, что именно Михаил Рагоза, став вначале архимандритом минского Вознесенского монастыря, а затем Киевским митрополитом, подписал эту унию, накладывает на эпизод удаления Стефана Достоевского из монастыря определенный отпечаток. Предок Ф. М. Достоевского волею судьбы на какой-то момент оказывается в эпицентре большой политики и глобальных исторических

перипетий, которые потом так волновали великого писателя: наступление католицизма на земли Древней Руси, являвшееся частью общего стремления папского Рима к обладанию всемирной светской властью.

В 70-е годы XVI века начинается активная подготовка к унии. Для римско-католической Церкви и ордена иезуитов как проводника ее политики становится очевидно, что пропаганда католицизма среди православного населения великого княжества Литовского — процесс малопродуктивный. Агрессивное наступление на Православие, которым ознаменована вторая половина XVI века: разрушение системы православного образования и воспитания, искусственно вызванные затруднения жизни православных приходов и прямое противодействие им, — лишь сплотили православное население. Как потом показало будущее, именно народ оказался самой устойчивой и непоколебимой в своих верованиях частью Православной Церкви, о которую разбились все попытки католицизма утвердиться в южной и западной Руси. Это та «почва», тот «народ богоносец», о которых будет писать Ф. М. Достоевский. Твердость веры народа, инициатива в защите Православия, идущая снизу, получит поддержку в лице представителей аристократии — князя Константина Острожского и князя Андрея Михайловича Курбского, православного духовенства, не склонившегося к унии (Никифор Тур, Захария Копыстенский). Центром борьбы, ее духовным оплотом станет Киевско-Печерский монастырь, который, несмотря на все ухищрения униатов, останется православным. Проводники идеи унии, не отказываясь от прямого насилия, сделали ставку на предательство, к которому они склоняли высшее духовенство, магнатов и шляхту. Переход в католичество сулил прямые жизненные выгоды: богатство, должности, власть, знатность. Здание унии выстраивалось на извечных слабостях человеческих, на соблазнах, искушениях и в результате на предательстве как их итоге.

Дело Стефана Достоевского совпадает по времени с проникновением на территорию нынешней Белоруссии иезуитов и переходом короля Стефана Батория из протестантов в католики. В данном отношении личность Михаила Рагозы знаменательна. Будущий митрополит Киевский, который поставит свою подпись под унией, готовится подспудно. Выбор пал на него: произошло ли это случайно или готовилось сознательно, сказать однозначно нельзя. Но некоторые факты свидетельствуют в пользу второго, в том числе и дело Стефана Достоевского. В документе 1579 года, в котором говорится о пожаловании ему

Минского Вознесенского монастыря, Михаил Рагоза характеризуется как человек духовной, строгой жизни, «в письме святом умелый», готовый «стан чернецкий на себе» взять, понести все его тяготы, отречься от всего земного и посвятить свою жизнь служению Богу и управлению монастырем в противовес «светскому и не Греческого исповедания» Стефану Достоевскому. Сохранились письма Михаила Рагозы конца восьмидесятых и начала девяностых годов к православным магнатам князю Константину Острожскому, Федору Скумину, иерархам Церкви, в которых он заявляет о своей непричастности к унию, советует и призывает противодействовать ей. Одно из таких его писем к князю Константину Острожскому датировано сентябрём 1595 года. После заключения унии он пишет письмо Федору Скумину, в котором ставит его перед свершившимся фактом и при этом пробует оправдаться и доказать свою непричастность к произошедшему. Если судить по письмам митрополита, складывается впечатление, что он всеми силами противодействует унию и одновременно делает все, чтобы она состоялась. За несколько лет до 1596 года начинается его конфликт с епископом Львовским Гедеоном Балабаном, противником унии, он обращается с просьбами о поддержке православных братств и одновременно пытается обезглавить их, назначает на церковные должности лиц, которые впоследствии сыграют определяющую роль в заключении унии. За подписанием унии следует в 1597 году судная королевская грамота Михаилу Рагозе «о праве на владение селом Тростинцем», пожалованном Минскому Вознесенскому монастырю²¹. Здесь следует заметить, что указанное выше село Тростинец было, по-видимому, настоящей причиной назначения и удаления претендентов на управление монастырем.

В июле 1570 года в грамоте Сигизмунта Августа минскому старосте Василию Тышкевичу определяется вернуть вещи и документы Минского Вознесенского монастыря, отданного королем после кончины архимандрита Пафнутия в содержание с имениями и доходами дворянину Ивану Баке²². В 1576 году монастырь по приказу минского старосты, воеводы берестенского, державца инфлянецкого Гавриила Горнастая переходит к Стефану Достоевскому, вследствие нестроения монастыря, учиненного Иваном Бакой. В частности, сообщается о том, что имение Тростинец, пожалованное Минскому Вознесенскому монастырю, у Ивана Баки забирает в свою пользу Петр Горский. Сохранилась выписка из протеста королевского дворянина Ивана Ивановича Баки от 9 мая 1576 года на князя Петра

Горского, забравшего насильно село Тростинец (здесь укажем, что Тростинец будет возвращен монастырю в 1616 году). Гавриил Горностай указывает следующие причины передачи монастыря от Ивана Баки «служебнику моему пану Стефану Достоевскому»: «великии непорядокъ, который повси часы прошлые такъ и тепер задержаня пна ивана баки деет в оном монастыры», «нет ни чернеца или священника, чтобы вести службу», «село Тростинец отдал Петру Горскому»²³.

В 1579 году Ян Анфорович Петрович дворянин Его королевской милости и «многая шляхта» прибывают в монастырь, чтобы передать его Михаилу Рагозе. Монастырские ворота Ян Анфорович находят открытыми, вместо Стефана Достоевского встречает его наместника, который и передает ему монастырь. Посланник короля отмечает, что «монастырь передан добровольно», при описании имущества никаких нарушений не указывается²⁴, хотя налицо царящее вокруг запустение, которое вряд ли можно поставить на счет Стефана Достоевского, пребывавшего в качестве наместника монастыря года полтора из девяти, в которые монастырь не имел своего архимандрита. Обращает на себя внимание один факт: обстоятельства, при которых Михаила Рагозу вводят во владение Вознесенским монастырем. Королевский дворянин и «многая шляхта», по-видимому, предполагающие сопротивление королевскому указу, на что косвенно указывает приписка о добровольном переходе монастыря к новому наместнику, напоминают события 1597 года, когда Михаилу Рагозе силой попытались подчинить, хотя и безуспешно, Киево-Печерский монастырь, склоняя его в унию (Наказная грамота королевскому дворянину Яну Кошицкому о низложении архимандрита Никифора Тура (активного противника унии, обвиненного польскими властями в шпионаже в пользу Турции и умершего в застенке) и о передаче Михаилу Рагозе в управление Киево-Печерского монастыря)²⁵.

Устранение Стефана Достоевского из Минского Вознесенского монастыря и передача его Михаилу Рагозе интересует нас в связи с появлением в указах характеристики Стефана Достоевского как человека «не Греческого исповедания». Проблема заключается в том, что многие косвенные детали указывают на преднамеренное использование этой формулировки для введения в управление монастырем именно Михаила Рагозу. Вряд ли православный магнат Гавриил Горностай пошел бы на такое нарушение, как назначение в крупный православный монастырь человека «не греческого исповедания», вызывает сомнение и то,

что он приблизил бы к себе человека другого вероисповедания и сделал его своим «служебником».

Стефан Достоевский долгое время пребывал на должности «писаря гродского менского», сохранилось достаточное количество документов с его подписями, некоторые датированы 1590 годом, и везде он подписывается по-русски (например, сентябрь 1590 года, инвентарь имения Касыни, лежащего в Минском повете, составленный при поданье его князю Богдану Ивановичу и жене его Еве Соломерицким. Под этим документом стоит следующая приписка: *того выпису печать притиснута одна пана Яна Петрашевского, подстаростея Менского, а подпись руки письмом русским подписана тыми словы: Стефан Достоевский — писарь гродский Менский*²⁶. По-видимому, на этой должности Стефан Достоевский состоял и в 1607 году. В знаменитом деле по обвинению его дочери Марыны Стефановны Достоевской в убийстве своего мужа, в той его части, где говорится о завещании, подделанном сестрой Марыны Раиной Достоевской, указывается, что завещание было вписано в городские книги с помощью отца, занимавшего должность «писаря гродского». «Русское письмо» в то время свидетельствовало как раз о «греческом исповедании». Среди документов конца XVI века встречаются коллективные обращения православной шляхты к королю с тем, чтобы его указы к ним писались на русском языке. Язык был важнейшей сферой отстаивания своих конфессиональных прав. Так, например, занимавший важные государственные должности Петр Достоевский подписывался по-польски, представители же рода, которые были связаны с магнатами, исторически принадлежавшими к православию, — Стефан Достоевский и Федор Достоевский — подписывались по-русски. Из последующих поколений Достоевских постоянно подписывался по-русски Абрам Достоевский.

Особый интерес в деле пожалования и отстранения Стефана Достоевского от управления Минским Вознесенским монастырем вызывает ряд расхождений в указах. Грамоты, которые выходили из канцелярии короля Стефана Батория, в ряде моментов не состыковуются с тем, о чем сообщается в документах, подготовленных местной администрацией. Из жалованной грамоты Стефана Батория минскому земянину Стефану Достоевскому следует, что монастырь «в пожизненное управление, с отчинами, угодьями и доходами» переходит к Стефану Достоевскому по просьбе королевского дворянина Богуша Невельского, которому Минский Вознесенский монастырь был пожалован перед этим и который теперь хочет его передать Стефану

Достоевскому²⁷. Ни о каком Иване Ивановиче Баке, владевшем, по другим грамотам, в это время монастырем, здесь речи не идет. С другой стороны, в грамотах, которые приводятся в «Собрании древних грамот и актов...» Богуш Невельский нигде не упоминается, а, наоборот, речь идет о Иване Баке как о непосредственном предшественнике Стефана Достоевского. Жалованная грамота сентября 1577 года следует за другим любопытным документом — Жалованной грамотой королевскому дворянину Богушу Невельскому о предоставлении ему Минского Троицкого монастыря в пожизненное управление с отчинами, угодьями и доходами, август 1576 года²⁸. Возникает вопрос, не перепутаны ли были монастыри и не был ли в 1576 году Богушу Невельскому пожалован несуществующий монастырь (Минский Троицкий), а он, в свою очередь, передавал Стефану Достоевскому тот (Минский Вознесенский), который последнему был уже отдан по приказу Гавриила Горностая? То, что грамоты августа 1576 года и сентября 1577 года связаны, вытекает из содержания грамот 1577 и 1579 годов. Именно в грамоте 1579 года находит место обоснование причин передачи монастыря Михаилу Рагозе. Если по грамотам 1576 и 1577 годов складывается впечатление, что мнение местных властей игнорируется королевской канцелярией, то указ февраля 1579 года свидетельствует, что это не так²⁹. Он основан на жалобе митрополита Киевского Илии и каштеляна Минского, державца Радошковического Яна Глебовича: *...том Богуш Невельский, не хотечи стану духовного на себе принять, том монастырь земянину нашему Стефану Достоевскому, також человеку светскому, и к тому же закону не Греческого, пустил...*

Насколько можно верить фактам, которыми оперировали составители королевских указов, видно из предыдущей ситуации с грамотами 1576 и 1577 годов. О неубедительности представленных в жалобе аргументов даже для ее составителей свидетельствует и их стремление подкрепить свои доводы. Один из них действительно разумный: Михаилу Рагозе монастырь передается с тем условием, чтобы он вступил в монашество. По этому пункту приводится закон Жигмунта Августа: *кому бы колывек хлеб духовный был дан, а тот бы за три месяца стану духовного принятии не хотел, таковый от тое данины отпадает.* Данный закон начал активно применяться в правление Стефана Батория и добавим — в преддверии унии. Складывается впечатление, что справедливое требование использовалось с определенными целями. С другой стороны, встречается достаточное количество пожалований монастырей, в которых необходимость

вступления в монашеский чин не оговаривается. Грамота же 1579 года, в которой излагается содержание закона, если и не является единственной, то среди просмотренных документов этого времени подобные ей больше не встречаются.

У замечания о «не Греческом исповедании» Стефана Достоевского есть еще один аспект, выходящий за пределы судьбы отдельной личности. Он связан с вопросом о конфессиональных взаимоотношениях на землях великого княжества Литовского. Оно ознаменовано наступлением папского Рима на православных и протестантов, в границах которого две страдавшие от насилия стороны, если и не поддерживали друг друга, то и не вступали в активное противоборство. Для иезуитов протестанты были еретиками, но и «вера холопов», как называли католики православие в противовес «вере господской», тоже была «схизмой», а верующие «схизматиками». Указание на «не Греческое исповедание» Стефана Достоевского в грамоте 1579 года может подразумевать не «латинство» этого лица, а его принадлежность к протестантам. Возникнуть подобное утверждение могло не на основе реального положения дел, а из необходимости скомпрометировать данное лицо, которую подкреплял вполне определенный «конфессиональный снобизм» и нетерпимость редакторов документа. С их точки зрения, все те, кто не принадлежал к римско-католической Церкви, не являлись истинными христианами, будь то протестанты — еретики, православные — «схизматики», «отщепенцы». Данное определение может свидетельствовать не о действительности «не Греческого исповедания» Стефана Достоевского, а об отношении к греко-восточным христианам, которые в сознании «латинян» были такими же еретиками, как и протестанты.

После этих событий в жизни Стефана Достоевского прослеживается определенная динамика. Если судить по сохранившимся документам, его дела приходят в упадок. С апреля по май 1582 года он распродает свои имения в Сеннице (населенный пункт рядом с Минском), двор в Лошице (ныне в черте города Минска). Декснянское имение Стефана Достоевского в 1597 году уже принадлежит Горским. В 1606 году происходит знаменитое убийство мужа его дочери, в котором как организатора обвиняют Марыну Стефановну Достоевскую, ей же приписывают и покушение на жизнь пасынка. В данный процесс втягиваются почти все члены семьи Стефана Достоевского: сын Ярош, дочь Раина, сам Стефан. Что было правдой, а что ложью в этом деле, сейчас трудно понять, но избавиться от мысли, не повлияло ли на ход событий отношение Стефана Ива-

новича к первым шагам к Киевской митрополии Михаила Рагозы, трудно. Например, в подделке завещания вначале обвиняется Раина Стефановна, затем поп. Какие отношения могли быть у семьи человека «не Греческого исповедания» с попом трудно сказать. Противоречий очень много. В середине XX века дочь Стефана Достоевского Марына появляется на страницах произведения классика белорусской литературы Владимира Короткевича «Дикая охота короля Стака». Появляется в том образе, который вырисовывается из материалов дела. Героиня произведения, рассказывая о своих предках Яновских, показывает на один из портретов и говорит: «Вось гэтая жанчына з непрыемным тварам, наша дальняя сваячка, Даастаўская (між іншым, адзін з продкаў славутага пісьменніка), забіла мужа і ледзь не знішчыла пасерба, яе асудзілі да страты»³⁰. Правда, ни в комментариях, ни самим автором нигде не уточняется, что речь идет именно о Марыне Стефановне, однако образ очень точно соответствует своему документальному прототипу и узнать его не сложно.

В одном из документов 1592 года по делу, рассматривавшемуся в Минске, есть указание на место, где проживал Достоевский; правда, утверждать, что это дом интересующего нас лица, нельзя. Лица, продающие свой двор, оговаривают его местонахождение: ...*продали двор при улице Горышынской, на пляцу капитулы Виленское, об межу подданного его милости пана воеводы Виленского Мартина Лукъяновича, а з другой стороны об межу пляца пана Достоевского капитулного*³¹. В феврале 1617 года в Минске рассматривается жалоба об избиении униатами учеников школы православного братства. Среди прочих детей, которым были нанесеныувечья, называется некий «хлопенок» Андрей Стефанович³². Говорить безусловно, что речь идет о сыне Стефана Достоевского, не приходится, но выпускать из ввиду этот факт не следует.

Известное сообщение о том, что «в 1624 г. Стефан Достоевский, по возвращении из турецкого плена, повесил серебряные цепи перед образом «Матки Боски» во Львове»³³, не может служить доказательством принадлежности Стефана Достоевского к римско-католической Церкви. Определенным образом к подобной точке зрения подталкивает польский источник сообщения данного эпизода, называющий традиционный для поклонения в православии образ Пресвятой Богородицы «Маткой Боской». К тому же Львов на момент описываемых событий еще некоторое время оставался одним из центров православия, или, по крайней мере, православные иконы и церкви еще не были захвачены униатами и католиками. Во Львове, городе

с многовековыми православными традициями, читый образ Пресвятой Богородицы, вероятнее всего, мог находиться в православном храме.

¹ Факты и документы, которые излагаются в книге М. В. Волоцкого «Хроника рода Достоевского», в данной работе опускаются; она представляет собой комментарии и дополнения к материалам, введенным в научный оборот М. В. Волоцким.

² Грушевский А. Пинское полесье. Исторические очерки. Ч. 2. XIV—XVI в. Киев. 1903. С. 155.

³ См.: Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период с 1238 по 1505. СПб., 1891.

⁴ См.: Древнерусские патерики. М., 1999. С. 455.

⁵ Литовская Метрика. Книга записей 3 (1440—1498). Вильнюс. 1998. С. 37.

⁶ См. также: Грушевский А. Пинское полесье. Исторический очерк. Ч. 2. XIV—XVI в. С. 60.

⁷ См.: Ревизия пущ и переходов звериных в бывшем великом княжестве Литовском с присовокуплением грамот и привилегий на входы в пущи и на земли. Составлена Григорием Богдановичем Воловичем в 1559 г. Изд. Виленской Археографич. Комиссии. Вильно. 1867. С. 290—291, 315.

⁸ Там же. С. 163.

⁹ Словарь русского языка XI—XVII веков. Вып. 22. М., 1997.

¹⁰ Литовская Метрика. Книга записей № 3 (1440—1498). С. 87.

¹¹ Карамзин Н. М. История государства Российского в 12-ти томах. Т. II—III. М., 1991. С. 18

¹² Там же. С. 165.

¹³ Там же. С. 392—393.

¹⁴ Ср.: Топоров В. Н. Древняя Москва в балтийской перспективе // Балто-славянские исследования. 1981. С. 518—61.

¹⁵ Карамзин Н. М. История государства Российской в 12-ти томах. Т. II—III. С. 306.

¹⁶ Там же. С. 306

¹⁷ Акты, издаваемые Виленской археографической комиссией. Вильно. Т. 18. С. 396.

¹⁸ Грушевский А. Пинское полесье. Исторический очерк. Ч. 2. XIV—XVI в.

¹⁹ Русская историческая библиотека. СПб., 1915. Т. 33. С. 1204.

²⁰ «Ревизия пущ и переходов звериных в бывшем великом княжестве Литовском с присовокуплением грамот и привилегий на входы в пущи и на земли». С. 288.

²¹ Акты, относящиеся к истории Западной России. СПб., 1851. Т. 4. № 87, 110, 121.

²² Собрание древних грамот и актов городов минской губерни, православных монастырей, церквей и по разным предметам. Мн., 1848. №. 22.

²³ Там же. № 24.

²⁴ Там же. № 27.

²⁵ Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 4. №. 123, а также сообщение об этих событиях в «Описании Киевского Софийского собора и Киевской иерархии с присовокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное, также планов и фасадов Константинопольской и

Киевской Софийской церкви и Ярославова надгробия», составленном митрополитом Евгением Болховитиновым. Киев. 1825.

²⁶ Акты, издаваемые Виленской археографической комиссией. 1887. Вильно. Т. 14. № 41.

²⁷ Сентябрь 1577 года; Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 3. СПб., 1848. С. 218.

²⁸ Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. Т. 1. Спб., 1863. № 174. С. 201.

²⁹ Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 3. С. 240.

³⁰ Збор твораў. У 8-ми т. Т. 7. Мн., 1990. С. 32—33.

³¹ Акты, издаваемые Виленской археографической комиссией. Вильно. 1906. Т. 31. № 77.

³² Собрание древних грамот и актов городов минской губерни, православных монастырей, церквей и по разным предметам. № 62

³³ Boniecki A. Herbarz Polski. Warszawa. 1906. Т. 4. С. 391.

С. А. Шульц

ДОСТОЕВСКИЙ И КАМЮ

(Трансформация мотива Великого инквизитора)

Контекст образа Великого инквизитора у Достоевского, как известно, чрезвычайно сложен и многогранен. Он включает в себя не только определенные литературные источники («Дон Карлос» Шиллера, «Каменный гость», «Моцарт и Сальери», «Свободы сеятель пустынnyй...» Пушкина и т.д.) и автореминисценции («Хозяйка», «Село Степанчиково и его обитатели» и др.), но и религиозные и философско-мировоззренческие системы (католицизм с его былинами притязаниями на светскую власть, философский скептицизм, утопический социализм и т.д.)¹.

В данный контекст необходимо включить и средневековый схоластический спор о соотношении веры и разума. Раннехристианский автор Тертуллиан говорил: «Верую, ибо абсурдно». На последующих этапах развития средневековой теологической мысли встал вопрос о том, в какой степени содержание веры необходимо удостоверять данными разума и наоборот, каким образом разум может быть обоснован содержанием веры. Сама постановка этого вопроса есть в определенной мере расшатывание духа раннего христианства, поскольку категория веры в любом случае ставится под сомнение — ищет опоры в чем-то ином по отношению к себе.

В противоположность Тертуллиану Великий инквизитор мог бы сказать «Не верую, ибо абсурдно», потому что пресловутый здравый смысл, сама механистическая рациональность кардинала восстает против живой веры, хотя инквизитор и постылся когда-то в пустыне, и веровал тогда в Бога.

Идеологически-пропагандистские лозунги «чудо», «тайна», «авторитет», профанирующие исконный глубокий смысл этих понятий, одеты у кардинала в рационалистически-филантропическую оболочку, т.е. вместе с превратно понятым состраданием ближним они высвечивают за собой рационализированное желание господства и волю к власти. Примат рациональности над верой — закономерный путь к секуляризации европейской культуры, зарождающейся, как показал Достоевский, уже в недрах самого «исторического христианства» (если воспользоваться термином Канта) в его католическом изъоде.

Обращаясь к поэме о Великом инквизиторе, мы всегда должны помнить о том, кто ее рассказывает, в чьем воспаленном воображении она рождается. Рефлексирующая рациональность Ивана, смыкаясь с его метафизическим безумием, бросает на сюжетную ситуацию поэмы особый от свет. Два антагониста поэмы — Христос и испанский католический иерарх — в равной степени соотнесены с полюсами сознания героя, выступая, подобно черту и Смердякову, своеобразными «двойниками» Ивана. Противоречивое соединение сочувствия к людям с презрением к ним — общая черта инквизитора и Ивана. Но этот, внутренне разрывный полюс Иванова сознания, словно в соответствии с кантовскими антиномиями², смыкается с полюсом подлинной веры, с признанием духовной свободы каждого человека. Сама категория рефлексирующего разума оказывается, таким образом, на пороге сумасшествия.

Упоминание имени Канта, как показано Я. Э. Голосовкером, здесь совершенно неслучайно. В кантовских антиномиях чистого разума как раз пропадают контуры старинного схоластического спора о соотношении веры и разума, только теперь, в случае Канта, все вопросы веры отнесены к компетенции разума. Личность человека тем самым оголяется, во всяком случае, задается принципиально новый канон человека.

Принципиально, что в название поэмы не вынесено имя Христа. Ее главным героем остается все же инквизитор, и на первый план выдвигается его сознание. Достоевский неслучайно оставляет во многом в стороне напрашивающуюся в данном случае тему гонений католической инквизиции на еретиков, что необходимо для того, чтобы подчеркнуть момент более глубокой — духовной — власти людей, объявивших себя наследниками Христа и не верующих в Него, над «бесспорным общим и согласным муравейником» (14, 235)³. И именно это господство уже приводит к прямому насилию и сеет смерть.

Хотя С. Л. Франк отмечал, что тема католичества в данном случае второстепенна и «даже не затрагивает ее (поэмы. — С. Ш.)

ядра»⁴, представляется, что это не вполне так. Другое дело, что западное христианство выступает у Достоевского метафорой определенной духовно-социальной утопии, связанной с другими видами утопий, но эта разновидность христианства с ее мощной традицией и ее былыми притязаниями на светскую власть определенно бралась автором в расчет. Хотя в поэме католичество и православие резко разводятся в стороны, в образе старца Зосимы намечено некое их сближение: в келье старца рядом с православными иконами находится католический крест. Все это лишний раз подчеркивает двусмысленность поэмы Ивана в системе целого и необходимость рассматривать ее в качестве части сложного художественно-философского полилога «Братьев Карамазовых».

Жанр «Поэмы о Великом инквизиторе», по справедливому замечанию ее автора, восходит к средневековой мистерии, которая развивалась в основном на католической почве. Канон мистерии дан у Достоевского в своем трагически-гротескном, можно сказать, апокрифическом варианте, приближающем поэму скорее к антимистерии. Моделирующая космически-божественный порядок в интериоризированной плоскости — в качестве зрителя действия мог называться Бог как «зритель всех» — мистерия основывалась на сюжетах из Священной истории, которым придавалось еще и дидактическое значение. Иван выбирает никогда не использовавшийся в эпоху средневековья сюжет второго пришествия Христа (хотя, например, каждая из честерских мистерий заканчивалась словами «Ей, гряди, Господи Иисусе»⁵), имеющий эсхатологический и апокалиптический смысл. При этом вместо ожидаемой осанны Христу происходит нечто противоположное: Великий инквизитор заключает Его в темницу. За этой первой перипетией следует вторая, еще более потрясающая: поцелуй Христа и Его выход на волю по распоряжению инквизитора.

Финал поэмы замыкается образом инквизитора («Поцелуй горит на его сердце, но старик остается в прежней идее» (14, 239)), однако Иван лишает нас возможности узнать, что произошло потом с Христом: завершилось ли Его второе пришествие только этим? Хотя формально поэма не завершена, и Иван то вспоминает, то импровизирует какие-то ее эпизоды, но дело не в этом, а в том, что Христос остается в поэме своеобразной фигурой фикции (термин Андрея Белого): предмет описания задан, но не раскрыт вполне. К разгадке этой фигуры фикции подключаются уже и Алеша, и Достоевский с их собственным пониманием Христа, поскольку перед нами — полифоническая романная форма.

По мнению Бахтина, мистерия является карнавализованным, серьезно-смеховым жанром — и не только потому, что в ее состав могли включаться интермеди и фарсовые эпизоды, но и потому, что она представлялась на открытой народной площади во время церковных праздников. В поэме Ивана карнавальный момент безусловно присутствует, он рождается и изнутри мистерийной жанровой модели, и привносится в нее извне. Отсюда переворачивание ожидаемого (согласно Писанию) развития событий и определенная ирония рассказчика по отношению к инквизитору, перелицевавшему вероучение Христа на свой лад. Глубоко иронично подана прежде всего главная коллизия поэмы: чуждость Христа католицизму, как его представляет испанский иерарх. Можно подумать, что тем самым остроненно-символически выражены и идеи деизма о невмешательстве Бога в земные дела после сотворения мира, только теперь от мира отчуждается вторая, сыновняя ипостась Троицы.

В связи с отмеченным амбивалентно-ироническим контекстом образ кардинала раскрывает и сюжетная ситуация гоголевских «Записок сумасшедшего», где Великий инквизитор впрямую является проекцией сознания Поприщина и где заданы такие важные топосы ивановой поэмы, как власть, безумие, ложная самоидентификация и насилие⁶.

Внешнее действие поэмы неотделимо от внутреннего, от борьбы внутри сознания инквизитора и Ивана. Вновь напомним: перед нами рассказанная (и к тому же все-таки неоконченная) мистерия, что тем более интеллектуализирует и психологизирует ее. Пояснения Ивана к событиям сюжета далеко перешагивают характер авторских «ремарок». Достоевский косвенно предвосхищает здесь и предстоящее на рубеже XIX—XX веков возрождение и обновление канона духовной драмы, и возникновение философско-интеллектуального театра XX века, репрезентативным образцом которого является пьеса Альбера Камю «Калигула». В условиях уже не предошущаемого, а реально осуществившегося тоталитаризма, Камю поднимает вопрос о рабстве и свободе человека, о подлинной и минимой любви к людям, развивая мотив и весь философско-религиозно-литературный интертекст Великого инквизитора. Интересный оттенок этому придает то, что французский автор — наследник католической культуры, как бы он к ней ни относился.

Вообще же, подобно тому, как ситуация Дон Кихота в мировой литературе связана с именем Сервантеса, а ситуация ревизора — с именем Гоголя⁷, так и использование ситуации Великого инквизитора неотрывно от имени Достоевского. Назван-

ные персонажи давно стали не только конкретными, но и условно-символическими, архетипическими фигурами.

Вариацией Инквизитора у Камю является римский император Калигула, возомнивший себя выше богов. Подобно развитию событий в поэме Ивана, действие пьесы приобретает во многом иррациональный характер, что, впрочем, нимало не ставит под сомнение философский рационализм французского автора. Разум проходит здесь через испытание своей противоположностью — абсурдом или даже безумием — и должен в итоге застыть где-то на грани между смыслом и бессмыслицей. За многочисленными рассуждениями Камю об абсурде в «Мифе о Сизифе» нельзя не увидеть следа перелицованный кантовской формулы о вере: это нужно принять, поскольку ничего другого не остается.

Любопытно, что Камю выбирает в качестве материала своего произведения античность как исток европейской культуры. Истолкование этого истока двойственno. С одной стороны, античность изображается как царство темных подсознательных инстинктов (в традиции таких непохожих авторов, как Клейст и Фрейд), а с другой стороны, образ античности своеобразно христианизируется, через пристальное внимание к тончайшим глубинам психологии героев в том числе. При этом соотнесение христианской и античной систем ценностей служит тому, чтобы определенным образом поставить под вопрос и ту, и другую.

Завязкой внешнего и внутреннего действия в «Калигуле» служит неожиданная смерть сестры и любовницы Калигулы, которая обращает императора к мыслям о бренности сущего и заставляет его искать «невозможного» — полной «свободы», такой власти над мирозданием, которая превзошла бы власть богов, благодаря которой «люди умирают, и они несчастны»⁸. Попытки осуществления этой задачи, в которой сострадание к другим сочетается с жаждой самоутверждения, превращают Калигулу в иррационального тирана.

Свободы в пьесе парадоксальным образом ищет сам правитель, и эта «свобода» мыслится как свобода и от других, и от самого себя, что в конечном счете интериоризирует идею свободы. Подобно Ивану, безумный Калигула никак не может разобраться с самим собой, отсюда известное диалогическое «оправдание» Камю его действий, разумеется, не буквальное, а экзистенциальное и философское.

Калигуловская жажда обретения «человекобожия» сродни орестовской в пьесе Сартра «Мухи»⁹, но при этом она лишена того обаяния личной ответственности, которая двигала сартровским Орестом, и напрямую увязывается автором и героями пье-

сы с безумием. Безумие Калигулы выступает как форма чудо-вищного помрачения образа и подобия Божьего. С. И. Великовский отчасти справедливо видит в протагонисте ««христианина навыворот» — охваченного тоской безбожника ницшеанского толка»¹⁰. Но гораздо справедливее отметить в Калигуле безумие рефлексивного рационализма, доведенного до абсурдных пределов. Вместе с безумием в пьесе Камю ожидают и другие топосы контекста Великого инквизитора: ложная самоидентификация, власть и насилие.

Для Калигулы оказывается весома и та проекция мотива Великого инквизитора, которая связана с образом Фомы Опискина. Соединяя в себе ипостаси юродствующего шута и тирана, Фома обладал властью над другими ровно в такой степени, в какой другие этого хотели и позволяли.

Следует, однако, заметить, что Фома — в любом случае карнавальный тиран. Именно поэтому его влияние на жизнь обитателей Степанчикова в конечном счете позитивно: благодаря Фоме финал приносит счастливое соединение Настеньки и Егора Ильича.

Слова Фомы «Дайте, дайте мне человека, чтоб я мог любить его» (3, 154) почти дословно повторяют высказывание Поприщина «Мне подавайте человека! Я хочу видеть человека...»¹¹ (в свою очередь, восходящего к реплике шекспировского Гамлета), что лишний раз подчеркивает участие «Записок сумасшедшего» в интертексте поэмы «Великий инквизитор».

Калигула прекрасно отдает себе отчет в том, что его власть покоится на тех же основаниях, что и власть Фомы (хотя и без карнавального элемента). Поэтому одним из постоянных желаний императора становится желание увидеть в подданных хотя бы намек на непокорность и личную свободу. Когда Старый патриций доносит Калигуле о готовящемся против него заговоре, тот восклицает: «Если то, что ты говоришь, правда, то я должен предположить, что ты предаешь своих друзей, не так ли? <...> Я так презираю всякую подлость, что не смогу удержаться и непременно велю казнить предателя»¹².

Вместе с тем сюда вкладывается оттенок фиглярства и юродства, как и во все, что совершается Калигулой. Знаменательны постоянные сцены кривляний императора перед зеркалом, в котором он видит разные половины самого себя. Ср. замечания Бахтина из его заметок «Человек у зеркала»: «Не я смотрю и изнутри своими глазами на мир, а я смотрю на себя глазами мира, чужими глазами; я одержим другим. Подсмотреть свой заочный образ. <...> У меня нет точки зрения на

себя извне, у меня нет подхода к своему собственному образу. Из моих глаз глядят чужие глаза»¹³.

Соединение ума и безумия, низости и великодушия, несчастья и почти благодати — таков протагонист Камю.

Отдельная тема Камю, существенно развивающая Достоевского, — тема одиночества и страданий тирана. В финале она становится едва ли не основной. Наделенный колоссальной властью убивать и манипулировать окружающими, Калигула так и не смог найти в этом удовлетворения: «Я пошел не той дорогой, она никуда не ведет. Моя свобода — ложная»¹⁴. Это понимает и часть окружения протагониста, создавая вокруг него ореол мучительного сострадания. Цезония бросает о Калигуле загадочную фразу: «Слишком много души! <...> это называют болезнью»¹⁵ (источник реплики — в словах Достоевского о том, что слишком много сознания — это болезнь). Вместе с «филантропическими» сентенциями Калигулы в этом сострадании — самые человечные ноты во всей пьесе, существенно трансформирующие ее смысл и заставляющие увидеть в сознании подданных Калигулы некоторые элементы настоящей свободы. Именно в этом, а не в попытках заговора против тирана. Впрочем, в этой «человечности» проступает и что-то нездоровое: боль, которая не столько очищает, сколько подчеркивает общую атмосферу трагического гротеска и абсурда.

Сюда вложен и иррациональный мотив взаимосвязи и даже взаимообратимости палача и жертвы (присутствующий и в непосредственно предшествующем «Калигуле» «Приглашении на казнь» Набокова и имеющий глубинные ритуально-мифологические корни). В этом отношении Калигула оказывается частью сознания своих подданных, не внешним, а внутренним их кошмаром, также как и окружающие становятся внутренним кошмаром самого императора. Поэтому нельзя разделить мнение С. И. Великовского о том, что другие не принимаются Калигулой в расчет¹⁶: другие становятся проблемой, разрешить которую человеку с раздвоенным сознанием Калигулы крайне трудно.

Гибель Калигулы от рук заговорщиков, инспирированная им самим, подчеркивает невозможность соединения тиранической власти и внутренней свободы в одних руках. Отсюда момент самоосознаваемой несвободы самого «Великого инквизитора», что объясняет тот поцелуй, который дарит инквизитору Иисус. Благодаря Камю Рим католический и Рим языческий сходятся в интертексте Великого инквизитора, заставляя поднимать все новые и новые вопросы о роли предшествующей традиции в католическом вероучении, в христианстве вообще.

Отвергая навязчивую рационалистическую идею Калигулы безупречно следовать раз и навсегда принятой логике и показывая ее безумную основу, ее вырождение в абсурд (отнюдь не в тертуллиановском значении), Камю оставляет зрителя между смыслом и бессмыслицей. При этом сама мысль об абсолютной власти у Камю — препятствие к свободе человека — и правительства, и подданного. Перед нами не столько анахизм, сколько осмысление горьких уроков «черной середины XX века»¹⁷, заочно начатое Достоевским почти за столетие до Камю и по-своему подхваченное им¹⁸.

¹ См. в комментариях к изданию: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. В 30-и т. Т. 15. Л., 1976. С. 462—465, а также: *Багно В. Е.* К источникам поэмы «Великий инквизитор» // *Достоевский: Материалы и исследования*. Л., 1985. Вып. 6. С. 54—66; *Семыкина Р. С.* Роман Ф. М. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» как комическая антиутопия // *Проблемы типологии литературного процесса*. Пермь, 1992. С. 54; *Бочаров С.* «Ты человечество презрел». Об одном сюжете русской литературы и его актуальности // *Новый мир*, 2002, № 8. С. 141—153; и др.

² Ср.: *Голосовкер Я. Э.* Достоевский и Кант. Размышления читателя над романом «Братья Карамазовы» и трактатом Канта «Критика чистого разума». М., 1963.

³ Произведения Достоевского цит. по изд. (с указанием тома и страницы в круглых скобках): *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. В 30 т. Л., 1972—1990.

⁴ *Франк С. Л.* Легенда о Великом инквизиторе // О Великом инквизиторе. Достоевский и последующие. М., 1991. С. 244.

⁵ The Chester Plays / Ed. by T. Wright. L., 1843. P.19, 44, 56, 76, 93, 118, 145, 161, 171, 188, 200, 211.

⁶ Повествование Гоголя также достаточно театрализировано, как это будет и в поэме об инквизиторе, см. об этом подробнее: Шульц С. А. «Записки сумасшедшего» Гоголя и «Записки сумасшедшего» Л. Толстого: топика и нарратив // Гоголезнавчі студії. Вип. 7. Ніжин, 2001. Гоголеведческие студии. Вып. 7. Нежин, 2001.

⁷ *Манн Ю. В.* Поэтика Гоголя. 2-е изд. М., 1988. С. 203.

⁸ *Камю А.* Избранное. М., 1989. С. 418.

⁹ См. подробнее: Шульц С. А. Историческая поэтика драматургии Л. Н. Толстого (герменевтический аспект). Ростов-на-Дону, 2002. С. 196—197.

¹⁰ *Великовский С. И.* Грани «несчастного сознания». М., 1973. С. 44.

¹¹ *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 7 т. Т. 3. М., 1977. С. 167.

¹² *Камю А.* Указ. соч. С. 445.

¹³ *Бахтин М. М.* Собр. соч.: В 7 т. Т. 5. М., 1996. С. 71.

¹⁴ *Камю А.* Указ. соч. С. 462.

¹⁵ Там же. С. 455.

¹⁶ *Великовский С. И.* Указ. соч. С. 44.

¹⁷ *Бочаров С. Г.* Указ. соч. С. 153.

¹⁸ В наши дни мотив Великого инквизитора в духе Камю (через амбициозное сострадание тирану) разрабатывает кинорежиссер А. Сокуров (ср. образы Гитлера и Ленина в фильмах «Молох» и «Телец»).

И. В. Морозова
ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ «ЮЖНОГО МИФА»
В КУЛЬТУРЕ И ЛИТЕРАТУРЕ США

«Южный миф» является одной из самых устойчивых культурно-исторических парадигм США. Обращение к «южному мифу» возникает всякий раз, когда поднимаются вопросы, так или иначе связанные с общими тенденциями развития национальной литературы и культуры, с изучением региональных аспектов, проблем моно- и мультикультурализма, межрасовых отношений в США.

Американские исследователи, равно как и отечественные, в своих работах свободно пользуются этим термином, подразумевая под ним целый комплекс идей и представлений, в той или иной степени отражающих некий устойчивый образ Юга. Все большее количество современных американских ученых широко применяют и такие термины, как «южная мифология» (*Southern mythology*), «южное мифосоздание», «южное мифотворение» (*Southern mythmaking, Southern myth creation*), выделяя при этом отдельные структурные единицы собственно «южного мифа»: «плантационный миф» (*Plantation myth*), «миф южной леди» (*myth of the Southern Lady*), «миф проигранного дела» (*myth of the Lost Cause*) и т. д. При этом ни в одном исследовании практически невозможно найти четкого и достаточно вразумительного ответа не только на вопрос, что такое «южный миф», но и на вопрос, что такое собственно Юг — географический объект, климатическая зона, исторический регион, особая ментальность, или созданный на страницах романов художественный образ? «Что такое Юг? Существует ли он? Или южная часть Штатов больше миф, чем субстанция?», — так многие исследователи ставят вопрос, когда обращаются к изучению тех или иных проблем, связанных с этим регионом¹.

Однако как бы провокационно ни звучала постановка проблемы, все ученые в целом солидаризуются с мнением Л. Д. Рубина, что, «начиная с того времени, когда штаты ранней Американской республики стали проявлять озабоченность по поводу своих географических очертаний, уже тогда существовал Юг со своим собственным самосознанием. И теперь, спустя почти два столетия, он все еще есть»².

Несмотря на то, что данное утверждение является исходной посылкой в изучении южного феномена, тем не менее, приходится согласиться с тем, что существует огромное количество образов Юга, множество зачастую противоположных и взаимо-

исключающих точек зрения в определении сущности южного сознания, образа жизни, специфики южной истории и культуры. Как справедливо отмечает М. Такер, «прошлое и настоящее южного мифа по сей день остается неуловимым и дразнящим... Он проявляет себя в огромном разнообразии форм, но его точное определение до сих пор не стало ясным»³.

В любом случае, как подчеркивает другой американский исследователь культуры Юга Н. Кордс, «Юг в соответствии со своими собственными планами пользуется значительным фактическим материалом и, конечно, воображением, для того, чтобы создать умозрительные конструкции собственной истории и приспособливать их к своему прошлому, к которому южане относятся как к абсолютной истине»⁴. Говоря об «умозрительных конструкциях», Н. Кордс, безусловно, имеет в виду «южный миф», который для южного сознания является реальностью, так как по сей день люди основывают на нем свои убеждения и действуют так, как будто миф является истиной.

Представляется, что наиболее близко к определению сущности «южного мифа» подошел в своем исследовании Дж. Тиндэлл. Так, в своей статье «Мифология: Новый фронт в южной истории», говоря о значении «мифических образов Юга» для американской истории, он отмечает: «Идея Юга или, что наиболее точно, идеи Юга, в большей степени относятся к разряду социальных мифов. В настоящее время существует совсем немного районов в мире, которые породили такую убедительную, такую богатую и разнообразную, даже парадоксальную, региональную мифологию, как американский Юг... Рассматривая идеи Юга в контексте мифологии, вовсе не обязательно выносить суждение о них как об иллюзиях... Оставляя в стороне многочисленные коннотации, связанные с самим термином, мы можем сказать, что социальные мифы в целом, не исключая и южных, являются умозрительными картинами, изображающими модель того, что люди думают о себе (какие они на самом деле или какими должны быть), или кто-то другой думает о том, какие они»⁵.

Такой подход к пониманию «южного мифа» представляется наиболее продуктивным, хотя и не претендует на всеобъемлющую его дефиницию и объяснение и, в какой-то мере, игнорирует определенную двойственность самой природы «южного мифа», с одной стороны, а с другой — не учитывает способов функционирования и отражения этого мифа в массовом сознании и литературе.

Ни в коей мере не претендую на некое окончательное и ис-

тинное решение данного вопроса, позволим себе ряд замечаний относительно указанной выше двойственности как самой природы «южного мифа», так и характера его отражения и восприятия, что, на наш взгляд, во многом определяет его специфику и делает его непохожим на другие мифологические структуры.

С одной стороны, солидаризируясь с мнением Дж. Тиндалла, мы склонны относить «южный миф» к социальным мифам, понимаемым не в смысле иллюзии, лжи, лживой пропаганды, догматического выражения социальных обычаяев и ценностей, а в смысле определенной, по выражению Р. Барта, «оформленности идей»⁶. Следуя мысли Р. Барта о сущности социального мифа, можно перефразировать его высказывание о том, что «оформленность идей» в «южном мифе» явно на стороне белых угнетателей: «Здесь он (миф. — И. М.) становится сущностным — упитанно-лоснящимся, экспансивно-болтливым, неистощимым на выдумки. Он охватывает собой все — любые формы юстиции, морали, эстетики, дипломатии, домашнего хозяйства, литературы, зрелищ <...> угнетатель... охраняет устои, и его слово всеобъемлюще, нетранзитивно, носит характер театрального жеста — это и есть Миф»⁷.

Определяя «южный миф» как социальный, ни в коем случае нельзя исчерпывать его смысло- и формосодержание только тем, что он является овеществленную в слове идеологию рабовладельческого класса, некий инструмент политической демагогии, используемый для сохранения иувековечения рабовладельческой системы и соответствующих ей патриархальных социальных отношений.

Справедливо утверждение Р. Барта о том, что «те или иные мифы лучше всего зреют в той или иной социальной среде; у мифа тоже бывают свои микроклиматы»⁸. Для возникновения «оформленности идей» в «южном мифе» таким «микроклиматом», с одной стороны, явилась необходимость отстаивать и защищать общественные ценности и социальные установления рабовладельческого Юга в условиях нарастающих политических противоречий между Севером и Югом. При этом необходимо отметить, что в создании этого образа одинаково важную роль сыграли оба региона: чем сильнее были нападки со стороны Севера, тем громче и убедительнее звучал голос южан в свое оправдание. Кроме того, как совершенно справедливо отмечают американские историки, сами северяне «внесли вклад в создание романтического и мифического образа Дикси в американском сознании»⁹. К примеру, песни северянина Стивена

Фостера наряду с романами южанина Джона Пендалтона Кеннеди во многом помогли закрепить «планктационную иллюзию» в американских умах¹⁰.

С другой стороны, что является даже более существенным для формирования «южного мифа», его особый «микроклимат» создавался тем, что для южан социально-политический вопрос о сохранении рабовладения рассматривался не как региональный, частный вопрос. Для них он перерастал в проблему гораздо более масштабную — проблему сохранения общечеловеческих гуманитарных ценностей, традиций демократии и идей республиканской государственности, и особое значение в этом смысле имела присущая южной культуре тенденция ассоциации своего региона с античным миром.

Общеизвестно, что на формирование американских политических идей сильное воздействие оказalo французское Просвещение, однако опосредованно, как отмечают исследователи, американская общественно-политическая мысль испытала мощное влияние античной, и прежде всего римской, идеологии и культуры. Х. М. Джонс в своей работе «О, странный новый мир» убедительно доказывает это, указывая на все сущностные и формальные признаки такого влияния: «конституционно мы не демократия, а республика, то есть *res publica*, что значит “общее дело”, «национальный законодательный орган не парламент... а конгресс, от слова *congressus* — “собрание”; конгресс заседает не в доме парламента и не во дворце, а в Капитолии, «слово, которое изначально означало цитадель, храм на горе, как храм Юпитера, расположенный на Капитолийском холме в Риме», не говоря уже об орле как государственном символе¹¹.

Кроме существенных ассоциаций с античной политической мыслью и присущей ей символикой в общенациональном сознании, на Юге существовало еще и рабовладение, что еще больше привязывало южан к античной политической и бытовой культуре. Поэтому совершенно закономерным явилось то, что в организации плантации даже проповедники-христиане на Юге, о чём пишет Э. Джиновизи, провозглашали лозунг, что «каждая южная плантация — это *imperium in imperio*¹²», и, как отмечает Х. М. Джонс, свои дома плантаторы строили так, чтобы они напоминали Капитолий маленького государства.

Южане, таким образом, рассматривали себя в качестве прямых продолжателей культурного наследия античной цивилизации и носителей чистых идей республики как ассоциации конфедераций, что порождало убежденность в своей исключитель-

ности и укрепляло представление о Юге как об особом субъекте с особой миссией. Поэтому любая критика южного образа жизни воспринималась как посягательство на идеалы республики и на культуру, построенную на этих идеалах.

Чрезвычайно важным в смысле оформления «южного мифа» является тот факт, что Старый Юг осмысливал себя не только и не столько в рамках социально-политической парадигмы, сколько в более обширном дискурсе культурной самоидентификации. Думается, что в случае с «южным мифом» мы имеем дело с определенным типом осмысления себя, где убежденность в своей избранности, исключительности порождает определенный тип мифологического мышления, близкий по своему характеру архаическому, в котором «миф — не идеальное понятие, и так же не идея и не понятие. Это и есть сама жизнь. Для мифического субъекта это есть подлинная жизнь со всеми ее надеждами и страхами, ожиданиями и отчаянием, со всей ее реальной повседневностью и чисто личной заинтересованностью. Миф не есть бытие идеальное, но *жизненно ощущаемая и творимая, вещественная реальность и телесная, до животности телесная, действительность*»¹³.

Представляется, что сосуществование в «южном мифе» идеологической ангажированности и тенденциозности, в большей степени характерных для так называемых «искусственных» социальных мифов XX века, с одной стороны, а с другой — своеобразной формы архаического мифологического мышления с присущей ему «жизненно ощущаемой и вещественной реальностью», и является спецификой двойственной природы «южного мифа».

При обращении к анализу такого феномена, как «южный миф», необходимо, на наш взгляд учитывать не только указанную двойственность его природы, но и двойственность самого процесса мифотворчества, на которую справедливо указывает Н. Кордс, утверждающий, что «мифотворчество — это двойной процесс, при помощи которого культура структурирует свой мир и при помощи которого она увековечивает свои великие мечты»¹⁴.

В характере «южного мифа», как и всякого другого, кроется тактика, которую отметил Р. Барт: «Миф ничего не скрывает и ничего не демонстрирует — он деформирует; его тактика — не правда и не ложь, а отклонение»¹⁵. Действительно, устойчивость таких основополагающих понятий «южного мифа», как «кодекс чести», или таких образов, как «южная леди» и «южный джентльмен», равно как и представление о Юге США как крае обширных плантаций, цветущих магнолий, крае мир-

ного и созидающего общинного труда и всеобщего процветания, где отношения между людьми строятся на основе христианских заповедей, обусловлена тем, что в какой-то степени все это существовало в действительности. Иначе, как совершенно справедливо отмечает автор скрупулезных трудов по изучению этики Старого Юга Б. Уайат-Браун, совершенно непонятно, «как и почему однажды американцы шли на смерть, борясь за принципы, которые якобы не имели реальной силы»¹⁶.

В США исследование «южного мифа» ведется по всем направлениям гуманитарных наук. Им занимаются культурологи, социологи, политологи, историки, литературоведы. Особенно преуспели в изучении этого феномена сами южане. Практически в каждом университете южных штатов выходят ежеквартальные научные журналы, посвященные региональной тематике, существуют специальные общества по изучению южной истории и культуры, систематически выпускаются антологии южных писателей и поэтов.

Однако при всем многообразии подходов к изучению «южного мифа», основными способами его рассмотрения являются три, указанные Р. Бартом применительно к мифу вообще, способы. Два из них «носят статико-аналитический характер: миф в них разрушается либо путем открытого осознания его интенции, либо путем ее разоблачения (первый взгляд циничный, второй — демистифицирующий). Третий же способ — динамический, здесь миф усваивается согласно его собственной структурной установке: читатель переживает миф как историю одновременно правдивую и нереальную»¹⁷.

Благодаря приверженцам первых двух способов теперь уже общеизвестно, что вопреки популярному мнению Юг никогда не представлял собой монолитного общества. Регион включал в себя одиннадцать штатов с довольно пестрым национальным составом и, соответственно, с разным культурно-историческим наследием. Большинство населения не являлось рабовладельцами: по данным на 1850-е гг. из восьми миллионов белого населения только 1 % (3000 семей) имели более сотни рабов, 6,6 % — от десяти до девяноста девяти, 17,2 % — от одного до девяти, а 76,1 % не имели рабов вообще. Большинство южан не владело плантациями и внушительными «домами с белыми колоннами», ставшими своеобразной эмблемой Юга; в основном население проживало в небольших домиках с двумя, реже — с тремя внутренними помещениями.

Кроме того, исследование «южного мифа» этими двумя способами позволяет взглянуть на Юг с разных позиций. Благода-

ря такому подходу становится ясным, что вариации образа Юга зависят от точки зрения того, кто его пытается воссоздать: есть вариант «северного» Юга, «белого» и «черного», «женского» и «мужского».

Тем не менее, другие исследователи Старого Юга, как, например, вышеназванные Л. Рубин или Б. Уайат-Браун, рассматривают «южный миф» согласно его собственной структурной установке, пытаясь проникнуть в сущность южного мироощущения того времени. Вообще, такой подход характерен прежде всего для самой «южной» научной школы, что неудивительно, поскольку «южный миф», как показывает время, обладает и по сей день необычайным обаянием и притягательностью и вопреки всем стараниям последователей «статико-аналитических» способов демистифицировать его до сих пор воспринимается как некая реальность.

В «южном мифе», точно так же, как и в классическом, мы имеем дело с мифологическими представлениями (мироощущением, мифической картиной мира) и мифологическим повествованием (сюжетами, событиями). Для мифологического повествования характерна, как известно, эпическая форма. Эпосом «южного мифа» выступает роман, в котором «южный миф» также либо демистифицируется (например, у У. Фолкнера), либо воспринимается как некая реальность (как в «Унесенных ветром» М. Митчелл).

Представляется, что изучение южного романа, как, впрочем, и литературы Юга в целом, еще очень далеко от своего завершения. В течение достаточно долгого времени распространенной точкой зрения на собственно «южный» роман была та, согласно которой южный роман стал проявлять себя как такой только во второй половине XIX века. Причиной тому была определенная «невыделенность» южного сознания из общенационального. По мнению некоторых исследователей, до 1860-го года Север и Юг еще мыслили себя как равновеликие части целого общественного организма, тогда как после большинству американцев «пришлось взглянуть на свое общество как разделенное на Север и Юг — на демократическую, коммерческую цивилизацию, и аристократическую, аграрную. Каждая из частей, как тогда верили, обладает собственной этикой, собственными историческими традициями, и даже, по всеобщему мнению, особым расовым наследием. Каждая из сторон руководствовалась и вдохновлялась разными духовными ценностями»¹⁸.

После Гражданской войны, в период Реконструкции, поверженный Юг, оплакивая «проигранное дело» все чаще с но-

стальгией обращается к образу Старого Юга, противопоставляя его нравственность разнужданному меркантилизму Севера. Однако и у самих южан возникает тенденция к пересмотру привычной картины своего региона, осуществляются попытки критического осмысления сущности южного сообщества. Именно тогда и происходит, по мнению некоторых исследователей, оформление южного самосознания и возникает потребность его отражения в литературе, а следовательно, разговор о «южном мифе» в романе и стоит начинать только с последней трети XIX века.

Данная точка зрения, на наш взгляд, не выдерживает критики, поскольку известно, что «именно в период между завершением англо-американской войны в 1815 г. и началом Гражданской войны в 1861 г. наблюдается резкий всплеск сепаратистских настроений и происходит интенсивное формирование концепций и теорий особого общественного и культурного развития Юга»¹⁹. Именно в этот период создавались собственные периодические издания, происходило зарождение региональной историографии, художественного и литературно-критического творчества, «налицо формирование в этот период художественно-эстетических и мифо-поэтических концепций южного характера, южного прошлого, настоящего и будущего, заложивших основание великому мифу о Старом Юге»²⁰.

Формирование представления о Юге как особой части североамериканского континента можно отнести еще к концу XVII в., когда происходило становление плантаторского класса и рабовладельческого института и, соответственно, начала складываться специфическая социально-политическая атмосфера, этика и культура, впоследствии выразившие себя в понятии «южности». Выделению Юга в отдельный регион, безусловно, способствовало и его географическое положение. Специфические климатические и природные условия — обилие солнца, влаги, буйной растительности — порождали особый стиль жизни, «замедляли темп жизни и речи, стимулировали жизненную активность вне дома, рождали архитектуру, способную сохранять прохладу внутри него»²¹.

В письменных свидетельствах жителей южной части североамериканского континента еще до провозглашения независимости можно заметить формирование образа Юга как особенного места обитания. Несомненный интерес с этой точки зрения вызывают, на наш взгляд, письма виргинского плантатора Уильяма Бирда Уэстовера, датированные 1726–1727 гг. В них содержится достаточно широкая картина почти райского существования на территории Виргинии. Прежде всего, обращаясь к своему английскому другу, автор описывает климат, разитель-

но отличающийся от туманного Лондона. Он отмечает прекрасную цветущую весну, теплое солнце, которое, правда, бывает очень жарким в течение трех летних месяцев, но «остальные девять очаровательно восхитительны, когда воздух свеж и небо безоблачно»²².

Однако не только климатическими условиями, «когда наши легкие вбирают в себя чистейший воздух» отличается Виргиния, а щедростью Природы в целом. Так, продолжает Бирд Уэстовер, «наши плоды необыкновенно душистые и сочные, а наше мясо обладает особенным вкусом, и я не сомневаюсь в том, что, когда придет их время, наши металлы окажутся чистейшим золотом и серебром. Природа чрезвычайно милостива к нам и производит свои плоды почти самопроизвольно»²³.

Отмеченные климатические и природные условия, по мнению виргинского плантатора, формируют определенные черты характера людей, населяющих эту территорию, и порождают специфическую бытовую этику. «Помимо свежего воздуха, мы обладаем всеми видами продуктов без финансовых затрат на них (я имею ввиду тех, кто владеет плантациями). У меня большая семья, но двери моего дома открыты для всех, так как мне не надо платить никаких счетов, и мои сбережения в течение многих месяцев остаются нетронутыми»²⁴.

Специальное внимание автор уделяет добрым нравам и честности виргинцев, когда на всю ночь окна и двери дома можно оставлять открытыми, а на утро найти все в том же порядке и все на своих местах, что и вчера. Все спокойны за свое имущество и сохранность своей собственности, хотя, как подчеркивает Бирд Уэстовер, для ее приумножения хозяину плантации приходится много работать, следить за тем, чтобы «все мои люди исполняли свои обязанности».

Здесь же затрагивается вопрос о рабовладении. В интерпретации автора, плантатора и рабовладельца, оказывается, что благодаря щедрости природы и плодородию земли «наши бедные негры абсолютно свободны по сравнению с рабами, возделывающими Вашу неблагодатную почву, по крайней мере, если понимать рабство как отсутствие тяжелого труда»²⁵.

Суммирует все эти замечания об особенностях жизни в Виргинии фраза, которую можно рассматривать как ключ к пониманию складывавшегося образа Юга. «Наша земля, — пишет Бирд Уэстовер, — производит все чудесные вещи Рая, за исключением невинности и древа жизни, и даже это мы можем получить, если научимся использовать все то, что уже имеем, сдержанно»²⁶.

Необходимо подчеркнуть, что Бирд Уэстовер, живший еще до образования собственно Соединенных Штатов, описывая Виргинию, естественно, имел в виду картину всеобщего благоденствия в колониях в целом, особенно по сравнению с Европой, с Англией. Тем не менее представляется очевидным, что именно такое восприятие Виргинии, которая стала южным штатом, характеризует рецепцию Юга вообще в ее первозданном и, отметим, мало изменившемся за столетие варианте и является собой своего рода «первообраз», лежащий в основании «южного мифа». В картине жизни Виргинии, нарисованной Бирдом Уэстовером, достаточно четко выделяются как основные структурные уровни «южного мифа», которые в дальнейшем будут наполняться все более глубоким содержанием (природа и климат, организующие жизненный стиль, особая этика, порождающая определенный характер, и рабовладение), так и угадывается будущий набор персонажей мифа (плантатор и его большая семья, жена плантатора, рабы).

Любопытным является и тот факт, что еще в пору восприятия «нерасчлененности» своей территории здесь проявляется тенденция к созданию позитивного образа своей земли путем ее сравнения с другой, иной. Роль «другой земли» выполняет в данном случае Англия, которую Бирд Уэстовер, не именуя Виргинию Югом, называет Севером. Так что не будет большим прегрешением против истины считать, что корни известной оппозиции Юг – Север также можно возводить еще к началу XVIII столетия.

К концу XVIII столетия достаточно четко формулировалась значительная разница в характеристиках и образе жизни Юга и Севера уже внутри самих Соединенных Штатов. Весьма существенным в этом смысле является письмо Т. Джефферсона 1785 г., где он говорит о двух типах американского характера и четко выделяет их основные черты. Джефферсон склонен считать, что основные достоинства и пороки южного и северного характеров объясняются особенностями климата. Так, теплый климат Юга, по мнению Джефферсона, «расслабляет и одинаково оголяет тело и рассудок», а потому в качестве типичных для южан черт характера он выделяет пылкость, неумеренность, праздность, непостоянство, независимость, великодушие, искренность, ревностное отношение к своей свободе и в то же время стремление к попранию свобод других, отсутствие религиозного ханжества и внешней привязанности к какой-либо религиозной доктрине, кроме той веры, которая исходит из сердца²⁷.

Письмо Джефферсона, таким образом, может являться сви-

дательством того, что практически с момента образования независимого американского государства и начала процесса самоидентификации американской нации заметна тенденция к выделению Юга в некий отдельный регион. Однако, как представляется, до 20-х годов XIX века идея или идеи южной цивилизации и южного характера не имели еще достаточно четкого выражения и своей «оформленности в слове».

Интенсивное формирование собственно идеологической базы «южности», проявившейся в появлении различных концепций и теорий относительно особого пути развития Юга, связано с целым комплексом социально-политических, экономических и культурно-исторических обстоятельств, обнаружившихся по завершении англо-американской войны. Англо-американская война 1812—1815 гг. окончательно узаконила полную независимость Соединенных Штатов. Теперь внимание нации сосредоточилось на решении внутренних проблем, связанных с укреплением национального и государственного единства, развитием демократических свобод. Именно тогда обнаружилось разное понимание сути американской демократии, которое проявило себя в противостоянии южной и северной точек зрения на социально-политическое и экономическое развитие нации.

Главной проблемой, требующей кардинального решения после 1815 г., становится проблема рабства. Ни в коем случае нельзя говорить о том, что в стране, где основным тезисом общественного бытия был тезис о том, что «все люди рождены равными», только в указанное время впервые обнаружилось явное несоответствие декларации свободы и реальной действительности, в которой существовало рабство как узаконенный социальный институт. Можно сказать, что негативное отношение к рабству проявило себя задолго до образования государства, начиная с момента закрепления рабовладельческого института в 1749 г. на территории Джорджии. Первоеabolиционистское «Общество по освобождению негров, незаконно содержащихся в неволе», было создано еще в 1755 г. Б. Франклином. В 1777 и 1780 гг. вначале Вермонт, а потом Пенсильвания запретили рабство на своих территориях. Их примеру последовали многие штаты, мотивируя отмену рабства несогласием основным принципам свободы, заявленным в «Декларации независимости».

С конца XVIII столетия начинается обсуждение процесса освобождения негров. В качестве одного из решений этой проблемы предлагалось своего рода депатриация негров на Африканский континент. Впервые такое решение было принято в

Виргинии в 1800 г., а в 1820 г. первая группа бывших рабов была отправлена в Сьерра Леоне.

Однако до так называемого Миссурийского компромисса, случившегося в 1820 г. в результате дебатов по поводу правомочности принятия в число штатов рабовладельческого Миссури, нельзя говорить о противопоставлении Юга и Севера. После же этого события впервые была проведена демаркационная линия между рабовладельческим Югом и свободным от рабства Севером как разнонаправленными в своем социальном, экономическом и политическом развитии частями одного государства.

Вторым важным событием, потрясшим современников и обозначившим серьезнейшую угрозу рабовладению на Юге, было восстание рабов под предводительством Ната Тернера, когда за сутки он и семьдесят его сподвижников убили семьдесят человек белых, после чего восстание было подавлено федеральными войсками и милицией Виргинии. Потрясенные южане требовали ужесточения законов по отношению к рабам и обвиняли во всемabolиционистов-северян, подстрекающих рабов на акты насилия против белого населения. Это событие также усилило процесс разъединения Юга и Севера.

Третьим важным моментом, усугубившим конфликтную ситуацию между двумя регионами, стал вызов авторитету федеральной власти, брошенный Южной Каролиной в 1832 г. Суть этого вызова состояла в том, что федеральная власть в 1828 г. ввела новые достаточно высокие тарифы на изделия из шерсти и железа. Южные штаты, не производившие этот вид товаров, восприняли новые ставки, как они их называли, «тарифов абсурда» в качестве прямых нападок правительства на экономику Юга. Джон Кэлхун, тогдашний вице-президент, написал эссе, в котором предложил ввести разрешение нуллификации федеральных законов на территории отдельных штатов. Южная Каролина, последовав рекомендациям Кэлхуна, в 1832 г. объявила «тарифы абсурда» недействительными на территории своего штата, а в случае принудительных мер со стороны федеральной власти, грозила выходом из состава Союза.

Хотя Южная Каролина и не привела свою угрозу в непосредственное действие, тем не менее этот акт неповиновения, был, как отмечают практически все американские историки, едва ли не репетицией действий южных штатов в 1861 г.

Вышеперечисленные события, являясь внешним выражением внутренних противоречий общественного развития, безусловно, вынуждали обе стороны к созданию убедительной идеологической базы. Следует отметить одно важное обстоятельство —

особый пафос идеологической базы на Юге, который, по существу, повлек за собой процесс мифотворчества как таковой. Юг уже тогда выступал в роли защищающейся стороны, поэтому интенсивно развивалась политическая и публицистическая риторика, о чем свидетельствуют труды Д. Кэлхуна, Д. Нотта, Д. Фицью, в которых яростно отстаивалась идея особого пути развития южной цивилизации. Не менее интенсивно шел процесс создания особой поэтической реальности, стоящей в оппозиции к реальности Севера. Необходимость защиты интересов своего региона на политической арене привела Юг к потребности в эстетическом осознании и освоении мира и в воссоздании его образа посредством художественного слова.

Поэтому можно сказать, что общественно-политическая ситуация 1820-х годов дала толчок развитию собственно южной культуры, осознающей свою самобытность и самодостаточность, и именно в 20—40-е гг., как совершенно справедливо отмечает Л. П. Башмакова, «складываются основные контуры Юга как «страны в стране» и входят в постоянный обиход понятия «южная история», «южная культура» и «южная литература»; именно в это десятилетие уходит своими корнями «южная мечта»²⁸. Именно в это время и происходит формирование «южного мифа» с его собственной структурой, системой символов и образов, фабульных тем и мотивов. В 50-е годы, по мере усиления нападок со стороны Севера, все более убедительными и многочисленными становятся южные аргументы в свою защиту, миф разрастается, происходит окончательное закрепление его структурно-содержательной основы.

Представляется, что особая роль в становлении художественного образа Старого Юга как «прекрасно организованного патриархального общества, в котором каждый южанин, черный или белый, мужчина или женщина, богатый или бедный, занимал полагающееся ему место и был там счастлив»²⁹, принадлежит писательницам-южанкам — Кэролин Гилман, Кэролин Хенц, Марии Макинтош, Мэрион Гарленд и Августе Эванс. Они писали по преимуществу в жанре так называемого «романа домашнего очага» (*Domestic Novel*), весьма популярного в женской литературе США первой половины XIX в. В основе этого романа лежит «культ домашнего очага» (*Cult of Domesticity*), и его жанроопределющим объектом является дом, воспринимаемый в широком смысле как семья, на концепте которой строится вся структура художественного повествования. «Роман домашнего очага» очень близок по своей эстетике роману воспитания XVIII в.

и сохраняет его традиционные сюжеты, образы, дидактическую повествовательную манеру, стилистические приемы.

На Юге «роман домашнего очага» стал своего рода идеологическим рупором южного сообщества. Южные писательницы расширили понятие дома и семьи до размеров всего Юга, их произведения были насыщены пафосом прославления своего региона и утверждения незыблемости всех его общественных и нравственных установлений. Главным действующим лицом, борющимся за сохранение моральных традиций патриархальной семьи, в этом романе становится южанка, наделенная самыми высокими нравственными качествами, способная отстоять принципы южной общины.

В развитии «романа домашнего очага» наблюдаются два этапа: 1830–40-е годы, когда происходит формирование и художественное осмысление южной идеологии, и 1850–60-е годы, период интенсивного утверждения «идеи Юга» в романе. Представительницы первого этапа К. Гилман, К. Хенц, М. Макинтош, по сути, формируют «южный миф», структурируют его в своих произведениях. Исходя из соображений необходимости защиты своего региона от нападок Севера, они показывают в своих романах все самые положительные черты южной общины и южан, изображая их как носителей христианской морали и высоких нравственных ценностей всего цивилизованного мира.

В их произведениях складывается ставшее впоследствии традиционным антитетическое противопоставление Юга Северу, хотя, в отличие от общей направленности романов второго этапа, оно и не обладает явным стремлением к обособлению Юга в процессе развития всей американской нации. Писательницы первого поколения искренне верили в то, что Север недостаточно хорошо знаком с нравами и социальными установлениями Юга, поэтому старались просветить северного читателя, наивно полагая, что понимание специфики южного жизненного уклада может обеспечить общенациональную стабильность.

В процессе примирения двух регионов писательницы особую роль отводили женщине, прежде всего южанке, которая, заботясь о процветании своего дома, своей семьи, расширяя понимаемой как южная община, вместе с тем создает фундамент для стабильности и процветания общего дома. Ее социальная функция видится ими в сосредоточении женщины на создании особого нравственного климата внутри дома, который, в свою очередь, распространяется на весь социальный организм. Поэтому главными добродетелями, которые должна отстаивать женщина, по мнению писательниц, являются, прежде всего, христи-

анские добродетели любви, смирения, всепрощения. Причем эти добродетели, в полном соответствии с протестантской этикой, должны, по мысли писательниц, сочетаться с деловитостью и активным, преобразующим характером женщины.

После выхода в свет в 1852 г. романа Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» общественная ситуация на Юге резко изменилась, стала очевидна полная невозможность заключения договора с Севером. На поле литературы развернулась настоящая баталия Юга и Севера, несущая в себе четко оформленвшееся осознание грядущей национальной катастрофы. Представительницы второго этапа развития «романа домашнего очага» М. Гарленд и А. Эванс, не порывая с основными тенденциями своих предшественниц в создании благоприятной картины Юга, отказались от идеи примирения Юга и Севера. Они сделали границу между двумя регионами видимой, создав образ Юга как «стражи в стране», и не столько пропагандировали ценности южного сообщества, сколько утверждали их в качестве общенациональных и единственно верных принципам ранней республики.

Женщина в произведениях писательниц второго этапа развития «романа домашнего очага» изображается как защитница не только южного дома, но и конституционных прав, демократических установлений и истинно христианских этических норм. Соответственно, сферой проявления женщины становится не только домашний очаг, но и весь социум.

Объединенные общей идеей исключительности Юга в национальной истории и его особой миссии по спасению демократических установлений, все романы, созданные писательницами обоих периодов, в совокупности образуют один единый текст, который можно назвать «южным текстом». В этом тексте Юг настойчиво имплицирует свой образ, в котором «материнство, счастливые семьи, всемогущие мужчины, довольные негры — эти существенные элементы образа «органичного патриархального мира»³⁰, закрепляются в качестве содержательно-структурных единиц «южного мифа».

Монолитность текста, обусловленная единой установкой рассматривать Юг в качестве единственного места, где возможно сохранение нравственных ценностей христианства и демократических принципов, обеспечивается и общностью качественных характеристик всех субстратов этого объекта и его отличительных признаков на всех уровнях материальной и духовной жизни. Так, заметно проступает единообразие в климатических, пейзажно-ландшафтных, бытовых и культурных характеристиках объекта. Описание теплого солнечного климата, пышного юж-

ного пейзажа с неувядающими апельсиновыми рощами, цветущими магнолиями и жасмином вызывают в сознании архетип Эдема и формируют устойчивое представление о Юге как о райском саде, месте гармонии, избранном Богом.

Материально-духовным центром этого географически определенного объекта становится дом, просторный, уютный, где всегда царит доброжелательность и где в полном согласии с миром природы и друг с другом живут белые хозяева и их черные слуги. Основообразующим концептом в изображении южного дома становится концепт большой патриархальной «семьи, белой и черной», построенной на христианских этических принципах.

В рамках семьи устанавливается иерархически выстроенная система персонажей. Во главе этой семьи стоит мужчина, хозяин, ответственный за материальную обеспеченность этой семьи, южный кавалер, чьими качественными характеристиками становятся честь, чувство долга, патернализм, галантность манер. В духовной сфере дома царит женщина, воплощение любви, нежности, дружелюбия и всех прочих христианских добродетелей — это южная леди. При этом ее образ представлен в двух ипостасях: юная южная леди — дочь плантатора, и южная матрона — мать, жена и добродорядочная и рачительная хозяйка большой семьи. «Южная леди» — это высшая этическая норма, к которой должна стремиться любая женщина Юга.

Белая семья в рассматриваемых текстах заключена в круг ее черных слуг, среди которых ведущее положение занимает черная няня, представленная как своеобразное соединительное звено между белыми и черными членами большой южной семьи. Этот образ награжден самыми высокими моральными качествами и является своего рода эмблемой состояния духовного и материального мира семьи, которой черная няня принадлежит. Все прочие черные члены большой южной семьи изображены как наивные, добродушные, довольные жизнью большие дети, требующие постоянной заботы и определенной строгости по отношению к себе; они, как писала К. Гилман, составляют особый «пейзаж», на фоне которого проходит жизнь южанина.

Безусловно, творцы такой идиллической картины Юга пользовались строгой системой отбора материала, которым они владели, поэтому все, что не соответствовало их собственному представлению о Юге, отбраковывалось и не находило места в тексте, однако на уровне «авторских» интенций этот текст абсолютно правдив. Писательницы Старого Юга, стоявшие у истоков «южной традиции», создали своего рода мономиф, первичную структуру, универсальный мотив, который лежит в основе всех последующих повествований о Юге.

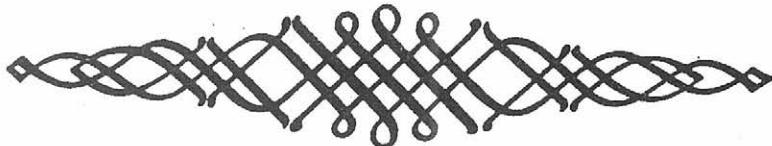
Кроме того, что представляется весьма значительным с точки зрения развития как южной, так и национальной литературы в целом, писательницы довоенного периода смогли обеспечить устойчивость традиций так называемого «женского письма». На рубеже XIX – XX вв. эстафету старшего поколения подхватила целая плеяда талантливых белых южных писательниц, которые в своем творчестве модифицировали, развивали и во многом переосмысливали мифический образ Юга. Так, в своих произведениях Кейт Шопен, Грейс Кинг, Эллен Глазгоу концентрировали свое внимание на трагическом процессе самоидентификации южной леди, изображении конфликта общепринятых ценностных норм и реальностей жизни южного сообщества, бережно сохраняя, однако, общую структуру и универсальный мотив южного мифа о неповторимости и красоте гармоничного мира Старого Юга. Можно с уверенностью говорить и о том, что писательницы, вошедшие в литературу позже — Фланнери О'Коннор, Юдора Уэлти, составившие славу южного Ренессанса, — также продолжали традиции изображения Юга, заложенные писательницами довоенного периода.

После Гражданской войны возникает «антиюжный текст», преследующий цель демистифицировать, развенчать «южный миф». Этот текст, противоположный по своему идеологическому посылу, тоже основан на мифе. Демистификация здесь использует и структуру, и содержательную основу южного мифа, отталкиваясь в своей критике от его основных постулатов и формальных единиц, заменяя позитивно-восторженный пафос мифа на негативно-отрицающий. Поэтому, как справедливо отмечает К. Сейдел, «стереотипные южные характеры наводнили кино, художественную и популярную литературу, хотя они часто нелицеприятны и замещены новым набором стереотипных характеров: прекрасной, но проклятой красавицы, сильной черной женщины, гордого, дерзкого черного мужчины, надзирателя-садиста, распутного молодого наследника, слабой хозяйки и безвольного хозяина»³¹.

Конечно, в данном случае не идет речь о таких великих писателях-южанах, как У. Фолкнер, Т. Вулф, Т. Уильямс, в своем творчестве проникнувших в глубинные смыслы и коды южного мифа как особого мироощущения и специфического способа художественного освоения действительности. Однако теперь ясно, что образ Старого Юга, созданный южными писательницами довоенного периода, по существу, уже неотделим от мифа и всей сферы символического. Именно этот образ лежит в основе его постоянных репродукций, вне зависи-

мости от того, какие цели преследуют авторы — развенчать или, напротив, утвердить его. По крайней мере, в чем сходятся все исследователи, ему не грозит исчезновение из массового сознания и через столетие.

-
- ¹ Vandiver F. E. Introduction // *The Idea of the South*. Chicago, 1964. P. VII.
- ² Rubin L. D. *The American South: The Continuity of Self-Definition* // *The American South: Portrait of a Culture*. Washington, D. C., 1991. P. 3.
- ³ Tucker M. New Issue of Confrontation Searchers for the Real South. // C. W. Post Campus Press Releases. 2001. Vol. XIV. Winter. P. 23.
- ⁴ Gester P., Cords N. The Northern Origins of Southern Mythology // *Myth and Southern History*. Urbana &Chicago. 1989. P. 44.
- ⁵ Tindall G. B. *Mythology: A New Frontier in Southern History* // *The Idea of the South*. P. 3.
- ⁶ Барт Р. Миф сегодня // *Барт Р. Мифологии*. М., 2000.
- ⁷ Там же. С. 276.
- ⁸ Там же.
- ⁹ Gester P., Cords N. The Northern Origins of Southern Mythology. P. 43.
- ¹⁰ Ibid.
- ¹¹ Jones H. M. *O Strange New World*. New York, 1968. P. 228—229.
- ¹² Genovese E. «Our Family, White and Black»: Family and Household in the Southern Slaveholders' World View// In Joy and in Sorrow. Women, Family, and Marriage in the Victorian South, 1830—1900. New York, 1991. P. 71.
- ¹³ Лосев А. Ф. *Диалектика мифа* // *Лосев А. Ф. Философия. Мифология*. Культура. М., 1991. С. 27.
- ¹⁴ Cords N. Introduction // *Myth and the American Experience*. New York, 1991. P. XI. *Лосев А. Ф. Указ. соч.* С. 27.
- ¹⁵ Барт Р. Указ. соч. С. 255.
- ¹⁶ Wyatt-Brown B. *Southern Honor: Ethics and Behavior in the Old South*. New York & Oxford, 1982. P.xi.
- ¹⁷ Барт Р. Указ. соч. С. 253.
- ¹⁸ Taylor W. R. *Cavalier and Yankee: The Old South and American National Character*. New York, 1961. P. 18
- ¹⁹ Башмакова Л. П. *Писатели Старого Юга: Джон Пендлтон Кеннеди, Уильям Гилмор Симмс*. Краснодар, 1997. С. 10—11.
- ²⁰ Там же. С. 22.
- ²¹ Simkins F. B. *The Everlasting South*. Westport, 1963. P. 35.
- ²² William Byrd of Westover to Charles Boyle, Earl of Orrery // *An Early American Reader*. Washington, D. C., 1989. P. 55.
- ²³ Ibid. P. 57.
- ²⁴ Ibid. P. 56.
- ²⁵ Ibid. P. 58.
- ²⁶ Ibid.
- ²⁷ Thomas Jefferson to Chastellux. September, 2, 1785 // *Jefferson T. Writings*. New York, 1984. P. 827.
- ²⁸ Башмакова Л. П. Указ. соч. С. 22.
- ²⁹ Scott A. F. Women's Perspective on the Patriarchy in the 1850 s. // *Half Sisters of History: Southern Women and the American Past*. Durham, 1994. P. 77.
- ³⁰ Ibid. P. 86.
- ³¹ Seidel K. L. *The Southern Belle in the American Novel*. Tampa, 1985. P. XII.



ЖИЗНЬ ЯЗЫКА

Л. М. Кольцова, Ж. В. Грачёва

ТРУДЫ И. П. РАСПОПОВА И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

Вопросы, которые освещает в своих трудах профессор И. П. Распопов, не только не потеряли со временем своего значения, но стали ещё более острыми в свете развития современного образования и современной науки.

Выделим основные из них:

- 1) вопрос о соотношении научного и обыденного познания;
- 2) вопрос об источнике наших знаний;
- 3) об отношении субъекта и объекта в познавательной деятельности;
- 4) проблема объективности истины;
- 5) вопрос о роли философского знания, представления об общей картине мира в научном исследовании;
- 6) и об оценке и выборе познавательных средств для практики научного исследования.

Этот перечень вопросов, которые находят отражение в работах И. П. Распопова, как он сам отметил с присущей ему объективностью, «в доступной и поэтому, конечно, несколько огрубленной форме», составляет небольшую часть тех познавательных средств, способов, приёмов, которыми вооружал своих учеников И. П. Распопов, учивший логике научного познания, необходимости единства, внутренней непротиворечивости, целостности общефилософской, общеначальной и частной методологии, что и должно обуславливать надёжные и ценные результаты исследования, которое должно быть эвристическим.

В работах И. П. Распопова и коллективных сборниках, подготовленных под его редакцией, особого внимания заслуживают те идеи, которые не только обогатили науку новыми теоретическими положениями, классификациями, интерпретациями, но и оказали мощное воздействие на всю «наукосферу»,

в которой учатся и воспитываются новые поколения работников науки, образования, просвещения.

Важнейшим свойством научного изучения языка и обучения языку для И. П. Распопова было следование «общим принципам методологии, логике научного познания» и направленность на «потребности практики»¹.

Проблемы методологии и методики лингвистического исследования и преподавания лингвистических дисциплин нашли отражение в не потерявших своей эвристической познавательной ценности книгах: «Методология и методика лингвистических исследований» (Воронеж. Изд. ВГУ, 1981); статьях: «К методике грамматического разбора по членам предложения», «Содержательные и операционные правила русского правописания», «Некоторые вопросы преподавания лингвистических дисциплин в методологическом аспекте», «О преемственности в преподавании русского языка в школе и вузе» и др. (См.: И. П. Распопов. Указатель литературы. — Воронеж, 1984).

И. П. Распопов считал, что традиционная методика языкового (в частности синтаксического) анализа является недостаточно строгой и основывается преимущественно на интуиции и «здравом смысле». Но понятие «принцип здравого смысла», замечает Игорь Павлович, не поддается расшифровке, «вероятно, это только усвоенная привычка, выработанный навык, стереотип мышления», которые ненадежны как руководство к действию в исследовательской практике. И. П. Распопов понимал, что «при такой методике результаты исследования языка (или хотя бы небольшой «клеточки» языка) у различных учеников (с их собственным здравым смыслом) не может быть однозначным и, следовательно, оставляют открытой альтернативу “истина—ложь”»².

Принципиально важной для И. П. Распопова установкой было то, что «научное изучение языка во всей его подлинности... должно быть осмысленным и целенаправленным». И это положение, эта методологическая и мировоззренческая позиция настойчиво и последовательно проводилась во всех работах учёного, соответствующих тем принципам, которые позволяют продвигаться по пути научного познания лингвистических явлений. И. П. Распопов пишет о принципе консеквентности, который заключается «в согласованности отдельных положений научной теории друг с другом, в том, чтобы всякое положение данной теории неизбежно и единственным образом вытекало из некоторых предыдущих положений и чтобы с их помощью обеспечивалась непротиворечивая интерпретация фактов»³, принципе объяснительной силы, в соответствии с которым на-

учная теория должна быть построена таким образом, чтобы с её помощью можно было интерпретировать (объяснить) возможно большее количество наблюдаемых фактов (разумеется, из тех, которые подлежат «ее ведомству») и принцип оптимальности, согласно которому к описанию и объяснению изучаемых объектов следует подходить наиболее простым, наиболее экономным способом, принимая во внимание лишь те их признаки и свойства, которые считаются для них в определенном отношении существенными (релевантными).

Нарушение этих принципов, пренебрежение ими ведут к серьезным просчетам, которые обнаруживаются даже в таком серьезном и общественно значимом проекте, как «Свод правил русского правописания», одобренного Орфографической комиссией Российской академии наук, где в определении принципов и назначении русской пунктуации утверждается, что «с точки зрения основ пунктуации, грамматический принцип является ведущим, так как большая часть правил опирается именно на него»⁴, однако в пунктуации связного текста «смысловой принцип диктует соответствующие правила»^{4а}. Очевидно, что невозможно выработать свод адекватных правил на основе таких противоречивых положений.

В своих работах Игорь Павлович ведет постоянный диалог со своими великими собеседниками, среди которых люди разных эпох и стран. Читая его статьи, можно ясно услышать голоса Л. Ельсмлева и А. А. Шахматова, Ф. де Соссюра и И. А. Бодуэна де Куртенэ, Л. В. Щербы и В. В. Виноградова, А. М. Пешковского и А. Н. Гвоздева, В. Гумбольдта и А. А. Потебни, Н. А. Реформатского и Л. Витгенштейна. В пространстве научного текста они спокойно ведут свой спор, прислушиваясь друг к другу.

Определяя основы методики лингвистических исследований, И. П. Распопов особое внимание обращает на те средства и приёмы, которые позволяют «фиксировать, анализировать и синтезировать разрозненные факты той или иной сферы действительности с конечной целью выяснить действующие в данной сфере закономерности»⁵. Важная роль среди методов лингвистического исследования отводится «классификации языковых объектов на основе экспериментальных данных», что имеет «несомненную познавательную ценность».

Задачи, которые стоят перед исследователем языка, заключаются в установлении связей и отношений между различными языковыми единицами, их места и значения в системе языка, их соотносительной роли в составе речевых произведений.

Предметом особой заботы И. П. Распопова была преем-

ственность в обучении языку в школе и вузе, освобождение непрерывного учебного процесса от опасных и нетерпимых шаблонов, воспитание творческого отношения к изучению и обучению языку.

Пути решения этих важнейших задач намечались в тех сборниках работ, которые объединяют актуальные вопросы преподавания теории и практики преподавания русского языка в школе и вузе, отражают результаты научных поисков в области лексикологии, грамматики, правописания, раскрывают возможности и перспективы активизации познавательной и речевой деятельности учащихся. Сами названия сборников, предложенные их вдохновителем и редактором И. П. Распоповым, реализует идею единства и преемственности лингвистического познания: «Школьная и научная грамматика» (1977, 1979 гг.); «Русский язык в науке и учебной практике» (1981 г.); «Лингвистический анализ в школе и вузе» (1983 г.).

Размышляя о содержании знаний в статье «О преемственности преподавания русского языка в школе и вузе», И. П. Распопов пишет: «Проблема преемственности сводится, собственно, к проблеме соотношения учебной теории данного предмета с его научной теорией». Учебные теории разрабатываются на основе своеобразной редукции научных теорий. Редукция предусматривает сокращение, касающееся наиболее высоких уровней обобщения, не должна затрагивать сущности теорий на низком уровне. Однако применительно к русскому языку, считает И. П. Распопов, такой исход не нашел удовлетворительного решения, что связано с причинами и субъективного, и объективного свойства: «Язык — исключительно сложное явление действительности, и хотя им практически овладевают еще в раннем детстве, осознание этого явления в целом и в деталях, понимание законов внутренней структуры, функции и истории развития языка представляет весьма значительные трудности»⁶. Школа, замечает И. П. Распопов, ориентируется «не столько на преодолении этих трудностей, сколько на то, чтобы в известном смысле скрыть их от учащихся». Общая и довольно активная тенденция — стремление упростить изучение русского языка в школе, сводя его к заучиванию элементарных правил грамматического разбора и нудным упражнениям в правописании^{6а}. Такого рода общая и активная тенденция, пишет И. П. Распопов, приводила к тому, что «в большинстве случаев у выпускников школ складывалось скорее неприязненное отношение к русскому языку, нежели любовь к нему, между прочим, также и по той причине, что о науке, изучающей

язык, они получали в школе весьма смутное, если не превратное представление» (И. П. Распопов пишет в прошедшем времени, но сегодня мы вполне могли бы произнести эти слова в настоящем). Приводя в качестве подтверждения своей точки зрения ответы на вопрос о том, что нового студенты 2-го курса филфака узнали в университете по сравнению со школой, И. П. Распопов показывает, что оценка школьного преподавания студентами довольно нелестна, что это преподавание «по меньшей мере недостаточно плодотворно».

И. П. Распопов был убежден, что школьные учебники нуждаются в совершенствовании и будут меняться, те многочисленные противоречия, которые существуют в школьных программах, будут устраняться, поскольку существует необходимость развития активных мыслительных (а значит, и лингвистических) способностей учащихся в самом широком и подлинном смысле этого слова. Аргументируя свою позицию, И. П. Распопов обращается к высказыванию Л. В. Щербы: «Я знаю, что думать трудно, и тем не менее думать надо и надо, и надо бояться схоластики, шаблона, которые подстерегают нас на каждом шагу, всякий раз, как мысль наша слабеет. Поэтому не следует прельщаться легким, простым и удобным: оно приятно, так как позволяет нам не думать, но ложно, так как скрывает от нас жизнь; бесполезно, так как ничему не учит, и вредно, так как ввергает нашу мысль в дремоту»⁷.

В своей статье И. П. Распопов размышляет и о сложном положении, в котором оказывается преподаватель русского языка в вузе: «Сообщая студентам научные сведения о языке и вводя их в лабораторию научных поисков (в том числе тех, которые ведутся на переднем крае лингвистической науки), преподаватели вуза, разумеется, не могут упускать из виду профессиональной ориентации в обучении и должны как-то согласовывать сообщаемые сведения с их отражением в школьных учебниках, но так как это отражение оказывается в ряде случаев искаженным, приходится прибегать ко всякого рода методическим уловкам, оправдывая то, что не всегда заслуживает оправдания»⁶⁶.

Особое внимание И. П. Распопов уделял языку науки. Обращаясь к словам Витгенштейна, учений высказывает свою точку зрения о форме научного изложения: «Научным знанием имеет право называться не то, что может быть высказано, а то, что может быть высказано ясно»^{3а}. Это, по мнению И. П. Распопова, побуждает пользоваться полностью отличным от естественного особым языком, для которого характерны «интеллектуальная чистота», т.е. отрешенность от образных и эмоциональных пе-

реживаний, использование научно-однозначной терминологии, при этом предпочтение необходимо отдавать интернациональным терминам, поскольку это в большей степени согласуется с общечеловеческим по своей сущности значением и назначением науки³⁶.

Говоря об одном из важнейших слагаемых филологической подготовки учащихся — работе над связным текстом — И. П. Распопов писал, что «владение искусством связной речи... приобретается лишь в повседневной практике и в результате целенаправленной работы с лучшими образцами научной, публицистической и художественной литературы». К таким образцам, вне всякого сомнения, относятся статьи и книги замечательного учёного, которому была присуща редкостная чуткость к эстетическому началу, принцип освоения мира с позиций Красоты, той Гармонии, которая одна лишь способна противостоять агрессии Хаоса.

Трудолюбие, целеустремленность и доброта — вот те качества, которые позволили И. П. Распопову создать научную школу, сохранившую такие важнейшие принципы русского Проповедования, как функциональность, универсальность, синтетичность, глубину и преемственность.

¹ Распопов И. П. Спорные вопросы синтаксиса. Изд. Ростовского университета, 1981. С. 3.

² Распопов И. П. Современные методы синтаксических исследований. Воронеж, 1970.

³ Распопов И. П. Методология и методика лингвистических исследований. Воронеж, 1976. С. 20. ^{3а} С. 26. ^{3б} С. 26.

⁴ Свод правил русского правописания. Орфография и пунктуация. Проект. М., 2003. С. 63. ^{4а} С. 237.

⁵ Распопов И. П. Просеминарий по лингвистике. Воронеж, 1971. С. 63.

⁶ Школьная и научная грамматика. Воронеж, 1977. С. 4. ^{6а} Там же. ^{6б} С. 6.

⁷ Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957.

И. А. Стернин ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВА

Под языковым сознанием предлагается понимать совокупность психических механизмов порождения, понимания речи и хранения языка в сознании, то есть *психические механизмы, обеспечивающие процесс речевой деятельности* человека. Таким образом, языковое сознание — это часть сознания, обеспечивающая механизмы языковой (речевой) деятельности: порождение

речи, восприятие речи и хранение языка в сознании. Система языка хранится в языковом сознании.

Языковое сознание носителя языка образовано лексическими и грамматическими значениями слов и форм, которые выступают как психологически реальные (осознаваемые или неосознаваемые) знания человека о своем языке. Языковое сознание не исчерпывается только этими знаниями — оно включает для носителя языка также сведения об используемом им языке (и о других языках), истории и современном состоянии родного языка, его функциях, сложности, представления о его основных категориях (таких, как, к примеру род, число, падеж, время, наклонение, синонимия, антонимия и др.), эмоционально-оценочное отношение к языку и др. Но нас в данной статье интересуют языковые знания носителя русского языка, касающиеся лишь одного аспекта лексического значения слова — его стилистической характеристики. Для нас важно, какая информация о стилистической характеристике слова релевантна для реального языкового сознания носителей языка.

Языковое сознание может изучаться и описываться на двух уровнях — традиционно-лингвистическом или психолингвистическом.

Уровень *традиционного лингвистического описания* языкового сознания предполагает описание того, что есть в языке, что уже зафиксировано в текстах, словарях и устной речи, что устоялось, определилось и является общепринятым. Подобный подход детализирован и призван охватить описанием все явления языка, все элементы языковой системы, он направлен на то, чтобы максимально подробно инвентаризировать явления языка. Традиционная, классическая описательная лингвистика изучает язык как систему единиц и правил их употребления. Результатом традиционно лингвистического подхода является обобщенное описание значений и употреблений языковых единиц и структур в отвлечении от психологии говорящего человека и психологической реальности выполняемого описания. Такой подход априори исходит из того, что языковые значения в сознании народа таковы, как их описали, к примеру, лексикографы в словарях.

Уровень *психолингвистического описания* языковых фактов отражает результаты экспериментальных исследований, в частности, выполненных с помощью различного рода ассоциативных экспериментов и многочисленных других экспериментальных процедур (методика интервьюирования, метод субъективных дефиниций, интерпретационный эксперимент, методика семантического шкалирования, методика ранжирования, свободной классификации и др.), которые позволяют выявить и описать

содержание языковых знаков и структур в том виде, в каком они реально присутствуют в сознании носителей языка.

Исследование языкового сознания возможно на двух уровнях, оба из которых правомерны и дополняют друг друга в описании системы языка. При этом представляется очевидным, что достоверность традиционно-лингвистического описания повысится, если оно будет обобщать результаты психолингвистического описания.

Наше исследование показывает, что стилистическая характеристика слова в реальном языковом сознании человека не совпадает с теоретической моделью, построенной традиционной лексикологией и стилистикой. При этом опора на психолингвистические исследования представляется нам особенно важной при интерпретации стилистической окраски слов для целей объяснения рядовым носителям языка ограничений в употреблении того или иного слова. Такая потребность возникает постоянно при проведении занятий по культуре речи с нефилологами, при ответах на вопросы радиослушателей в передачах о русском языке (очень часты вопросы типа — как правильно сказать или написать: *до свидания* или *пока?*).

Стилистическая характеристика слова — традиционно трудная проблема при формировании культуры речи. При этом достаточно дробная и дифференцированная стилистическая классификация лексических единиц, встречающаяся в лингвистических работах и являющаяся постоянным предметом полемики разных лингвистов и лексикографов (это слово разговорное или просторечное, просторечное или жаргонное, вульгарное или разговорное, литературное или литературно-разговорное и под.) крайне плохо усваивается рядовыми носителями языка, не соответствует реалиям языкового сознания такого носителя языка и не может явиться основой практического осознания ограничений в употреблении слова для обычного человека, такого осознания, которое позволило бы на практике адекватно употреблять это слово.

Традиционно лингвисты выделяют стилистически нейтральную (межстилевую) лексику, которая употребляется во всех разновидностях как письменной, так и устной речи. Слой межстилевой лексики включает в себя по подсчетам лингвистов приблизительно 85 % всех слов языка.

На фоне стилистически нейтральной лексики обычно выделяются слова книжные и стилистически сниженные.

Книжных слов в языке около 2 %, высоких и того меньше. Например, собственно помету «**книжное**» имеют в словарях та-

кие слова, как *гонение*, *горнило*, *дальновидный*, *индифферентный*, *изобиловать*, *инсинуация*, *исчислить*, *недуг*, *немощный*. К книжной лексике относятся и некоторые другие разряды слов. Разновидность книжной лексики — лексика высокая. Помета «**высокое**» сопровождает слова *ввергнуть*, *вдохновить*, *грядущий*, *добрость*, *достояние*, *кара*, *многотрудный*, *неисчерпаемый*. Даные слова возвышают стиль изложения, придают ему высокую, торжественную окраску. **Научная лексика** — это узкоспециальные термины, то есть слова, служащие обозначением логически сформулированных понятий той или иной научной отрасли. Например, *предикат*, *морфема*, *фонема*, *лексема* — в языкоzнании; *генотип*, *геном*, *клонировать* — в генетике и так далее. **Официально-деловая лексика** — это узкоспециальные юридические термины (*истец*, *ответчик*, *взыскать*, *вменить*) и так называемые канцеляризмы — слова, используемые в официальных документах (*нижеподписавшийся*, *удостоверять*, *надлежит*, *начёт*, *ведомство*, *протокол*, *инструкция*, *справка*, *акт*, *распоряжение*, *приказ*). **Публицистическая лексика** — это лексика, широко используемая в средствах массовой информации (в газетах, на радио, на ТВ): *президент*, *дума*, *общество*, *отечество*, *партия*, *договор*, *террорист*, *демократия*, *диктатура*, *конституция*, *депутат*; *пособник*, *главарь*, *зачинщик*, *подвижник*, *оболванивание* и т.д.

Книжные слова используются преимущественно в письменной речи, в устном непринужденном общении они обычно выглядят неуместными.

Сниженную лексику образует в первую очередь разряд разговорных лексических единиц. Помета «**разговорное**» указывает на преимущественное применение соответствующего слова в устной, непринужденной форме общения, в повседневных разговорах людей на бытовые темы. Это, например: *бедокурить*, *безалаберный*, *вызволить*, *галиматъя*, *журить*, *лебезить*, *моро-чить*, *влипнуть*, *шлётнуться*, *простыть*, *получка*, *напрочь*, *бездарь* и др. Разговорная лексика снижает стиль общения, делает его более простым, непринужденным, неформальным.

К сниженной лексике относятся также различные жаргонизмы — профессиональные, возрастные. Жаргонизмы — это экспрессивные слова, используемые ограниченными (возрастными, профессиональными и иными) группами носителей языка. Появился в русском языке и общенациональный жаргон — сленг (экспрессивные слова, не закрепленные за отдельными группами людей, а известные и употребляемые всем населением (наехать, мент, крыша, бомж, алкаш и под.).

Еще более сниженный характер имеют слова, выделяемые как **просторечные**: *втёмяшиться, галдеть, дурень, елозить, зариться, колошматить, вляпаться и под.* Просторечие характерно для необразованного слоя населения, употребление просторечия выдает необразованность, отсутствие общей культуры говорящего. Многие просторечные слова имеют также оттенок грубоści и поэтому употребление их характерно лишь для определённых видов речевого общения — для фамильярной речи, разного рода словесных перебранок, скандалов и так далее. Это, например, такие слова, как *баба, гляделки, валандаться, жратъ* и подобные. Такие слова обозначают как **грубо просторечные**. К сниженной лексике относят также вульгарные слова, сквернословие.

Стилистически сниженный лексический слой (разговорная и просторечная лексика) является самым большим по объёму после межстилевого и составляет около 10 %.

Обычно отмечают, что как книжная, так и разговорная лексика являются принадлежностью литературной формы общенародного языка; выделяют литературно-разговорную лексику и разные более конкретные разряды сниженной лексики.

Экспериментальные исследования, направленные на описание языкового сознания носителей языка, показывают, что сознание носителей языка содержит картину стилистической дифференциации лексики, отличную от выстроенной лингвистами на основе детального описания стилистического значения различных типов слов. Реально языковое сознание носителей языка различает не более трех стилистических разрядов лексики, дифференцируемых по условиям употребления:

литературную лексику, то есть лексику культурную, куда входят книжная, научная, официально-деловая лексика и часть традиционно выделяемой разговорной лексики (так называемая литературно-разговорная); литературная лексика может быть использована в любой ситуации, как в устной, так и в письменной речи; эта лексика допустима в публичной речи, в общественном месте и в средствах массовой информации; среди нее языковое сознание иногда выделяет лексику специально-книжную — редкие, малоизвестные для широкого круга носителей языка научные и специальные термины типа *предикат, генотип, инсталляция, психodelический* и под.;

разговорную лексику, то есть часть сниженной лексики, допустимую преимущественно в устной речи между своими, в узкой компании близких, хорошо знакомых и равноправных в общении людей; сюда же входит общенациональная жаргонная лексика, сленг и просторечие.

Разговорная лексика не принята к официальному употреблению в общественных местах, в официальной речи, не предназначена для использования в средствах массовой информации; она не предназначена для использования в письменной речи, любое ее сознательное употребление в названных сферах носит намеренный, экспрессивный характер и должно быть мотивировано, «оговорено» особыми коммуникативными условиями, коммуникативной ситуацией, употребление такой лексики за пределами ее коммуникативной сферы должно быть как бы «заключено в кавычки»;

ненормативную лексику, включающую значительную часть сниженной лексики, в том числе грубо-просторечную, собственно грубую (вульгарную) и нецензурную; эта лексика рассматривается как нежелательная в общении, оскорбляющая собеседника, негативно характеризующая говорящего и поэтому исключаемая из публичного употребления в общественных местах.

Среди ненормативной лексики языковое сознание достаточно рельефно выделяет два разряда — *грубую* или *вульгарную* (прошу прощения за примеры — охренеть, жопа, засранец и под.) и *нецензурную* (примеры приводить не буду).

Если употребление грубой лексики допускается только в прецельно узких коммуникативных сферах, среди близких людей (при этом морально осуждается), то нецензурные слова принципиально не допускаются к употреблению при наличии слушателей и могут быть использованы говорящим только «себе под нос», или в отсутствие слушателей («в поле твоя воля» — русская народная поговорка).

В проводимых экспериментах на определение стилистической отнесенности слов испытуемые практически не затрудняются при распределении предъявляемого им списка разностилевых слов по данным трем группам, а также оказываются способными прокомментировать сферы употребления предъявляемых им разностилевых слов, достаточно свободно оперируя терминами *литературное, разговорное, ненормативное (грубое)*.

В связи с этим предлагается признать, что в языковом сознании носителей русского языка реально разграничиваются именно эти три основных стилистических разряда лексики: *литературная, разговорная, ненормативная*.

Данное обстоятельство приводит к выводу о целесообразности использования в практике формирования культуры русской речи у широких слоев носителей языка именно этих трех терминов, поскольку они достаточны, прозрачны и понятны рядовому носителю языка:

литературное — значит, правильное, культурное, это мож-

но и сказать, и написать (данное обозначение понятно носителям языка с точки зрения известного им термина «литературный язык», то есть правильный, культурный);

разговорное — слово *разговор* в сознании рядового человека связывается именно с неофициальным общением, неофициальной ситуацией общения;

ненормативное — значит, нарушающее нормы, выходящее за пределы норм, выходящее за пределы допустимого, так говорить нельзя.

Именно на это стилистическое деление лексики целесообразно опираться при объяснении стилистических ограничений в употреблении того или иного слова:

это слово литературное, культурное, его можно употреблять везде;

это слово разговорное, менее культурное, его можно употреблять между своими;

это слово ненормативное, некультурное, грубое, «при свидетелях» его употреблять не рекомендуется.

Практика работы воронежской телефонной «Службы русского языка», опыт ответа на вопросы радиослушателей в прямом эфире в радиопередачах «ТERRITORIЯ слова» и «Диалоги о словесности» на Маяке-24 показывают, что такие объяснения понятны людям, удовлетворяют их и не вызывают дальнейших вопросов.

Деление на литературные и разговорные лексемы, а также на разговорные и ненормативные (грубые), разумеется, относительно — не всегда можно сказать точно, к кому из этих разрядов относится то или иное слово или выражение, но это связано, как нам представляется, не с дефектом самой классификации, а с неточностью и субъективностью представлений общества о том, что такое культурно и некультурно, что грубо и обижает собеседника, а что не обижает (к примеру, грубость между своими допускается русским сознанием, и вообще допустимо обижать других, если «тебя довели»).

Поэтому в процессе формирования культуры речи надо прежде всего объяснять носителям языка, что в обществе является культурным, а что нет, объяснять, что нельзя обижать собеседников, даже если они с тобой на короткой ноге. Уточнение этих понятий позволит людям легче усвоить и слова, соответствующие описываемым ситуациям.

Рядовые носители языка часто задают специалистам-филологам такой вопрос: если те или иные слова нельзя употреблять, почему их все-таки употребляют? Почему в СМИ используются разговорные слова, включая жаргон и сленг, почему в обществе звучит грубая и нецензурная лексика?

Отвечать на этот вопрос можно так: все эти случаи представляют собой нарушения норм культуры речи, и с ними нужно бороться. Но бороться нужно не за запрет тех или иных разговорных и даже ненормативных слов, а за их правильное употребление. Язык не содержит слов, которые не нужны его носителям. Все эти слова нужны говорящему коллективу, но разным людям и для разных коммуникативных ситуаций. Можно употребить любое слово, но в соответствующей его стилистическому статусу коммуникативной ситуации.

Как учил А. С. Пушкин, дело не в отвержении какого-либо слова, а в чувстве уместности и целесообразности словаупотребления. Этот принцип успешно может быть применен в работе по повышению культуры речи и культуры общения граждан нашего общества.

Литературные слова допустимы во всех ситуациях, но особо книжные, научные слова более уместны в письменной, официальной речи, среди специалистов. Разговорные слова всех типов имеют такое же право на употребление, как и литературные, но они должны употребляться в устном непринужденном общении. Ненормативная лексика тоже может быть употреблена (если бы она была не нужна носителям языка, ее бы не было в языке), но только в отсутствие собеседников — для себя, к примеру, для снятия эмоционального напряжения, эмоциональной разрядки.

Представляется, что опора на полученные экспериментально данные о языковом сознании рядового носителя языка дает исследователю более адекватную картину организации и устройства языковой системы, чем традиционно-лингвистическое описание.

И. С. Воронкова

ЧУЖОЙ ЯЗЫК В РОМАНЕ Н. М. КАРАМЗИНА «ПИСЬМА РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА»

Известно, что любой текст можно рассматривать и анализировать с точки зрения его языковой принадлежности.

На первый взгляд кажется, что никаких серьезных проблем на пути соотнесения текста с соответствующим языком возникать не должно. Сначала читатель воспринимает сам язык текста (русский, французский и т.д.), а потом его стиль, содержание, художественные особенности.

Лингвисты и литературоведы обращали внимание на присутствие в произведениях русской литературы множества иноязыч-

ных элементов. И лингвистические исследования в этом направлении очень многообразны и многочисленны. Однако в таких работах обычно анализируется языковой материал из разных русских произведений, не учитывая их языковой принадлежности. Мы же попытаемся доказать на примере романа Н. М. Карамзина «Записки русского путешественника», что такой подход недостаточно точен, а вопрос гораздо сложнее.

Художественный текст отображает жизнь во всех ее проявлениях; в условиях перманентной этнической и языковой интеграции он показывает все то многообразие духовных, культурных, экономических контактов, в которые вступает большинство этнических сообществ. Естественно, в тексте поэтому могут присутствовать другие языки и смешанные языковые состояния¹.

В монолингвальном тексте способы и формы отображения языков разнообразны: от условного их присутствия до вплетенных в текст иноязычных элементов, которые часто называют варваризмами и экзотизмами.

Случай, когда иноязычное слово, вкрапленное в русский текст, дается в латинской графике и сохраняет орфографию языка-источника, называют варваризмом. А слова, которые обозначают предметы или явления чужого быта, не имеют аналогов в русской культуре и редко попадают в поле зрения «среднего культурного читателя», называют экзотизмами. Принадлежность языка, откуда заимствуется лексема-экзотизм, к той или иной языковой группе в данном случае значения не имеет². Экзотизм может фиксироваться в тексте как варваризм, и чем менее интенсивно он осваивается русским языком, тем более длительным оказывается его существование в русском тексте как варваризма: «Тут молодой растрепанный *франт* встречается с по-жилым, нежно-напудренным *петиметром*, смотрит на него с усмешкою, и подает руку оперной певице»³. В приведенной цитате варваризм-экзотизм — *петиметр*, от франц. petit-maitre — щеголь, франт. Или же введение в текст варваризма часто сопровождается пояснениями, особенно если это экзотизм: «Я отдал Беккеру ключ от моего чемодана и пошел в корчму. Там перед камином сидели *Монтаньяры*, или *горные жители*»^{3а}.

Что касается варваризмов и экзотизмов, то этот вопрос ясен: они возникают в результате языкового контакта. А присутствие «чужого» языка («условного») в произведениях русских писателей еще не достаточно изучено.

На самом деле вид присутствия «чужого» языка носителям русского языка очень хорошо известен, но в бытовом языковом сознании от него принято отмахиваться. Вернее, для того чтобы без помех воспринимать содержание интересного произ-

ведения, лучше не задаваться вопросом, на каком языке говорят герои. Любое русское произведение, описывающее жизнь в другой стране, лишь условно русское при передаче речи персонажей-иностранных: «Я пришел в Оперу с немцем Реинвальдом <...> В ложе сидели две дамы с Кавалером Св. Лудовика. «Останьтесь здесь, государи мои», сказала нам одна из них...»³⁶.

Многочисленные «иностранные», исторические деятели разных стран говорят со страниц русских художественных произведений по-русски. Но почти всегда при этом «мерцаает» присутствие другого языка. Текст и автор всегда «сигнализируют» читателю, что одноязычие здесь условно, что на самом деле в отдельных случаях русский лишь занимает место другого языка^{1а}.

Типы и способы представления «чужого» языка разнообразны. Наиболее распространенным является тот, когда писатель вводит в текст специальные сигналы, которые позволяют читателю определить подлинную языковую принадлежность. Часто он просто называет «чужой» язык: «Через несколько минут пришел Беккер и начал говорить со мною по-Немецки. Стариk, который сидел за столом и ел хлеб с сыром, протянул уши, улыбнулся и сказал: *даичь! даичь!*, давая нам разуметь, что он знает, каким языком мы говорим между собою»^{3в}. Далее прямая речь на русском языке.

Присутствие в произведении другого языка для любого писателя в известной мере неудобно. Лишь безусловный выигрыш в развитии фабулы оправдывает трудности, связанные с представлением других языков в русском тексте. Тактика этого представления весьма разнообразна. С этой целью используются «переключатели» языков, или сигналы такого переключения, так как сам «чужой» язык в тексте не представлен^{1б}: «Поручик. (вошедшему слуге своему). Каспар! Набей мне трубку. (Оборотясь к Француженке.) Осмелюсь спросить с моим почтением, жалуете ли вы табак?

Француженка. Monsieur! — Qu'est ce qu'il demande, Mr. Nicolas! <...>

Я. S'il peut fumer? — Курите, курите, Г. Поручик. Я вам за нее отвечаю. <...>

Поручик. А! Мадам не говорит по-Немецки. Жалею, весьма жалею, Мадам. — Откуда едете, естьли смею спросить, государь мой?»^{3г}.

Нередки случаи двойного переключения, когда русский текст нуждается в сигнале, свидетельствующем, что разговор перешел на русский язык. Эти случаи парадоксальны. Сигнал переключения на чужой язык настолько силен, что приходится прекращать его действие упоминанием о русском же языке.

Как видим, такое отражение чужого языка в тексте носит самый простой характер, авторы лишь условно отражают чужую речь. Этот способ, как правило, представлен тогда, когда среди действующих лиц есть люди, достаточно хорошо говорящие на разных языках. Так, повествователь в романе свободно говорит на русском, французском, немецком и английском языках.

Представление языковой принадлежности актов речи, таким образом, переплелется с другим распространенным способом отражения языковой ситуации — передачей неисконной русской речи. Так, в неисконной русской речи присутствует акцент, который можно передать на письме.

Нередко сигналом неисконной русской речи является просто упоминание о присутствии акцента без передачи самой речи: «Дряхлой старик сидел на больших креслах и, слыша, что мы русские, протянул к нам руки, и дрожащим голосом сказал: *Слава Богу! Слава Богу!* Он хотел сперва говорить с нами по Руски; но мы с трудом могли разуметь друг друга. Нам надлежало повторять почти каждое слово, а что мы с товарищем между собою говорили, того он никак не понимал, и даже не хотел верить, что мы говорили по-Руски»^{3d}.

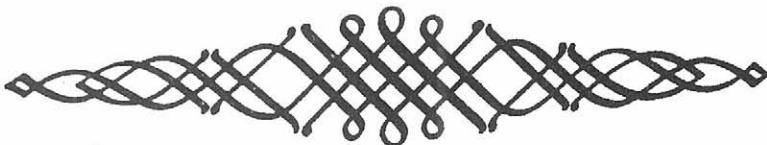
Наконец, есть случаи смешанных языковых актов, когда по тексту не всегда просто отличить, присутствует ли неисконная русская речь, или это просто другой язык, переданный русскими буквами. В отличие от варваризмов чужая речь передается средствами русского алфавита: «...оплише, Матам!» (русская графика позволяет передать немецкий акцент говорящего по-французски) в отличие от последующей «расшифровки» в латинской графике: «oblige, Madame!»^{3e}.

Актуальным считается вопрос о том, признавать ли неисконную русскую речь относящейся к русскому языку. В свете языковой принадлежности, безусловно, следует ответить на этот вопрос утвердительно. Приведенные примеры показывают не только наличие такой речи, но и всю палитру языковых контактов от условного присутствия языка, неисконной речи и просто чужих языков в русских текстах.

¹ Григорян Э. А. Чужой язык в русской литературе // Рус. речь. М., 1997. № 4. С. 73. ^{1a} С. 74. ^{1b} С. 75.

² Арапова Н. С. Варваризмы как этап в освоении иноязычного слова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9: Филология. М., 1989. № 4. С. 9.

³ Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. / Изд. подготовили Ю. М. Лотман, Н. А. Марченко, Б. А. Успенский. Л.: Наука, 1984, (Серия «Литературные памятники», АН СССР). С. 220. ^{3a} С. 189. ^{3b} С. 265. ^{3c} С. 189. ^{3d} С. 17. ^{3e} С. 41. ^{3f} С. 13.



ИЗ МИНУЩЕГО: ПУБЛИКАЦИИ, ВОСПОМИНАНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Ф. М. Достоевский в газете-журнале «Гражданин»

В. А. Викторович

«УЧИТЕЛЬСТВО — НЕ ВЫУЧКА.

УЧИТЕЛЬСТВО — АПОСТОЛАТ»

(Ф. М. Достоевский и русские педагоги)*

В бумагах Ф. М. Достоевского сохранился недатированный черновой набросок, озаглавленный «Дневник писателя. IV. NB. Сюжеты для романов». В академическом 30-томном издании сочинений писателя этот набросок помещен в круг подготовительных материалов к январскому номеру «Дневника писателя» 1876 года (22, 146—152)¹. Между тем все записи на этом двойном листе большого формата² так или иначе связаны с публикациями редактируемого Достоевским еженедельника «Гражданин» 1873 года.

Необходимость передатировки данной рукописи, отнесения ее к 1873 году подтверждает и «фактурный» ее анализ (характер бумаги, чернила, тип сквозной нумерации). В точности на таких же двойных листах большого формата (267 на 212) набросаны заметки, озаглавленные «Дневник писателя. VIII. Полписьма «одного лица»»³, т.е. подготовительные материалы к восьмой главе «Дневника писателя», напечатанной в «Гражданине» 5 марта 1873 года. Похожим образом — римской цифрой — пронумерован набросок на отдельном же листке «VI. Всему удивляться, конечно, глупо...»⁴, являющийся черновым автографом одиннадцатой главы «Дневника писателя», напечатанной в «Гражданине» 21 мая 1873 года.

Судя по всему, так — римскими цифрами — Достоевский пронумеровал замыслы глав «Дневника писателя» 1873 года, набросанные на отдельных листках бумаги. В дальнейшем порядок глав поменялся, а некоторые и вообще остались в черновиках или перетекли в другие замыслы, как интересующая нас четвертая. В этой связи может вызвать недоумение ее подзаголовок: «Сюжеты для романов». С уверенностью утверждаем, что в данном случае имелся в виду особый жанр публицистики, разработанный Достоевским: он делился с читателями

* Работа выполнена в рамках исследовательского проекта, поддержанного грантом Российского гуманитарного научного фонда (№ 03-04-00086).

сюжетами «еще не написанных» художественных произведений. Само написание в таком случае вряд ли предполагалось, поскольку реальные замыслы задуманных произведений писатель сообщал лишь самым близким ему людям и «в строжайшей тайне». Скорее, эти «сюжеты» — журналистский прием ввода читателя в творческую лабораторию («день открытых дверей») — ведь *Дневник-то писателя!* Выраженная эскизно, мысль публициста «подключала» воображение читателя.

Набросок VI, как уже сказано, является черновым автографом главы, отодвинувшейся затем на более поздний срок, к маю — это «Мечты и грэзы» (Гражданин. 1873. 21 мая. № 21). Там мы находим прямое продолжение «лабораторного» жанра, намеченного в интересующем нас наброске «IV. Сюжеты для романов». Глава «Мечты и грэзы» заканчивается программным заявлением:

«Моя мысль <...> в том, что даже самый мелкий сельский школьный учитель мог бы взять на себя весь почин, всю инициативу освобождения народа от варварской страсти к пьянству, если б только того захотел. На этот счет у меня есть даже сюжет одной повести и, может быть, я рискну сообщить его читателю раньше повести...» (21, 96).

«Сюжет повести» об учителе⁵ возвращает нас к «Сюжетам для романов» не только в жанровом, но и в тематическом плане. Судя по характеру черновых заметок, Достоевский готовил главу «Дневника писателя», посвященную состоянию русской педагогики. Основная идея, очевидно, сформулирована им в последующих строках: «Но надо с одной (с административной) стороны больше свободы к приложению сил, с другой (собственной) — самосто⁶льных личностей» (22, 146). «Административный», бюрократический характер происходившей в те годы реформы образования, а с другой стороны, рабская зависимость от новаций западной, прежде всего немецкой школы («Из-за границы принято, что все умнее. Если б изобрел русский систему воспитания, господи, да его бы съели» — 22, 147) — все это уводило, как считал Достоевский, в сторону от решающего фактора. Личности учителя. Все очень просто: если у нации нет педагогов «по призванию», у нее нет будущего. Любая, самая замечательная реформа провалится, если не работает этот «человеческий фактор».

В этой-то связи в набросках и возникает одно имя.

«За неимением педагогов поневоле действуют циркулярами <...> Цербет директор. Эти люди не стыдятся своего призыва и не смотрят на него цинично <...> А директор Цербетский занимается искренно. Принялся серьезно и с призванием <...> Побольше бы директорского Цербет⁷ско>го поменьше административной беспечности, свысока холодности <...>

Побольше человеческого отношения, самостоятельности Церб⁸етско>го» (22, 147—148).

Кто такой «Цербет»? Достоевский искал фамилию П. М. Цейдлера, чье «директорство» в петербургском Доме воспитания бедных детей оставило глубокий след в душах многочисленных выпускников этого учебного заведения (в результате его деятельности реорганизованного

в гимназию Императорского Человеколюбивого общества). Автор «Идиота» поддержал простой педагогический принцип Цейдлера, казавшийся «чудачеством», увы, многим его коллегам по ремеслу: «Вникать в каждую личность <...> возиться с каждым мальчиком» (22, 148). 26 февраля 1873 года в девятом номере редактируемого им еженедельника «Гражданин» Достоевский поместил некролог замечательного педагога, написанный поэтом А. Н. Майковым и сотрудником «Гражданина» А. У. Порецким. Именно оттуда Достоевский позаимствовал информацию об этом, далеко не прославленном, человеке, с которым, впрочем, был когда-то еще в юности знаком (Порецкий, Майков, Цейдлер — люди одного кружка, при «Отечественных записках» конца 1840-х годов, куда входил и Достоевский). Более того, судя по всему, редактор «Гражданина» намечал предпослать некрологу свои размышления в виде очередного «Дневника писателя».

Достоевского в особенности заинтересовал один обычай Цейдлера, описанный в некрологе: он не оставлял своей заботой тех детей, которых вынужден был в качестве директора исключить из учебного заведения. В связи с этим Достоевский и задался вопросом, сформулированным в заметках «Сюжетов для романов»: «Правда ли, что у нас, если гимназист выключен, то не принимают нигде?» (22, 148). Доказательством абсурдности такого правила должны были служить приводимые далее реальные «случаи» исключений.

Первый — о том, как исключенный за порочные наклонности мальчик исправился под воздействием «студента», не профессионального педагога: «Анекдот из воспитания — студент, онанизм. Он и не готовился к педагогии, а педагоги-то и исключили и не справились, а он справился» (22, 146).

Второй и третий эпизоды:

«Прошиб голову. Лев Толстой (т. е. как в похожем случае, описанном в повести Толстого «Отрочество». — В. В.). Исключить.

Вот другой еще случай: бежал.

Как же быть? Вникать в каждую личность? <...>

Я воображаю, как выбежал мальчик...» (22, 148).

Поразительно, но именно этот вопрос об исключении детей из учебных заведений, эти три «случая» вкупе с размышлениями о Цейдлере составляют основу опубликованной в «Гражданине» (1873. № 9) статьи «Из мира нашей педагогики», открывающей номер и предваряющей некролог о Цейдлере.

Столь очевидное совпадение, кажется, должно бы вести к однозначному выводу: рассматриваемый черновой набросок есть не что иное как план статьи «Из мира нашей педагогики».

Одно обстоятельство мешает сделать такой вывод: под статьей стоит подпись «Кн. В. Мещерский», столь же неоднозначно указывающая на издателя и одного из ведущих публицистов «Гражданина» князя В. П. Мещерского.

Где выход из этого атрибуционного тупика?

Комментатор академического издания А. В. Архипова предположила, что набросок «Сюжеты для романов» писался через два с лишним года после публикации некролога (см.: 22, 394). Не говоря о других аргументах, приведенных нами выше, заметим, что вопрос, поставленный в черновом наброске («Правда ли, что у нас, если гимназист выключен, то не принимают нигде?») странно выглядит после публикации «Гражданина», т.е. когда журнал Достоевского уже выступил против существующей жестокой практики.

Набросок «Сюжеты для романов» был скорее всего сделан до публикации статьи «Из мира нашей педагогики» и является ее планом, свидетельствующим об участии Достоевского в ее написании.

Тогда как же быть с подписью? Полагаю, что нам здесь поможет указание на прецеденты. Подпись «Кн. В. Мещерский» стоит ведь и под статьей «Свежей памяти Ф. И. Тютчева», однако участие в ней Достоевского следует считать весьма значительным, исходя как из заявления самого писателя, так и из идейно-стилевого анализа указанной статьи⁶. Имеются и другие случаи, когда очевидно более чем значительное участие редактора «Гражданина» в статьях, подпísанных псевдонимами Мещерского⁷.

Дополнительным аргументом в пользу нашей атрибуции служит и тот факт, что в статье «Из мира нашей педагогики» обнаруживаются приметы Достоевского на идейно-стилевом уровне.

Прежде всего останавливает внимание весьма своеобразный аргумент против исключения, основанный на трактовке человеческой психики как незавершенного и поливариантного феномена. Знакомый смысл и стиль проглядывает в ключевом суждении: «Кто может сказать, что именно в ту минуту, когда приговаривается мальчик к исключению, после сделанного им проступка, не наступает в нем та критическая минута, которая может произвести нравственный переворот во всей его нравственной природе, и что вследствие этого, неумолимое исполнение над ним приговора исключения может переворот этот направить к худшему, а кроткая снисходительность и уход за его нравственную личностью, наоборот, к лучшему?» Приведу параллель, поразительно близкую вот именно в плане «психологизма» и проистекающей из него «юриспруденции» Достоевского: «И что если б даже сама г-жа Каирова и уже в последнюю минуту <...> сознала бы несчастье свое <...> сознала бы весь стыд и позор свой, все падение свое <...> — ощутила бы вдруг в себе женщину, воскресшую в новую жизнь <...> и, почувствовав все это, встала бы и ушла залившись слезами <...> неужели бы вы не пожалели ее...» (23, 15 — 16, «Дневник писателя», май 1876 года).

Стиль Достоевского ощутим и в других местах статьи. Чего стоит вот эта, например, глубочайшая мысль (скрижал педагогическая!), изложенная с характерным интонационным нажимом, с навязчивым «по-достоевски» повтором ключевого слова: «Без этой любви и вне этой любви нет воспитания. Любовь эта проникает строгость, любовь эта обязывает к снисходительности; и сказать где должен быть предел этой

любви в воспитании никто не может, ибо все воспитание заключается в бесконечно разнообразных проявлениях *любви* воспитателей к бесконечно разнообразным природам воспитанников».

Есть в статье и характерные для Достоевского «словечки» и выражения: «не тот мальчик, да и только», «решительно нельзя сделать».

Какой, в свете всего сказанного, видится нам история статьи «Из мира нашей педагогики»?

Получив статью-некролог от Майкова и Порецкого, Достоевский был глубоко задет как общим пафосом ее, так и в особенности смыслом эпизода об исключенных гимназистах (смысл — в великой ответственности педагога, часто не осознаваемой). Он решает сопроводить некролог редакционной статьей (вот в чем причина более чем двухнедельной задержки в публикации некролога) и делает для нее наброски. По какой-то причине редактор не пишет ее сам, а передает замысел Мещерскому (так бывало и раньше, в редакционном кружке «Отечественных записок» конца сороковых годов, а затем в кружке «Времени» и «Эпохи» начала шестидесятых). Можно предположить, что сам замысел родился в разговоре с князем. Мещерский затем приносит статью, и Достоевский ее редактирует, вставляя свои дополнения и используя для этого собственный набросок «Сюжетов для романа». Таково, в частности, важное суждение о своеобразии детского поведения.

В статье: «Не является ли эта мера ужасною и потому, что шалости вообще в мальчиках суть ничто иное как проявления их возраста во-первых, а во—вторых и довольно часто — натуры прямой и открытой, всегда, следовательно, доступной впечатлениям извне; тогда как натуры хитрые, скрытные, но испорченные и дурные, могут, не проявляя себя в шалостях, казаться лучше первых, не подвергаться исключению из школы, и вредить своею скрытною безнравственностью сто раз большие мальчиков творящих величайшие шалости?»

В наброске: «Мальчики добры, но циничны <...> Большинство, мерзкие шалят, веселят, мальчик не видит, что они, пожалуй, добрые мальчики, а в большинстве, может быть, ниже его (середина)» (22, 148).

Буквальные совпадения

в статье:

прошиб голову другому мальчику
Но вот и другой случай...

в наброске:

прошиб голову
Вот другой еще случай...

Очевидны в статье «Из мира нашей педагогики» и приметы стиля Мещерского. Скорее всего, именно ему принадлежит идея «исправительных классов», напоминающая другие его педагогические инициативы, изложенные в «Гражданине». Данное редакционное выступление следует считать плодом коллективного творчества двух авторов — Ф. М. Достоевского и В. П. Мещерского.

Несколько слов о той общественной ситуации, на которую хотел повлиять журнал Достоевского. С 1864 г. действовал «Устав гимназий

и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения», где в § 64 говорилось: «Правила о взысканиях с учеников гимназий и прогимназий составляются местными педагогическими советами, причем высшую степень наказания составляет исключение из заведения, происходящее всякий раз не иначе, как по определению педагогического совета»⁸. Этим параграфом Устав и ограничивался, отдавая решение на усмотрение отдельных гимназий. 30 июля 1871 г. был однако введен новый Устав, ужесточавший ряд положений предыдущего, в том числе вводивший элементы централизации гимназической системы в России. Так, было установлено, что «правила о взысканиях с учеников гимназий и прогимназий, составляемые местными педагогическими советами, утверждаются министром народного просвещения»⁹. На основании чего министр Д. А. Толстой затребовал от попечителей учебных округов предоставить действующие там правила о взысканиях. Специально созданная министерская комиссия под председательством А. И. Георгиевского (редактора «Журнала министерства народного просвещения») и с участием инспекторов петербургских гимназий выработала затем общие для всех «Правила о взысканиях»¹⁰. Обсуждался и вопрос об исключении без права поступления в другое учебное заведение, подведомственное министерству. Статья Достоевского и Мещерского была откликом на это обсуждение и попыткой повлиять на решение комиссии, предупредить надвигающуюся угрозу: «рано или поздно, само общество потерпит вред тех педагогических опытов, где отсутствует любовь!»

Попытка не удалась. Новые «Правила о взысканиях», утвержденные министром народного просвещения 4 мая 1874 г., предусматривали «исключение из гимназии или прогимназии с оповещением о том всех учебных начальств и с лишением права поступать в какое-либо учебное заведение»¹¹. В России узаконивался «волчий билет». Невозможно подсчитать, сколько судеб было сломано, сколько озлобления посеял этот «пункт 19» в душах и учеников и учителей, какой вред нанесло торжество административной педагогики не только системе образования, но и русскому обществу в целом. Предупреждение «Гражданина» Достоевского не было услышано.

¹ Все скобочные отсылки (первая цифра — номер тома, последующие — номера страниц) даются по изданию: Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1972—1990.

² ИРЛИ. Ф. 100. № 29490.

³ РГБ.Ф. 93. I. К. 2. Ед. хр. 9/2.

⁴ ИРЛИ. Ф. 100. № 29489. В академическом издании (см.: 21, 312) римская цифра оказалась опущенной.

⁵ См. подробнее: Викторович В. А. Повесть Ф. М. Достоевского об учителе: реконструкция замысла // «Педагогия» Ф.М. Достоевского. Сб. ст. Коломна, 2003.

⁶ См. подробнее в нашей публикации: Ф. М. Достоевский. Новоатрибутированные статьи 1872 — 1874 гг. // Знамя. 1996. № 11. С. 165—168.

⁷ См. Там же. С. 176—177, а также: 27, 419—422 и 30(2), 80—82.

⁸ См.: Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. 39. Отд. 2. 1864. СПб., 1867. С. 173—174.

⁹ Сборник постановлений и распоряжений по гимназиям и прогимназиям ведомства министерства народного просвещения. СПб., 1874. С. 25.

¹⁰ См. «Объяснительную записку в дополнение к правилам для учеников гимназий и прогимназий и к правилам о взысканиях» (Там же, С. 524).

¹¹ Там же. С. 522.

<Ф. М. Достоевский>, В. П. Мещерский ИЗ МИРА НАШЕЙ ПЕДАГОГИКИ*

Ниже печатается за подписью А. Майкова и А. Порецкого статья, посвященная памяти Цейдлера.

Кто такое этот Цейдлер? Почему это имя не звучит громко? Зачем нигде мы не встречали похвальных слов в честь его заслуг? Зачем он точно умер, не оставив по себе диплома на звание почетного смертного?..

Причина очень простая. Цейдлер был один из замечательнейших русских педагогов нынешнего времени, но не в силу самозванства на призвание, на которое в нынешний век так падки люди, не знающие куда деваться, не в силу также изобретенных им методов и написанных проектов, не в силу наконец и административных распоряжений и чинопроизводств, нет, а просто запросто в силу душевного, глубоко искреннего и высоко...простого призыва к воспитательному влиянию на детей. Родись и умри Цейдлер в эпоху или в стране высоконравственной и правдивой оценки педагогов, его имя было бы известно; но он умер в ту эпоху и в той стране, где зачастую Бог знает кто берется за педагогию, а настоящие педагоги или безгласны и безжизненны, или действуют в самой темной и в самой узкой рамке своего призыва; где, следовательно, безгласен и бессилен в известном смысле был и Цейдлер.

Да, Цейдлер умер в этой узкой и темной сфере деятельности: он был директором московской земской учительской семинарии, ценимый только несколькими земскими людьми его близко знавшими, обожаемый юношеством, которому отдавал свою жизнь; но вне этих стен Поливановской школы знали его только те, которые случайно сталкивались с ним на жизненной дороге. Слава и мольба не коснулись этой чистой, высоко назидательной жизни.

В статье напечатанной нами о Цейдлере есть намек на одну из отличительных черт педагогической его деятельности, которая нам показалась особенно ярко светлою и богатою смыслом.

Цейдлер устраивал судьбу всех тех, которых, волею или неволею, бывши директором гатчинского института, он должен был в самых важных случаях исключать.

Исключать воспитанника из заведения было для Цейдлера событи-

* Тексты из «Гражданина» печатаются в основном с сохранением авторской пунктуации и частично — орфографии.

ем двумя сторонами проникавшим всю его душу, и на которое он решался только после самой тяжелой и долгой душевной борьбы: борьба эта вызываема была двумя вопросами: если не исключить воспитанника, не произойдет ли от этого вред для остальных? если исключить — не погибнет ли исключаемый? И поставленный между этими двумя вопросами, Цейдлер страдал, Цейдлер мучался, ибо перед ним вставал другой жгучий вопрос в виде следующей мысли: «исключить воспитанника — значит признать его негодным к исправлению, значит отречься над ним и перед ним от силы воспитания, — а имею ли я право, могу ли я поручиться перед Богом, что этот исключаемый никогда не поправится, никогда нечувствует над собою и в себе влияния исправления, могу ли я предопределить его к роли негодяя в жизни?»

И вот, если все-таки, после долгой и мучительной борьбы, Цейдлер на эту меру исключения из заведения решался, он устроивал судьбу этого несчастного чуть не с большею любовью к нему чем к тем, которые в заведении оставались. Для этих он был всегда и везде более отца родного!..

Не далее как два года назад, в одной школе, пришлось по грустной необходимости, испытав все меры убеждения и увещания исключить двенадцатилетнего мальчика, под влиянием ясного сознания опасности порока (очень известного детского порока) овладевшего мальчиком, для 40 остальных его товарищей. Мальчик поступил в другое училище, где тоже несмотря на самое кроткое, любвеобильное, так сказать, обращение с ним, пришлось его исключить, вследствие того же сознания опасности для других; к тому же мальчик принял уже отупевший вид, проявлял необыкновенную жесткость, глядел исподлобья, и был донельзя ленив. Проходит год. Мальчик вдруг является к своему прежнему начальнику школы; тот смотрит на него: не тот мальчик, да и только; глаза глядят прямо в глаза, лицо свежее, взгляд боек и умен; во всей внешней личности что-то развязное и благородное.

- Что с тобою сделалось? — спрашивал его учитель.
- Я страсть как люблю учиться, — отвечал мальчик, и глаза блеснули.
- Где же ты учишься?
- Дома у маменьки.
- А маменька где?
- В кухарках она.
- Кто же тебя учит?

Хозяйский сын учит, славно учит; он сам в университет готовится, недавно приехал из губернии; славный человек, очень любит меня, и знаете, что и я его очень люблю. Я хочу в гимназию.

- Ну, полно, где тебе в гимназию, надо латынь знать...
- Я учусь и латыни, поступлю уж, увидите поступлю.

Через 6 месяцев мальчик явился уже гимназистом.

Оказалось, что хозяйский сын, двадцатилетний молодой человек, из сожаления к этому мальчику, взялся его учить, развивать и в то же время принялся за его нравственное исправление. Вероятно, этот юноша был в душе педагогом, и в тайнике ее скрывался тот чудный,

великий дар всматриваться в душу, познать ее, полюбить, заставить себя полюбить, и затем воспитывать!

А вот и другой случай, которого я был очевидцем. В одном заведении директор просит своего начальника исключить одного воспитанника: начальник не соглашается, но призывает 13-тилетнего мальчика и говорит ему: «вот что, милый мой, ты дурно ведешь себя, дурно учишься; директор просит тебя исключить. Если это сделать — ты можешь пропасть, и мать твоя будет несчастной. Я подожду, и даю тебе два месяца срока; подумай хорошенъко, постараися исправиться; если исправишься, то мы тебя оставим; если не исправишься, то нечего делать, придется тебя исключить».

Через два месяца этот мальчик был один из первых и лучших учеников училища.

К чему мы приводим эти случаи?

А для того чтобы, так сказать, оживить и запечатлеть в памяти представление об этом страшном педагогическом вопросе исключения детей из учебного заведения.

Случаи, нами сейчас рассказанные, повторяются везде и повторяются часто: они доказывают, что мы ничего не можем предрешать об участии нравственной мальчика или девочки во все то время пока длится период развития и воспитания юношества; они доказывают, что если мы, зная, что решить вопрос о негодности детской натуры к исправлению невозможно, и в то же время все-таки решаем его необдуманно и легко, то принимаем на себя тяжелую ответственность: вместо хозяйствского сына — хорошего, честного, нравственного, этот изгнанный два раза мальчик, таивший в себе зародыш и добра и способностей, мог бы встретить негодяя, попасть под его влияние, развиться в сфере этого дурного влияния, и погибнуть как погибают многие, исключаемые из учебных заведений за дурное поведение. Они доказывают наконец и то, что исключаемый мальчик есть тот именно, кто всего более нуждается в уходе за его нравственною личностью, и что следовательно, Цейлер был прав, когда заботился пристраивать этих-то в жизни с большою любовью к ним, чем к родным детям.

Но вот и другой случай. Недавно одного мальчика выгнали из одной гимназии за то что он прошиб голову другому мальчику, и несмотря на то что ушиб был не опасен, мальчик был все-таки исключен. Другой случай: мальчика привозят в гимназию из глухи провинции; он убегает из семинарии, томимый тоскою по дому; его возвращают и исключают. Мальчик остается в Петербурге один, без семьи, без друзей, без нравственной и материальной помощи. Оба плакали и горько плакали, когда сидели в карцере, и еще горче заплакали, когда свершился над ними грозный приговор исключения.

Но какое исключение? *Исключение с запрещением быть принятым по всей России в какое бы то ни было учебное заведение, ведомства министерства народного просвещения!*

Вот что ужасно!

Вот где встают один за другим самые жгучие, самые затрагивающие душу вопросы.

Почему мальчик, исключенный из одной гимназии за шалость и дурное поведение, вследствие случайного стечения обстоятельств, из которых главнейшее, может быть, отсутствие для этого мальчика педагогического влияния лично на него, не может оказаться в другой гимназии одним из лучших — опять же вследствие случайного стечения других обстоятельств, при которых он мог бы сделаться одним из лучших воспитанников, подпав хорошему на него влиянию известной личности?

Кто ручается за то, что прежде исключения мальчика из гимназии, истощены были все другие средства на него повлиять, что приговор произнесен был после долгого и тщательного исследования его нравственной личности и ее отношений к окружающему его миру других личностей?

Кто может сказать, что именно в ту минуту, когда приговаривается мальчик к исключению, после сделанного им проступка, не наступает в нем та критическая минута, которая может произвести нравственный переворот во всей его нравственной природе, и что вследствие этого неумолимое исполнение над ним приговора исключения может переворот этот направить к худшему, а кроткая снисходительность и уход за его нравственною личностью, наоборот, к лучшему?

Указанные выше случаи доказывают, что исключение мальчиков из гимназий может произойти вследствие детских шалостей, и что во всяком случае оно в полной зависимости от случайного взгляния той или другой личности на тот или другой случай? Не является ли эта мера ужасною и потому, что шалости вообще в мальчиках суть ничто иное как проявления их возраста во-первых, а во-вторых и довольно часто — натуры прямой и открытой, всегда, следовательно, доступной впечатлениям извне; тогда как натуры хитрые, скрытные, но испорченные и дурные, могут, не проявляя себя в шалостях, казаться лучше первых, не подвергаться исключению из школы, и вредить своею скрытною безнравственностью сто раз больше мальчиков, творящих величайшие шалости?

Наконец, когда знаешь, что исключение мальчика из заведения предоставлено полному произволу его прямого начальства, и не может быть *контролировано*, можно ли допустить, чтобы действие этого произвола распространялось вне стен этого училища, клеймило позором мальчика на полдороге его воспитания, вооружало его против педагогической власти со всемо силою и страстью юного возраста, рисовало ему эту власть в образе неумолимо мстящего, бездесущего и вечного дракона, и обязывало все гимназии, все училища признать его негодным воспринимать перевоспитание, то есть в сущности признать себя самих неспособными сделать хорошего человека из мальчика исключенного начальством одной гимназии?

Вот мысли невольно просыпающиеся под перо в ту минуту, когда узнаешь о случаях вышеприведенных и о той мере, вследствие которой

мальчик исключенный из одной гимназии, не может быть принят в другой.

На эти вопросы какой можем мы получить ответ?

Гимназий слишком мало, а кандидатов в гимназии слишком много, чтобы можно было держать дурных, когда столько есть и без них желающих поступить, которые все-таки и весьма часто не попадают в число гимназистов.

Вот единственный ответ, который мы можем получить.

Но удовлетворителен ли этот ответ, вот в чем вопрос.

Нет, он нам кажется неудовлетворительным, потому 1) что никто, как мы сказали, не может поручиться за то что исключаемые суть именно худшие из дурных; 2) исключение происходит в таком возрасте, когда нельзя произносить безапелляционного приговора над личностью мальчика; 3) недостаток гимназий и избыток желающих в них поступать не извиняет и даже не смягчает положительной жестокости самой меры исключения, ибо тот кто выгоняется есть известная нам, уже определившаяся личность, сознательно приносимая в жертву идее, тогда как тот, кто может поступить на место изгнанного,— до той минуты, пока первый не изгнан, — для нас личность скорее неизвестная и неопределенная; мы первого губим наверно, не зная, благородствуем ли мы второму; и 4) наконец, вышеизложенное соображение все же не объясняет нам, почему мальчик изгнанный из одной гимназии должен быть одновременно изгнан из всех остальных?

Нет, лучше, кажется нам, открыть десять лишних гимназий, чем выгонять из них мальчиков за шалости, под предлогом, что их место займут другие.

Куда ни заглянешь, приходишь к убеждению, что ни в чем в нашей жизни мы так не нуждаемся, как в педагогах и в педагогике, на твердых началах основанной. Наши педагоги это счастливые или несчастные случайности; это не сословие людей, как в других государствах, самостоятельно и издревле живущее в силу государственной и общественной необходимости, и черпающее свою силу и свою деятельность из народной жизни, они просто начальство; попадет у нас мальчик к педагогу представителю счастливой случайности — хорошо, попадет к представителю несчастной случайности — дурно; и вот, если среди этого шаткого в своих основах и шаткого в своих личностях мира мы встречаем вдруг такое страшное положительное начало, в силу которого, мальчик изгоняемый из школы за шалость лишается уже возможности поступать в другую, то невольно устрашаемся всего что может быть последствием такого начала, которое, независимо от того что оно жестоко и несправедливо, поражает и потому что, по-видимому, вовсе не согласуется с коренными недостатками нашего педагогического мира.

Воспитание вообще при самых лучших условиях его быта — дело бесконечно трудное; сколько раз оно труднее еще тогда, когда этих благоприятных условий в педагогическом мире нет, понятно всякому.

Но когда при этом все известные административные внешние меры подчиняют судьбу воспитательного дела произволу в строгости, тогда является серьезная опасность, заключающаяся в разобщении юношества с воспитывающим его началом.

Строгость, исходящая из любви к воспитаннику и из понимания педагогического призыва есть удел воспитывающего человека; когда же она является в какой-либо общей административно-педагогической мере, или в целом учреждении, и вызвана чисто отвлеченным, так сказать, бюрократическим принципом, она перестает быть строгостью и делается проявлением чистого произвола и отсутствия любви к юношеству.

Без этой любви и вне этой любви нет воспитания. Любовь эта проникает строгость, любовь эта обязывает к снисходительности; и сказать, где должен быть предел этой любви в воспитании, никто не может, ибо все воспитание заключается в бесконечно разнообразных проявлениях любви воспитателей к бесконечно разнообразным природам воспитанников.

Мальчик изгнан из гимназии.

Допустим, что он был изгнан педагогом, испытавшим над ним все опыты любви к своему призванию, к юношеству вообще и к этому юноше в особенности.

Спрашивается: неужели из тысяч проявлений этой же любви в других педагогах не найдется ни одного, которое могло бы из выгнанного мальчика сделать хорошего человека, и та мера, которая прямо этому опыту запрещает иметь место по всей России, не означает ли она, что она отвергает силу этой любви, и следовательно, как не заключающая в себе любви, — является жестокою?

Нет, жизнь таких людей как Цейдлер, посвященная на воспитание во имя любви к русскому юношеству и к русскому народу, не должна, кажется нам, быть безмолвною тогда, когда кругом нас жизнь общества создает те жгучие вопросы, из-за которых эти люди, хотя и неприметные при жизни, боролись в поте лица своего, и из-за которых быть может преждевременно умирали.

Жизнь Цейдлера, оплакиваемая немногими, говорит нам: любите, любите бесконечно юношество; все что любовь к нему велит делать,— делайте, не бойтесь; всего что этой любви противоречит,— не делайте и бойтесь это делать, ибо рано или поздно, само общество потерпит вред тех педагогических опытов, где отсутствует любовь!

И вот, прислушиваясь к этому голосу, мы, с уважением относясь к ведомству, которому вверена большая часть нашего воспитания общественного, дерзаем сказать: *отчего не отменить запрещение исключаемым из одного учебного заведения ведомства народного просвещения поступать в другие?*

Кто может знать, сколько спасенных будет для общества юношей хотя бы этим путем?

А если уж это решительно нельзя сделать, то отчего бы, опять же

прислушиваясь к поучительному голосу Цейдлера, не заменить исключение учреждением, в ведении одного лучшего педагога в губернии, исправительных классов, куда мальчики, приговариваемые к исключению, переводились бы для особенно тщательного и любовью проникнутого за ними ухода, с тем чтобы после возвращаться в гимназии?

Но чтобы такие классы не могли обратиться в исправительные роты, а напротив, могли бы существовать с пользою— их надо было бы поручать таким людям как Цейдлер. Но, увы, этих личностей немного, и вот почему потеря для общества такой личности, какою был Цейдлер, есть потеря чувствительная.

Кн. В. Мещерский

ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ ЦЕЙДЛЕР (Некролог)

В субботу, 10-го февраля, родные, знакомые и толпа бывших учеников Петра Михайловича Цейдлера проводили его в последнюю обиель — на Волково кладбище. Педагогическая и преимущественно воспитательная деятельность этого человека, составлявшая неодолимую потребность его внутренней жизни, изливавшаяся чистой, беспримесной струей из его глубоко любящей натуры, оставила благотворный и надолго неизгладимый след в кругу людей, на которых он влиял; а в этом относительно тесном кругу самое значительное большинство составляет группа его воспитанников. За них-то, за эту молодую, к добру и свету направленную группу, должны помянуть его добрым словом русские люди, и мы, близко его знавшие, хотим над его свежей могилой сказать это доброе слово.

П. М. Цейдлер родился 18 ноября 1821 года в Пензенской губернии, в Мокшанском уезде, в селе Сипягине — небольшом родовом имении его матери (урожденной Сипягиной). Отца он не помнил и рос под женским надзором матери и тетки. В детстве, именно — когда Цейдлеру было 10 или 11 лет, — случилось одно событие, из таких, которые, сделав раз известное впечатление на ребенка, отражаются потом на всей его жизни. Некто Т., короткий знакомый семейству Цейдлеров по Пензе, перешедший на службу в Кострому, уговорил г-жу Цейдлер отпустить к нему маленького Петю, обещаясь заняться его воспитанием, и Петя переселился в Кострому. Через некоторое время в домашних делах Т. произошла резкая перемена, вследствие которой он вынужден был своего питомца спешно возвратить к матери. Он нанял подводчика до места, т.е. до села Сипягина, и отправил с ним мальчика — одного, в зимнюю пору. Подводчик, доехав до какого-то селения (до какого именно — сведения у Цейдлера не сохранилось), не рассудил ехать дальше, и высмотрев избу попгляднее, остановился у ней и предложил мальчику идти в избу погреться, а сам повернул лошадь и уехал вояси. Скоро все селенье уз-

нало о брошенном мальчике. Около него собирались бабы, толковали, горевали; все принимали горячее в нем участие. Прошло несколько дней. У хозяина избы был сын лет двадцати — звали его Борисом — который особенно заинтересовался мальчиком, а Цейдлер привязался к нему. Они сделались неразлучны. Подождавши, не вернется ли возчик, крестьяне уже решили на миру донести местным властям о случившемся, но Борис упросил отца и настоял на миру, чтобы дозволили ему отвезти сироту к родным, жительство которых он надеялся отыскать, расспрашивая как добраться до Пензы, а в Пензе можно было узнать где и Сипягино. Отправились странствовать молодые люди — как и где — Цейдлер ничего не помнил. Добрались наконец до Сипягина. Цейдлер неожиданно предстал перед изумленною матерью. Борис был обласкан, награжден и уехал домой, — скрывшись навсегда для Цейдлера, который потом, прия в возраст, тщетно делал об нем розыски... Это-то событие, этот переезд по нескольким губерниям в качестве брошенного мальчика, отыскивающего своих родителей, это радущие и участие народа, которое сопровождало его на всем его длинном пути, а, главное, симпатическая личность, благодушные и разумность Бориса — все это как бы раскрыло душу русского народа Цейдлеру; в Борисе — ему всегда потом казалось, — как будто воочию ему было откровение идеала русского человека во всей его безыскусственной нравственной чистоте и красоте, — идеала, не оставлявшего Цейдлера до конца дней его. Отсюда, может быть, развилась в нем одна из существенных черт его личности — вера в русский народ и особенно — нежная симпатия к простым юношам, чуждым искусственности и светской выправки, сохранившим первобытную, своюственную невыровнившемуся человеку естественность наружных движений и внутреннего строя. С ранней молодости и во всю жизнь П. М. Цейдлер никогда не оставался без одного или нескольких молодых любимцев, к которым прилеплялся всею душою и которым старался, так сказать, передать свою душу. Случалось, что он пытался выработать *человека* из простого, безграмотного, взятого с улицы, с поденной работы юноши; случалось ему браться за восстановление нравственной личности падшего; случалось ошибаться в выборе, разочаровываться в попытках, — но все ошибки и разочарования нисколько не охладили его душевной теплоты и не ослабили его сердечных влечений до конца.

Через год или два по возвращении из Костромы, Цейдлера отдали в пензенскую гимназию; а в 1838 г. он поступил в петербургский университет, и по окончании в нем курса по юридическому факультету, в 1842 году поступил здесь же в гражданскую службу, на первую попавшуюся вакансию, так как средств к жизни не было. Лет семь он чиновничал, проводя — утро на службе, а вечера за книгами, между которыми бывали разложены и анатомические чертежи. Изучить анатомию и физиологию считал он тогда для себя неизбежным как первые ступени к психологии — высшей науки, к которой он стремился. Между тем Вирей, Бурдах, Ог. Кон¹ и пр., и пр., последовательно один за другим увлекали его, и он поглощал их крупными приемами, зачиты-

ваясь до поздних часов. Без серьезного научного труда жизнь казалась ему недостойною, а о молодых людях ограничивающихся чтением одних текущих журналов и газет он отзывался тогда с некоторым негодованием, считая их остановившимися и обречеными на «опошление».

Наконец в 1849 году открылось Цейдлеру давно втайне излюбленное им педагогическое поприще: Гр. Ив. Фон-Дервиз², в дом которого Цейдлер был введен еще в бытность свою в Костроме, предложил ему место старшего надзирателя и преподавателя русского языка в гатчинском сиротском институте³.

Что нашел он там в виде остатков от прежней системы воспитания, как отнесся к своему новому делу и чем стал для вверенных его надзору воспитанников — все это выражено в написанном к нему послании еще в 1856 году:

«Вот он по гатчинскому саду
Идет с толпой учеников;
Вот он садится к водопаду
На мшистый камень, в тень дерев;
Вокруг дети жмутся молчаливо
К нему все ближе. Очи их
Или потуплены стыдливо,
Иль слез полны, и сам он тих,
Но лицом светел. Он читает
В младых сердцах. Он их проник;
Один душой он понимает
Неуловимый их язык.
В сердцах, забитых от гоненья,
Ожесточенных в цвете лет,
Он вызвал слезы умиления,
Он пролил в них надежды свет,
И указуя в жизнь дорогу,
Он человека *идеал*
Пред ними долго, понемногу
И терпеливо раскрывал...
И вот открыл! — и ослепило
Его сиянье юный взгляд,
И дети с робостию милой
И с изумлением глядят.
И каждый сам в себя невольно
Ушел и плачет о себе.
И за прошедшее им больно —
И все готовятся к борьбе.
Ах, Цейдлер! в этом идеале
Ведь ты себя нарисовал;
Но только дети не узнали,
Да ты и сам того не знал!»

(Стихотв. А. Майкова 1872, т. I, стр. 345)

Слишком десять лет провел Цейдлер в Гатчине. Он был там явлением, которому хотя и сочувствовали оба директора, т.е. и Фон-Дервиз, и преемник его, Голохвастов, но на которое большая часть сослуживцев П.М. смотрела как на чудачество⁴; сами воспитанники очень долго не верили, чтоб действительно мог найтись человек, который серьезно и с любовью отнесся бы к судьбе их, и много нужно было Цейдлеру времени чтобы заставить их поверить... С поступлением туда Цейдлера, тотчас прекратились порки и отдачи в солдаты; мало-помалу поднялся нравственный строй юношества; учение пошло лучше; действуя на воспитанников и уроками, и частными беседами, в прогулках и за чтением, Цейдлер старался пробуждать в них потребность высшего образования, и на второй же год его вступления в институт уже явились двое пожелавших поступить в университет, чего давно уже не было в Гатчине. На следующий год желающих было уже семеро — и тогда Цейдлер принял хлопотать, чтобы это поступление в высшие заведения воспитанников гатчинского института было узаконено, так как институт до того времени имел целью приготовление только канцелярских чиновников. Хлопоты его увенчались успехом, и питомцам института открыт был доступ и в университет, и в медицинскую академию и пр., и даже учреждены были для них стипендии от опекунского совета. Но и там не прекращалась связь Петра Михайловича с его питомцами, и питомцы его не заплатили ему неблагодарностью: в позднейшие даже годы, в известные дни (в день рождения Цейдлера) квартира его наполнялась тесной, пестрой толпой: были тут и военные, и медики, и учителя, и чиновники, — свежая, бодрая молодежь, посреди которой уже многие достойно ознаменовали себя на избранных ими поприщах,— все бывшие воспитанники Цейдлера, помнившие до конца его дней, чем они ему обязаны...

Мы указали только на результаты трудов Петра Михайловича в Гатчине. Они дались ему не даром. Здоровье его расстроилось; да примитом, главное было сделано: заведение было поставлено на надлежащую высоту и выведено из «черного тела»⁵. В 1860 г. Цейдлер переселился в Петербург, удержав за собою в Гатчине только юридические лекции, и поступил на службу в св. синод, но не надолго⁶.

В 1863 г. бывший тогда помощником председателя совета Императорского человеколюбивого общества С. А. Танеев⁷ пригласил Цейдлера к участию в составлении проекта преобразования учебного заведения, называвшегося тогда «Домом Воспитания Бедных Детей», и он тогда же был послан за границу, чтобы ознакомиться с соответствующими заведениями, преимущественно с учительскими семинариями в Германии и Франции. В следующем 1864 году, возвратясь из заграницы и представив отчет о своей поездке, Цейдлер был назначен директором Дома Воспитания.

Здесь повторилась почти та же история, что и в гатчинском институте. Цейдлер принял заведение хотя и шестиклассное, но немногое чем отличавшееся от уездных училищ⁸ — и возвысил его на степень семиклассной гимназии, почти не выходя из тех средств заведения,

какие были и до него, от 25 до 30000 р. На эти средства содержалось всегда более 300 воспитанников и выдавалось жалованье учителям и всем служащим. Курс же проходился полный гимназический, кроме греческого языка. Многие педагоги из других учебных заведений столицы, по неделям, с утра до вечера, изучали Дом Воспитания, как он устроен был Цейдлером, и выражали удивление, что на столь малую сумму достигается более результатов, чем у них, при издержках несравненно больших. Тайна этого заключалась в том, что, во-первых, Цейдлер, приняв заведение, тотчас собрал вокруг себя своими помощниками своих же гатчинских бывших питомцев, проникнутых уже с юности одним взглядом и духом со своим наставником. Кроме того, несмотря на то, что жалованье учителям и воспитателям было гораздо ниже в Доме Воспитания, чем в учебных заведениях министерства народного просвещения и военного, многие лучшие преподаватели в Петербурге отказались даже от более выгодных уроков и пошли трудиться с Цейдлером, единственно привлеченные туда обаятельностью его личности, не терпевшей никакой формальности, его горячо преданностью делу, его уменьем целое заведение и всех к нему присоединенных лиц связать в одну семью: все сознавали, что эта семья живет его авторитетом, но никто не почувствовал ни разу тягости этого авторитета, никто не почувствовал стеснения своей личной свободы, невольно покоряясь ему.

Таким образом цель П. М. при поступлении в Дом Воспитания была достигнута: он имел утешение видеть уже несколько выпусксов своих воспитанников поступивших в университет, в военно-юридическое училище, в медицинскую академию, в технологический институт и пр. Закрепив окончательно хлопотами своими будущность воскрешенного им заведения, как гимназии а именно,— устроив принятие его в ведомство мин. народн. просв. на общем положении гимназий и тем оградив его от всяких случайностей в изменении его назначения, Цейдлер сам не успокоился. Постоянной мечтой его было действовать в среде народной. Уже в промежуток времени между его службой в гатчинском институте и деятельностью в Доме Воспитания, заведя в течении двух лет по его же мысли основанным г. Бауманом еженедельным изданием «Воскресный Досуг»⁹, Цейдлер поставил себе целью доставить чтение грамотному крестьянству, и это издание за первые два года своего существования, т. е. за время Цейдлеровой редакции, может и поныне считаться образцовым в своем роде, как по содержанию, так и по языку: при нем на второй год издание имело уже 12 000 подписчиков; ныне число их сократилось в шесть раз... Но вот московское земство предлагает П. М. принять на себя устройство земской учительской школы и быть ее директором¹⁰. Несмотря на свои годы и здоровье, уже надорванное постоянными трудами, неустанною борьбою — где с равнодушием, где с всесильною у нас канцеляршиною, заставлявшо Цейдлера отписываться и переписываться, бесполезнейшим образом переводить вороха бумаги и губить свои силы и время на отстаивание своего дела от козней адептов старых порядков,— несмотря

наконец на всеобщую любовь воспитанников и всех лиц, прикосненных к новой гимназии, Петр Михайлович решается оставить Петербург, общество, друзей, и поселиться в пустынной усадьбе, занятой земством, в Подольском уезде Московской губернии, в селе Поливанове, и там привести в исполнение заветную мечту свою. «Приготовить народных учителей — дело не легкое, говорил он. Уительство — не выучка. Уительство — апостолат... и если бы мне удалось вдохнуть этот дух самоотвержения и любви хотя в пятерых или шестерых из приготовленных мною юношами, это было бы самым лучшим, о чем бы я мог мечтать... А русский человек способен к этому апостолату»... Как устроил и как повел Цейдлер эту школу мы не будем рассказывать: об этом уже рассказал человек, более нас, конечно, компетентный в этом деле — барон Корф, описавший произведенное на него поливановской школой впечатление в статьях «Частная инициатива в деле образования», напечатанных в «С.-Петербург. Вед.» 1872 г.¹¹ Не говорим уже о других статьях в «Голосе» и «Гражданине»¹²... Но увы! Смерть остановила Цейдлера на втором году этой новой и, как он понимал, высшей для него деятельности... В течение года свезенные с разных концов России молодые люди из крестьян, мещан, из семинарий и уездных училищ — многие только что грамотные,— уже приняли вид мало отличавший их от воспитанников прежних заведений, где действовал Цейдлер. Бурсачество, брань и ругательства между собою, с которыми они явились в школу, к концу года уже совершенно умолкли; книга и чтение сделались их потребностью; в лицах многих уже видна была пробудившаяся серьезная мысль о высоте их будущего назначения. Экзамены — особенно из русского языка (грамматика и сочинение), арифметики и географии удивили присутствовавших на них членов земства московского, рязанского и некоторых случайных петербургских гостей, пребывавших в Поливанове все время экзаменов... Надо сказать, что и сюда явился Цейдлер не один, а опять со своими бывшими гатчинскими питомцами, также и вследствие той же идеи бросившими в Петербурге и службу и столичную жизнь и последовавшими за своим учителем¹³... Но уже летом 1872 года в Цейдлере стал заметен упадок сил. Ожидание результатов новой деятельности проявлялось в нем с каким-то раздражительным нетерпением. Усиленные труды по составлению подробного отчета земству за истекший год и еще два происшествия — смерть одного воспитанника и дело о переходе троих лучших учеников в уительскую семинарию министерства народного просвещения, учреждавшуюся в Москве, дело, о котором было говорено в ноябрьском собрании московского земства и которое поразило Цейдлера, можно сказать, в самое сердце, ибо эти трое учеников были из лучших и любимых¹⁴, — все это сильно подействовало на его здоровье. Начались у него сильные головные боли, потом последовал удар, поразивший его в левую руку и ногу. От удара он уже начал оправляться и готовился приступить к классным занятиям, как открылся вследствие простуды тиф, положивший конец жизни человека — «беспокойного» в глазах житейских мудрецов, но, смело

можно сказать, соблюдшего вполне великую заповедь: «пастырь добрый полагает души своя за овцы»¹⁵...

Эти слова были в душе и на устах всех провожавших П. М. в его последнее жилище! Тело его было привезено 10 февраля в Петербург, и с московской станции препровождено в церковь гимназии, одолженной его стараниям своим существованием¹⁶ ... Не было на этих похоронах знаменитостей педагогического мира: покойный не любил разглагольствий о деле воспитания и образования, считая его делом не столько теории, сколько призыва, и в педагогическом мире был известен только разве серьезнейшим его представителям; не было почти звезд и лент, потому что, как в Гатчине, так и в Петербурге воспитанники его были или круглые сироты или дети бедных родителей; но за то трогательно было видеть толпу этих бывших в течение 20 лет его воспитанников, теперь в свою очередь дельных молодых людей на разных общественных поприщах и ступенях — тех же самых, которые в заветный день его рождения наполняли его комнаты... И что разоблачалось тут в разговорах о покойном в этой провожавшей его толпе!.. «Знаете, сказал один из них, в детстве лишившийся отца и матери, — мне хоть иногда, только раз в год случалось видеть П. М., а иногда и совсем не удавалось, — но теперь у меня такое чувство, как будто я осиротел во второй раз и на этот раз уж окончательно!.. Ну, что я ему был? и в институте был во враждебной для него партии, а он и в университет меня направил, и квартиру нам нанял, и имел удивительное искусство заставить принимать от него деньги. В первые годы студенчества ведь мы существовали на его счет! И не мне одному, он, пожалуй, со всеми нами так делал...»

— Да, перебил другой, — когда закрыли здешний университет¹⁷, мы отправились в Москву — на его счет; конечно, он и туда нам присыпал.

— Вы, господа, сказал третий, кончили курс в институте, и уж П. М. любовался, так сказать, вами в университете; а я ведь был исключен. До него нас непременно бы отдали в солдаты... Что ж? ведь он нас не бросил. Что он мне говорил — никогда не забуду. Но с этого дня для меня началась новая жизнь. Он отыскал мне помещение и стол, платил за меня, потом определил на службу... Да и со всеми почти исключаемыми так делал! Почти во всяком ведомстве у него были уж свои, из прежних воспитанников, — он им и поручал следить за нами на службе, и никогда не терял нас из виду... Тогда нас было четверо исключенных...

Да! мы это знали; исключение из заведения — мера, с которой П. М. мирился только в крайности и которая расстроивала его самого больше всех, — не значило для него предать на волю Божию заблудшую овцу, но было только мерой исправления, и исключенные не оставались без его помощи и участия... Вспомнилось нам при этом, как другим разным начальствам выгнать шалуна из заведения — что стакан воды выпить...

— И вот, заключил первый из говоривших, вот человек, которого хоронят на пособие от земства, и семью оставил без куска хлеба,

а ведь в Гатчине еще у его семьи был капитал, и капитал этот весь пошел на нас!..

Что можно прибавить к этим надгробным речам?...*

Товарищи Цейдлера: А. Порецкий, А. Майков

* Между петербургскими друзьями Цейдлера был слух, будто бы удар постиг его за чтением ругательной статьи о поливановской школе г. Завадского-Краснопольского, напечатанной в журнале «Дело»¹⁸. По собранным справкам спешим опровергнуть этот слух. Мы уже выше описали его болезнь и кончину. Что же касается до упомянутой статьи, то об ней Цейдлер отнесся следующим образом: «неприятны ругательства, да видно к ним надо привыкать», писал он. Мое дело все на виду и пускай статья усугубит внимание и надзор земства; земство не есть единичное лицо, которое можно обойти и обморочить, а строгий Аргус, до сих пор (спасибо ему!), кажется, недремно следящий за своим и моим детищем».

¹ Ж.-Ж. Вирей (1774—1847) — известный французский антрополог, автор «Естественной истории рода человеческого»; К.Ф. Бурдах (1776—1847) — выдающийся немецкий физиолог, автор книги «Человек в разных проявлениях его натуры»; Огюст Конт (1798—1857) — французский философ, один из основоположников позитивизма и социологии, наибольшую известность принес ему «Курс позитивной философии».

² Г. И. Фон-Дервиз был директором Гатчинского сиротского института с 1847 г.

³ Гатчинский сиротский институт для воспитания сыновей военных обер-офицеров и гражданских чиновников был в 1837 г. преобразован из Гатчинского сельского воспитательного дома (основанного императрицей Марией Федоровной в 1803 г.).

⁴ Среди них, впрочем, был К. Д. Ушинский, преподаватель, а затем инспектор в 1855—1859 гг. У них с Цейдлером имелся замечательный предшественник — Е. О. Гугель, в 1830—1841 гг. учитель и инспектор классов, открывший при институте первую в России «малолетнюю школу» для сирот 4—6 лет.

⁵ Одно из свидетельств тому: в нем учился (1859—1868) будущий великий русский шахматист М. И. Чигорин.

⁶ Цейдлер был членом общего присутствия духовно-учебного управления при св. Синоде и начальником синодального архива.

⁷ С. А. Танеев (1821—1889), выпускник училища правоведения, служил в основном в I отделении собственной канцелярии императора (с 1865 г. управляющий отделением). Изучал устройство народных школ за границей, в 1862 г. был назначен помощником главного попечителя Императорского Человеколюбивого общества. Петербургский Дом воспитания создавался в рамках этого последнего и потому впоследствии, после преобразований Цейдлера, был переименован в гимназию Человеколюбивого общества.

⁸ Уездные трехклассные училища, учрежденные в 1803 г., служили подготовительными заведениями по отношению к гимназиям. Согласно положению 31 мая 1872 г. они должны были преобразовываться в городские шестиклассные училища.

⁹ В 1863—1864 гг. Цейдлер редактировал этот дешевый иллюстрированный журнал (издатель А. О. Бауман) вместе с А. У. Порецким.

¹⁰ После 1864 г., когда было издано положение о народных училищах и возникла крайняя потребность в педагогических кадрах, стали создаваться учительские институты для подготовки педагогов начальной школы, а

при них — одно- или двухклассные училища для практических упражнений. Возникали также учительские семинарии и школы, по преимуществу на средства земства (в том же 1864 г. началась земская реформа). Губернские земства взяли на себя заботу о подготовке учителей. Вторая в России земская учительская школа (после новгородской) была открыта Московским губернским земством в августе 1871 г. в селе Поливанове Подольского уезда, для этой цели была арендована усадьба Давыдовой. Школа была всессловной, трехгодичной, готовящей учителей для сельских начальных школ.

¹¹ Точнее, в четвертой статье из этого цикла. *Н. А. Корф* (1834—1883) — земский деятель и публицист, один из самых известных представителей новой либеральной педагогики. В 1867—1872 гг. в своем Александровском уезде Екатеринославской губернии способствовал открытию многих школ, проведению съездов учителей, организации учительских библиотек. Общественное внимание привлекли издававшиеся им «Отчеты Александровского уездного училищного совета» (5 выпусксов), пять учебников и руководств для народной школы, книга для чтения «Наш досуг» (1871), статьи в «С.-Петербургских ведомостях», «Вестнике Европы» и «Народной школе», в 1873 г. собранные в книге «Наше школьное дело». В ней была перепечатана и названная статья в поддержку поливановской школы Цейдлера.

¹² См.: *Грамотников В.* Московское земство по отношению к народному образованию // Гражданин. 1872. № 6. С. 192—193; *Кашин В.* Учительская школа московского земства // Там же. № 9, 10.

¹³ Имеются в виду учитель физики и естественной истории Николай Исидорович Мясоедов и учитель географии и истории Генрих Иванович Шнель. Как писал В. Кашин в указанной выше статье, оба преподавателя «сжились с ним <Цейдлером> в течение многолетней общей педагогической деятельности» (Гражданин. 1872. 6 марта. № 10. С. 340). Мясоедов работал в Доме воспитания с 1866, а Шнель — с 1864 г. Оба отправились за Цейдлером в Поливаново в феврале 1871 г.

¹⁴ После открытия в Москве учительского института, подчиненного министерству народного просвещения, трое из лучших учеников Поливановской школы заявили о своем желании перейти туда. Основной причиной были значительные льготы, предоставляемые новооткрытым заведением. Это событие («переманка») бурно обсуждалось на заседании Московского губернского земского собрания 8 декабря 1872 г. и вызвало реакцию начальства Московского учебного округа (см.: Московские ведомости. 1872. 15 и 18 декабря). На заседании было оглашено письмо Цейдлера, предлагавшего удовлетворить просьбу учеников.

¹⁵ Слова Иисуса к фарисеям: «Я есмь паstryр добрый: паstryр добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не паstryр, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит» (Ин. 10. 11—12).

¹⁶ Т.е. гимназии Императорского Человеколюбивого общества.

¹⁷ Петербургский университет после студенческих волнений был временно закрыт с 20 декабря 1861 г. до осени 1863 г.

¹⁸ См.: *Завадский-Краснопольский А. К.* Московская учительская школа в селе Поливанове Подольского уезда // Дело. 1872. №. 9. Автор негодует, что «своим земцам», москвичам, был предпочтен «выписанный немец» из Петербурга. Цейдлеру вменялись разные финансовые нарушения с корыстной целью. Впоследствии попечительский совет, состоявший из видных земских деятелей, никаких нарушений не обнаружил и высоко оценил деятельность директора (см.: Московское губернское земское собрание. Заседание 8-го декабря // Московские ведомости. 1872. 15 декабря. № 317).

НЕИЗДАННОЕ ПИСЬМО И. А. ГОНЧАРОВА

Публикация, предисловие и примечания В. И. Мельника

В «Летописи жизни и творчества И. А. Гончарова»¹ указано, что 19 мая 1858 г. И. А. Гончаров послал В. А. Соллогубу экземпляр отдельного издания «Фрегата „Паллады“» и письмо. Указанное письмо, хранящееся в архиве Петербургского отдала Института истории Российской Академии Наук (коллекция Н. П. Лихачева²), не опубликовано.

Интерес его состоит в том, что перед нами первое зафиксированное свидетельство контактов между И. А. Гончаровым и В. А. Соллогубом. Граф Владимир Александрович Соллогуб (1813—1882) — беллетрист, драматург и мемуарист, автор отмеченных В. Г. Белинским светских повестей и известной повести «Тарантас».

Известно всего несколько эпизодов взаимоотношений Гончарова и Соллогуба. Так, 19 февраля 1865 г. Гончаров был на вечере у князя В. Ф. Одоевского, где в числе приглашенных был и В. А. Соллогуб. 25 января 1867 г. Гончаров-цензор дал отрицательный отзыв о драме Соллогуба «Местничество», ранее запрещенной театральной цензурой: «Во всей драме господствует историческая неверность и художественная неправда»³.

¹ Алексеев А. И. Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова. М.-Л., 1960. С. 82—83.

² Коллекция Н. П. Лихачева. 271/252а.

³ Русская старина. 1911. Т. III. С. 478—480.

Текст письма любезно представлен мне научным сотрудником Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН Е. В. Свиясовым, которому выражаю свою благодарность. Вот это письмо:

И. А. Гончаров — В. А. Соллогубу

С удовольствием препровождаю к Вам, любезнейший граф Владимир Александрович, экземпляр «Фрегата „Паллады“», и еще с большим удовольствием ожидаю от Вас дополнительных томов Ваших сочинений: у меня только два первые¹.

Что же касается до услуги, требуемой Вами от меня², то, сообразясь со множеством скопившихся и обрушившихся на мою голову занятий, я, к великому прискорбию моему, должен отклонить от себя всякий новый подвиг, как бы он легок и мал ни был; в противном случае произойдет ущерб тому, другому, а всего вероятнее — третьему, т.е. Вашему делу. Вы напрасно обегаете Львова³, а еще бы лучше попросить А. А. Краевского, опытнее и искуснее его в делах этого рода не найдете.

Притом он авторитет, известный и министру⁵ (он участвует в театральном комитете, читающем пьесы), и может служить весьма благовидной порукой.

Дав Вам этот благой совет и поспешно препроводив «Палладу», полагаю, что я достаточно загадил свой прискорбный и неотразимый отказ.

Если соблаговолите прислать ко мне Ваши книги, то адрес мой: на Моховой в доме Устинова (рядом с князем Щербатовым⁶).

До свидания
Ваш
И. Гончаров

19 мая
[1858 г.]

¹ Речь идет об изданном в 1855—1856 гг. собрании сочинений В. А. Соллогуба: Соллогуб В. А. Сочинения. Т. 1—5. СПб., 1855—1856.

² Очевидно, Соллогуб обратился к Гончарову как к цензору Петербургского цензурного комитета (с марта 1856 г.) с просьбой о продвижении в печать или на сцену своей комедии «Preuve d' amitié» («Доказательство дружбы»). Пьеса, однако, не была поставлена в России, но попала на сцену парижского театра «Gymnase» в 1859 г. (Краткая литературная энциклопедия. Т. 7. М., 1972. Стб. 52).

³ Львов Николай Михайлович (1821—1872) — драматург, автор комедий в духе либеральной «обличительной» литературы. 23 марта 1857 г. Гончаров-цензор одобрил к переизданию комедию Н. М. Львова «Свет не без добрых людей» (Летопись, С. 71), которая была своего рода ответом Н. М. Львова на комедию В. А. Соллогуба «Чиновник» 1856). Н. М. Львов и начал свою литературную деятельность с критического разбора пьесы «Чиновник» (Несколько слов о комедии «Чиновник»), помещенного в журнале «Современник» (1856, № 6). Возможно, именно поэтому Гончаров говорит о том, что Соллогуб «обегает» Львова. Между прочим, в 1850-х гг. Львов занимал незначительные должности по Министерству Внутренних дел и юстиции и, возможно, мог чем-то помочь Соллогубу.

⁴ Краевский Андрей Александрович — известный журналист, редактор журнала «Отечественные записки».

⁵ Министр народного просвещения Норов Авраам Сергеевич (1795—1869), востоковед, филолог, ординарный член Петербургской Академии наук.

⁶ Щербатов Григорий Александрович, князь (1819—1881) — с 26 августа 1856 г. по 18 июля 1858 г. попечитель Петербургского учебного округа и председатель цензурного комитета.

НЕИЗВЕСТНОЕ ПИСЬМО И. С. ТУРГЕНЕВА *Публикация, вступительная заметка и примечания* *B. B. Бойкова*

Эпистолярное наследие Ивана Сергеевича Тургенева хорошо изучено, систематизировано и издано. Но время от времени в частных собраниях исследователи находят неизвестные письма писателя. Особенно это касается Франции, где он прожил многие годы. Неизвестное письмо И. С. Тургенева к дочери Полине Тургеневой, в замужестве Брюэр (1842—1919), обнаружено мною в Париже, где оно хранится в частном собрании Бориса Михайловича Гофмана, который уже предо-

ставлял для публикации в «Филологических записках» письма И. А. Бунина к М. А. Гофману (См.: «ФЗ» 2003, № 20).

Судьба внебрачной дочери И. С. Тургенева от вольнонаемной бештюшевки Авдотьи Ермоловны Ивановой подробно описана в биографиях писателя. Рожденная в Спасском, Полина в восьмилетнем возрасте была увезена во Францию, где и прожила всю оставшуюся жизнь. Сначала она воспитывалась в семье Полины Виардо, затем с 1854 до 1860 г. — в пансионе. Во Франции получила фамилию отца, но так как это было сделано в соответствии с французским законодательством, то все юридические последствия этого акта распространялись только на Францию. Там же Полина Тургенева в 1865 г. вышла замуж за фабриканта Гастона Брюэра.

После смерти Полины Брюэр письма И. С. Тургенева достались по наследству ее дочери Жанне. В 1933 г. большая часть этого эпистолярного наследия деда она уступила Государственному Литературному Музею, а в 1935 г. туда попали еще 12 писем Тургенева к дочери. Некоторые письма Ивана Сергеевича были переданы в свое время Жанной Брюэр частным лицам во Франции. В 1955 г. Государственная Библиотека им. Ленина получила от французского коллекционера еще 12 писем.

Письма к Полине Тургеневой занимают значительное место в переписке Тургенева. Всего известно около 400 тургеневских писем к дочери. Публикуемое ниже письмо написано в Спасском, куда Тургенев приехал из Москвы 26 марта (7) апреля 1859 г. Предыдущее письмо к дочери, судя по изданным письмам писателя, относится к 16/28 февраля, Петербург — 23 марта (4 апреля) 1859 г. Москва. В нем он обещает дочери: «Все же я напишу тебе еще из деревни»¹, что он и сделал 31 марта/12 апреля 1859 г.² Следующее известное письмо написано в Виши 30 июня 1859 г.³ Учитывая частоту этой переписки и содержание двух последних писем, можно предполагать, что в промежутке между ними существовали и другие тургеневские письма, до сих пор нам неизвестные.

Публикуемое письмо, написанное Тургеневым дочери по-французски (как и многие другие письма к ней за 1850 гг.), связано с воспитанием Полины в Париже и участием в этом дяди писателя Николая Ивановича Тургенева (1895—1881) и его жены Клары Тургеневой, рожденной Виарис (1814—1881). Письмо, о котором упоминает Иван Сергеевич, было обращено к ним. О нем же говорится в предыдущем письме к Полине из Москвы³.

В заключение хочу выразить признательность Б. М. Гофману и Французской Национальной Библиотеке (*Bibliothèque nationale de France*) за предоставленную возможность опубликовать это письмо на страницах «ФЗ».

Перевод с французского языка на русский — Светланы Базовой (Региональный центр французского языка Посольства Франции в России, Воронеж).

¹ См.: *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем.: В 30 т. Письма. 1987, Т. 4, С. 407. Письмо к Полине Тургеневой от 23 марта/4 апреля 1859 (Перевод с французского).

² Там же. С. 50—51.

³ Там же. С. 26.

Spasskoïé

Le 31 mars

12 avril 1859

Ma chère fillette, je t'ai écrits de Moscou-j'espère que ma lettre est arrivée à bon port — je n'ai pas grand'chose à te dire pour le moment, sinon que me voici à la campagne depuis 3 jours et que dans trois se maines je pars d'ici pour Pétersbourg et de là — à Paris. — Je net'écris aujourd'hui que pour envoyer sans ton couvert une lettre à Mr et Mme Tourguéneff, que tu leur remettras aussitot que tu le pourras. — Je te recommande comme d'habitude, de travailler ferme, de te bien porter, de ne pas m'oublier.

Sur ce: je t'embrasse et te dit : à bientôt

Ton père

J. Tourguéneff

P. S. Écris moi toujours à la même adresse — à Pétersbourg.

[Перевод]

Спасское

31 марта

12 апреля 1859

Моя дорогая девочка, из Москвы отправил тебе письмо — надеюсь, что оно пришло вовремя — новостей почти нет, кроме того, что я уже 3-й день¹ в деревне и через три недели еду отсюда сначала в Петербург, а потом в Париж. Пишу тебе затем, чтобы передать письмо для господина и госпожи Тургеневых, которое ты вручишь им, как только появится такая возможность. Как обычно, советую тебе усердно трудиться, быть здоровой, не забывать меня.

Засим целую и говорю тебе до скорого свидания.

Твой отец

И. Тургенев.

P. S. Пиши на тот же адрес в Петербург².

¹ И. С. Тургенев приехал в свое имение из Москвы 26 марта (7 апреля) 1859 г. Об этом он пишет из Спасского графине Е. Е. Ламберт. См.: *Тургенев И. С.* Указ. соч. С. 28.

² Имеется в виду его петербургский адрес того времени: Большая Конюшенная, № 34 (дом Вебера). См.: *Тургенев И. С.* Указ. соч. С. 407.



ЛИТЕРАТУРНАЯ ТРИБУНА

Л. Е. Кройчик И ЕЩЕ РАЗ О ФИНАЛЕ «МЕРТВЫХ ДУШ»*

Герой рассказа Василия Шукшина «Забуксовал» Роман Звягин не был первым среди тех, кто обратил внимание на то, что в бричке (птице-тройке, олицетворяющей Русь), несущейся Бог весть куда по столбовой дороге, сидит фигура, малосимпатичная для русского сознания, — предприниматель Чичиков.

Некую противоречивость финала «Мертвых душ» заметили первые читатели: с одной стороны, вроде бы «апофеоз» — Русь, как необгонимая тройка, несется, а с другой — «анафема» уродливому, монструозному обществу, состоящему почти сплошь из «кувшинных рыл»¹.

А спустя почти сорок лет после появления «Мертвых душ» Федор Михайлович Достоевский в «Братьях Карамазовых» вкладывает в уста прокурора Ипполита Кирилловича, выступавшего во время суда над Дмитрием Федоровичем с обвинительной речью, замечательный пассаж, полный иронии по отношению к отечественным либералам.

«Но когда-нибудь надо же и нам начать нашу жизнь трезво и вдумчиво, — сказал Ипполит Кириллович, — надо ж и нам бросить взгляд на себя как на общество, надо же и нам хоть что-нибудь в нашем общественном деле осмыслить или только хоть начать осмысление наше. Великий писатель предшествовавшей эпохи, в finale величайшего из произведений своих, олицетворяя всю Россию в виде скачущей к неведомой цели удалий русской тройки, восклицает: «Ах, тройка, птица-тройка, кто тебя выдумал!» — и в гордом восторге прибавляет, что пред скачущею сломя голову тройкой почтительно сторонятся все народы. Так, господа, это пусть, пусть сторонятся, почтительно или нет, но, на мой грешный взгляд, гениальный художник закончил так или в припадке младенческих невинного прекраснодумия, или просто боясь тогдашней цензуры. Ибо если

* Продолжение размышлений, начатых в «Ф3». 2002. № 18.

в его тройку впрячь только его же героев, Собакевичей, Ноздревых и Чичиковых, то кого бы ни посадить ямщиком, ни до чего путного на таких конях не доедешь!»².

Поскольку «либерализм изображения русской тройки понравился», прокурор завершил свою речь на высокой ноте: «...рековая тройка наша несется стремглав и, может, к погибели. И давно уже в целой России простирают руки и взывают остановить бешеную, беспардонную скачку. И если сторонятся пока еще другие народы от скачущей сломя голову тройки, то, может быть, вовсе не от почтения к ней, как хотелось поэту, а просто от ужаса — это заметьте. От ужаса, а может, и от омерзения к ней, да и то еще хорошо, что сторонятся, а пожалуй, возьмут да и перестанут сторониться, и станут твердою стеной перед стремящимся видением, и сами остановят сумасшедшую скачку нашей разнуданности...»³.

Историческая справка: пришли сороковые годы — волна европейских революций, и стала Россия именоваться «жандармом Европы». И настало время «мрачного семилетия», завершившегося позором Крымской войны. А в конце семидесятых, когда писались «Братья Карамазовы», Российская империя, проведя известные реформы, с пользой для себя поучаствовала в войне с Турцией. Не только отомстив ей за поражение в Крымской войне, но и заработав солидный политический капитал на Балканах, став освободительницей славянских народов, изнывавших под турецким игом.

Но — и испугав при этом изрядно и Англию, и Францию, и Австро-Венгрию, и Италию ростом своего могущества.

Но это так — к слову.

В романе же Достоевского скептическому прорицанию прокурора возражает адвокат Фетюкович: «Вперед, Россия, и не пугайте, о, не пугайте нас вашими бешеными тройками, от которых омерзительно сторонятся все народы! Не бешеная тройка, а величавая русская колесница торжественно и спокойно прибудет к цели»⁴.

Понятно, что в прениях сторон в суде Достоевского беспокоит не только судьба облыжно обвиненного Митеньки и трактовка финала «Мертвых душ». Судьба родного Отечества волнует. Рубль силу набрал, а душой (хотя бы и мертвкой) мало кто интересуется. «Дневник писателя» то волнение Достоевского вобрал — и по «балканскому» вопросу, и по проблеме «отцов и детей», и по экономическим делам.

«Русь, куда ж несешься ты?» — гоголевский вопрос и спустя десятилетия звучал не праздно. Все смешалось не только в доме

Облонских. «Чумазые» Колупаевы и Разуваевы превращались постепенно в Лопахиных. Деловой человек из героя литературы превращался в знаковую фигуру реальной действительности.

Обломов был милее (и симпатичнее — что очень важно!) энергичного Штольца: созерцательность — коренная черта национальной мечтательности — сопротивлялась действительности, за которой угадывалось делячество.

Русскую литературу XIX века деятельный человек никогда особенно и не интересовал — со временем Грибоедова ее занимал человек думающий.

Или — как иронический вариант — человек разговаривающий.

Попытка Льва Николаевича Толстого превратить Константина Левина, человека думающего, в человека творящего мне представляется не слишком убедительной: Левин хорош и убедителен не на покосе с мужиками и не на сходе (тут он остается барином), а в своих мучительных раздумьях о сущности любви и жизни.

Наиболее деятельные человеческие персонажи тоже не из числа тех, кто вызывает симпатию: профессор Серебряков («Дядя Ваня»), призывающий время от времени «Дело надо делать, господа!», двадцать пять лет пишет об искусстве, ничего в нем не понимая. В ряду столь же активных персонажей — Наташа («Три сестры»), Яша («Вишневый сад»).

Тут дело не в именах — в тенденции.

Не в нежелании и в неумении трудиться — тут суть в подмене Дела словом.

«Слово есть дело» — хитроумный лозунг, оправдывающий лень.

Отечественной интеллигенции этот лозунг пришелся ко двору, поскольку отменяет принцип конкурентоспособности в труде.

А по части словоупотребления мы — самые, самые...

Ф. Степун писал Ивану Алексеевичу Бунину: «Иной раз, думая о Западе и России, чувствуешь, что Запад, в особенностях романский, это все же строй и стройность, а Россия — какая-то пуганица.

...Есть в русском существе эта самая «развращенная» пристяжная, о которой, если не ошибаюсь, — упоминает Гоголь. Очень характерна эта наша любовь к развращенным пристяжным. Иногда я боюсь, что из-за этой любви Россия может не попасть в кореники истории. Иногда думаю, конечно, и обратное, что она и сейчас идет в корню».⁵

Писано в июне 1929 года. По другую сторону границ от Советской России.

Историческая справка: Пореволюционная Россия в центре

внимания мирового сообщества. Левые, уставшие от капитализма, признают за Советским Союзом право на социальный эксперимент. Правительства устанавливают дипломатические отношения с Москвой...

Что лучше — безделье или безнравственная деятельность. Может ли могущество, опирающееся на насилие, стать привлекательным?

Ф. Степун, упрекая развращенного пристяжного чубарой масти в лености, несколько запамятовал: тот у Гоголя ходит в «панталонниках немецких» и кличку имеет «Бонапарт». Так что славянофилы во главе с Аксаковыми могли спать спокойно: работающая коренная (сиречь Россия) имела все преимущества перед лукавым пристяжным Бонапартом.

Впрочем, важны здесь не клички, не масти, не случайная оплошность философа, а слова, обращенные кучером Селифаном к чубарому: «Ты живи по правде, когда хочешь, чтобы тебе оказывали почтение»⁶ (V, 38).

Бытовая фраза неожиданно начинает звучать символически.

У Гоголя всегда так. Вот к Гоголю и вернемся. Поэма Гоголя открывается оксюмороном, вынесенным в заглавие — «Мертвые души».

Мертвые души — соединение несоединимого.

Завершается поэма тоже своеобразным оксюмороном — символом: в коляске, напоминающей птицу-тройку, сидит Чичиков.

Предприниматель, деловой человек.

До великих реформ Александра II еще два с лишним десятилетия, а зоркий глаз Гоголя уже разглядел главное: будущее Отечества за Чичиковыми.

Людьми энергичными. Изобретательными.

Высокой нравственностью не отягощенными.

Кто же таков Чичиков?

«Что он не герой, исполненный совершенств и добродетелей, это видно, — замечает повествователь. — Кто же он? Стало быть подлец? Почему же подлец, зачем же быть так строгу к другим? Теперь у нас подлецов не бывает, есть люди благонамеренные, приятные, а таких, которые бы на всеобщий позор поставили свою физиономию под публичную оплеуху, отыщется разве каких-нибудь два, три человека, да и те уже говорят теперь о добродетелях. Справедливее всего назвать его: хозяин, приобретатель. Приобретение — вина всего; из-за него произвелись дела, которым свет дает название *не очень чистых*. Правда, в таком характере есть уже что-то отталкивающее... Но мудр тот, кто не гнушается никаким характером» (V, 243).

Николай Васильевич Гоголь, доверив сей монолог повествователю, тоже проявил мудрость и благоразумие.

Повествователь — доверенное лицо автора.

Но имеющее право на определенную автономию. Характеристика Чичикова, процитированная выше, в «Мертвых душах» озвучена почти в самом конце поэмы, когда у читателя было довольно времени самостоятельно понять, что собой представляет Чичиков. Вот и подтолкнул автор свое доверенное лицо в нужный момент объясниться с аудиторией.

А доверенное это лицо — человек сообразительный, в психологии поднаторевший. В риторике тоже. Ироническим словом владеющий. Знает, как диалог с публикой поддерживать — тут и риторические вопросы, тут и смысловые повторы, тут и едва уловимый сарказм.

Но самое главное — слова произнесены точные: хозяин, приобретатель.

И, опережая понимающую улыбку читателя, повествователь подчеркивает (скрываясь, впрочем, за мнением света), что за приобретениями скрываются дела «не очень» чистые.

Так что Чичиков может кого-то и отталкивать.

Но почему же, черт побери, именно этого человека посадил Гоголь (именно Гоголь, а не безымянный повествователь) в тройку, несущуюся навстречу своему светлому будущему?

Юрий Манн в своей книге «В поисках живой души», вышедшей в свет в 1997 году, пишет: «Вопрос стоит иначе: совместимо ли негативное изображение с надеждой на будущее или нет? Заключает ли в себе первый том какую-нибудь перспективу или нет?»⁷

Ответы на эти вопросы лежат как в области определения пафоса «Мертвых душ», так и в области авторского замысла.

Что бы ни говорили о пафосе и жанре «Мертвых душ», перед нами произведение с четко выраженным комическим пафосом. Знаменитый гоголевский смех сквозь слезы прежде всего все-таки смех. Но любой комический художник, утверждая через отрицание окружающей реальности систему идеалов, подсознательно тяготеет и к формам прямого утверждения.

С помощью положительных персонажей.

С помощью разного рода отступлений.

Положительных персонажей в «Мертвых душах» нет.

Остаются — авторские отступления, вторгающиеся в живописное повествование.

Легко, ссылаясь на это вторжение, объяснять, почему в размышлениях Чичикова о мертвых душах, купленных у Соба-

кевича, вдруг появляется лирический пассаж о Степане Пробке. Принято так и объяснять на школьных уроках: в мысли Чичикова вплетается голос Гоголя. И все вопросы сняты.

Во-первых, выглядит по Бахтину (многоголосие).

Во-вторых, снимается «проблема Чичикова» — не мог «приобретатель» так думать.

Но Гоголь как демиург знает, что именно Чичиков в finale окажется в бричке, по поводу которой будут сказаны самые лестные слова. И даже образ птицы-тройки возникнет пред изумленными очами читателя.

Я не защищаю Чичикова — я объясняю суть гоголевского замысла.

А замысел был прост — показать невероятно убогую Россию и попытаться найти дорогу в другие миры.

Это была утопия, рассчитанная на три тома.

Сегодня есть то, что есть, — первый том, заканчивающийся бегством Чичикова из города NN.

Бегством в коляске, которая, судя по мнению знатоков-мужиков, ни до Казани, ни до Москвы добраться не могла.

Это было движение в никуда.

Когда «Мертвые души» появились на прилавках, довольно большая часть критики обрушилась на Гоголя: где автор увидел такую Россию? Как разглядел из своего заграничного далека Маниловых, Коробочек, Плюшкиных, Селифанов, Палашек?

«Это какой-то особый мир негодяев, который никогда не существовал и не мог существовать», — возмущается в «Северной пчеле» Н. Греч.⁸

«Они («Мертвые души». — Л. К.) состоят из набора карикатур и гротесков, часто набросанных с большим юмором, но без связи между собою и без интересу для читателя», — утверждает в «Библиотеке для чтения» О. Сенковский.⁹

Спустя сто с лишним лет Владимир Набоков иначе объяснит появление демонстративно гиперболизированных персонажей в «Мертвых душах»: «Русские критики... видели в «Мертвых душах» и «Ревизоре» обличение общественной пошлости, расцветшей в крепостнической, бюрократической русской провинции, и из-за этого упускали главное. Гоголевские герои по воле случая оказались русскими помещиками и чиновниками, но воображаемая среда и социальные условия не имеют абсолютно никакого значения <...> Откуда Гоголю было приобрести знание русской провинции? Восемь часов в подольском трактире, неделя в Курске, да то, что мелькало за окном почтовой кареты, да воспоминание о украинском детстве в Мирго-

роде, Нежине и Полтаве? Но все эти города лежат далеко от маршрута Чичикова»¹⁰.

Для Набокова «Мертвые души» — изображение всемирной пошлости. Вправе так считать писателю не откажешь. Тем более это листит патриотическому самолюбию. К. Аксаков поставил автора «Мертвых душ» рядом с Гомером. Теперь Гоголь может стоять рядом с Рабле, Свифтом, Сервантесом.

Тем не менее Гоголь — писатель чисто русский.

И «Мертвые души» могли появиться только в России. Андрей Белый скептически отнесся к той части критики, что «превратила Чичикова — этого самого реального из его героев ни более, ни менее как в черта»¹¹.

Аналогия с Мефистофелем, скупающим души, не корректна: Чичиков вовсе не хочет казаться повелителем людских судеб — он один из нас.

Может быть — более сообразительный. Более инициативный.

Чичиков — фигура отнюдь не мистическая. И есть своя закономерность в том, что именно он занял место в коляске, олицетворяющей Русь, которая мчится к счастливой своей жизни.

Гоголь-реалист прекрасно понимал, что приобретатель — персонаж отечественного бытия — набирает силу, что людям такого рода есть где развернуться, есть где «удобнее и дешевле накупить потребного народа, где можно было с меньшими затруднениями делать подобные сделки» (V, 242).

В. Г. Белинский заметил: «Чичиков, как приобретатель, не меньше, если не больше Печорина — герой нашего времени».¹²

Б. Т. Удодов обращает внимание на существенное в характеристике Чичикова: «Не случайно Чичиков все время в пути, в движении, в хлопотах, в то время, как другие персонажи мало подвижны и косны во всех отношениях»¹³.

Движение — главный сюжетообразующий фактор «Мертвых душ».

Приобретатель колесит по губернии и губернскому городу, втягивая в орбиту своих действий все большее число душ.

Мертвые души местного общества и бойкий приобретатель кажутся трудно совместимыми.

Так возникает в поэме Гоголя еще один оксюморон, разрешить который Гоголь пытается в finale.

Смерть — знак неподвижности. Однако в царстве мертвых кипит жизнь. Катализатором этой странной жизни выступает Павел Иванович Чичиков.

Фигура, что там ни говори, малосимпатичная, но, переговорив известные слова вождя, можно заметить, что других подходящих персонажей для того, чтобы обозначить признаки движения в обществе, у Гоголя нет.

Движение не просто определяет специфику сюжета «Мертвых душ» — оно вводит в повествование категорию пространства, которое по мере передвижения Чичикова от поместья к поместью становится все более просторным.

Вернемся к финалу.

«...Тройка то взлетала на пригорок, то неслась духом с пригорка, которыми была усеяна вся столбовая дорога, стремившаяся чуть заметным накатом вниз» (V, 248).

Гоголь «буковки» расставлял всегда очень точно — воистину из его песен словца не выкинешь. Можно, конечно, на бугристую дорогу внимания не обращать и «чуть заметный «накат вниз» проигнорировать.

Но ведь именно по такой столбовой дороге несется русская птица-тройка! А тут еще проснувшийся Селифан кричит: «Не бойся!» Тут самое время убояться, усомниться, задуматься: а что стоит за всеми этими мимоходом брошенными Гоголем подробностями бегства Чичикова из города NN?

Чичиков улыбается, а повествователь философически замечает: «И какой же русский не любит быстрой езды». Тем более, что ни дорог плохих да дальних, ни безграничного пространства русский человек не боится.

Посмотревши постановку «Мертвых душ» во МХАТе, А. Белый, по воспоминаниям писателя Юрия Слезкина, спектакль не принял: «Возмущение, презрение, печаль вызвала во мне постановка «Мертвых душ» во МХАТе. Так не понять Гоголя! Так заковать его в золотые академические ризы, так не сметь взглянуть на Россию его глазами. Давать натуралистические усадьбы николаевской эпохи, одну гостиную, другую, третью и не увидеть гоголевских просторов, туманов, гоголевской тройки, везущей Чичикова-Наполеона»¹⁴.

Тут две вещи важны — «Чичиков-Наполеон» и «гоголевские просторы».

Чичиков мог казаться Наполеоном только безжизненным персонажем «Мертвых душ». Это Наполеон без своего Тулона, разве что своими физическими статами напоминавший великого французского императора. Но для прокурора и иже с ним Павел Иванович мог казаться фигурой незаурядной.

Таинственной. Невероятной. Крупномасштабной. Недаром соприкосновения с загадочным Чичиковым губернский прокурор не вынес — скоропостижно скончался. Недаром, убегая из города, Чичиков сталкивается с похоронной процессией, провожающей прокурора («один только и есть порядочный человек: прокурор, да и тот, если сказать правду, свинья» — V, 96) в последний путь.

А для Чичикова дальняя дорога — в будущее, по мысли Гоголя, — только начинается. Малоуютные, кочковатые проселки первого тома сменяются эпическими описаниями величественной природы.

Сравним:

«Хотя день был очень хороший, но земля до такой степени загрязнилась, что колеса брички, захватывая ее сделались скоро покрытыми ею, как войлоком, что значительно отяжелило экипаж... К тому же почва была глинистая и цепкая необыкновенно» (V, 59).

Это дорога, ведущая в имение Ноздрева... А вот пейзаж на подступах к усадьбе Тентенникова (второй том):

«Как бы исполинский вал какой-то бесконечной крепости, с научальниками и бойницами, шли, извивались на тысячу с лишним верст горные возвышения. Великолепно возносились они над бесконечными пространствами равнин, то отломами в виде отвесных стен, известково глинистого свойства, исчерченных проточинами и рытвинами, то миловидно круглившимися зелеными выпуклинами, покрытыми, как мерлушками, молодым кустарником, подымавшимися от срубленных деревьев, то, наконец, темными гущами леса, каким-то чудом уцелевшими от топора» (VI, 5).

Уже не опустив очи долу поглядывает Чичиков из своей брички, а спокойно разглядывает вместе с повествователем горы, протянувшиеся на «тысячу с лишним верст».

Это из финала первого тома «Мертвых душ» выскочила бричка, словно колесница, в пространство иного мира, изобразить который задумал Гоголь. Там, в первом томе, проселки, как муравьи, разбежались во все стороны. Здесь дороги величаво, словно реки, соединяют воедино пространство. «Равнодушно не мог стоять на балконе Андрея Ивановича Тентенникова никакой гость и посетитель. От изумления у него захватывало в груди дух, и он только выкрикивал: «Господи, как здесь просторно!» (VI, 6).

Гоголю хотелось, чтобы приобретатель Чичиков взглянул на Россию другими глазами.

А можно и иначе: писателю мечталось о том, чтобы Павел Иванович увидел другую Россию.

Лукавым переходом от одной точки зрения к другой и служит знаменитый финал первого тома «Мертвых душ».

Как может приобретатель быть иным? Как может быть другой Россия?

«Какую-то неведомую никому Россию любит Гоголь, — гру-

стно замечает Андрей Белый. — Страна наша в смертельной тоске; и здесь, и там идет дикая пляска странного веселья, странного забвения»¹⁵.

Это в 1909 году написано.

Сегодня у нас на дворе другое тысячелетие. Но, как не менее грустно записал в свой дневник Герцен (задолго до Белого): «Есть слова примирения, есть предчувствия и надежды будущего полного и торжественного, но это не мешает настоящему отражаться во всей отвратительной действительности».¹⁶

А мы все с придыханием восторженным декламируем строчки финала: «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься?»

¹ См. об этом: Манн Ю. В поисках живой души. М., 1997

² Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. М., 1976. Т. 15. С. 125.

³ Там же. С. 150.

⁴ Там же. С. 173.

⁵ С двух берегов. Литература XX века в России и за рубежом. М., 2002. С. 92.

⁶ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. В 8 т. М., 1984. Т. 5. С. 38. — В дальнейшем все ссылки на это издание даются в тексте, где римская цифра — том, арабская — страница.

⁷ Манн Ю. Указ. соч. С. 117.

⁸ Цит. по: Там же. С. 129

⁹ Там же. С. 136.

¹⁰ Набоков В. Лекции по русской литературе. Чехов, Достоевский, Гоголь, Горький, Толстой, Тургенев. М., 1996. С. 78.

¹¹ Белый А. Гоголь // Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 368

¹² Белинский В. Г. Полн. собр. соч. В 13 т. М., 1953. Т. 9. С. 79.

¹³ Удодов Б. Т. Художественная антропология «Мертвых душ» // «Филологические записки». Вып. 18. 2002. С. 19

¹⁴ Цит. по: Никоненко С. «Пока жив — буду верить и добиваться» // Вопросы литературы. 1979. № 9. С. 218.

¹⁵ Белый А. Указ. соч. С. 368.

¹⁶ Герцен А. И. Соч.: В 9 т. М., 1952. Т. 9. С. 27.

Е. А. Никонова, В. В. Иютина

РАСКОЛЬНИКОВ ПРОТИВ РАСКОЛЬНИКОВА (о романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»)

Вместе со всей русской мыслью Достоевский антропоцентричен, а его философское мировоззрение есть, прежде всего, персонализм, окрашенный, правда, чисто этически, но зато и достигающий в этой окраске необычайной силы и глубины. Нет для Достоевского ничего дороже и значительнее человека, хотя, быть может, нет и ничего страшнее человека. Человек

— загадочен, соткан из противоречий, но он является в то же время — в лице самого даже ничтожного человека — абсолютной ценностью. Человек мучил Достоевского, человек — в его реальности и в его глубине, в его роковых, преступных и в его светлых, добрых движениях.

Авторская позиция писателя реализуется на всех уровнях развития художественного материала. Вместе с тем, как писал В. А. Свительский, «за целостным образом бытия у Достоевского — представление о трагическом мире, полном кричащих несоответствий, расщепленном и дисгармоничном, не обладающим «всепримиряющей» идеей. Но, несмотря на угрозу катастрофы, человек должен служить этому миру, проходя через горнило самых предельных испытаний, неся бремя выбора и не отказываясь от предъявления бескомпромиссного счета себе, людям, Богу, миру, зданию. Целое романа Достоевского — в единстве авторского смысла и отношения, не приглушающих голоса и другого человека, признающих его право на высказывание»¹.

Герой Достоевского Раскольников, его теория, до сих пор не дают покоя мыслителям всего мира. Бог и дьявол в одном лице. Ужас и великая мораль. Зачем он убил? Почему именно Соня оказалась спасением, которое дала ему жизнь.

Реальность изображена в «Преступлении наказании» как социальный ад. Вся первая часть романа — углубляющаяся и расширяющаяся бездна страданий человека в обществе. Показатель дьявольского характера общественной системы — судьбы самых беспомощных, судьбы старииков, женщин и детей. Герои, в том числе Раскольников, автор и читатели, видят ряд трагических женских и детских судеб: Катерина Ивановна и ее дети, Дуня, Соня, женщина-утопленница. Эти сюжетные линии обнаруживают закономерность бесчеловечности в устройстве социальной системы. Унижение человека неизбежно, все попытки найти нравственный выход из ситуации — безнадежны. Кульминация социального анализа Ф. Достоевского — сцена с девочкой без имени на бульваре. Однако следует заметить, что писатель с особой болью подчеркивает моральный аспект социальной катастрофы. Более того, первый сон Раскольникова, «сон о лошади» — это не только символ жестокости людей, общества, но предельное обобщение мысли о неизбежном, неотвратимом страдании души в земном мире. Суть проблемы в том, как отнести к страданию.

Отправным моментом своеобразного «бунта» Раскольникова против существующего социального уклада и его морали было неприятие страданий человеческих. Но для него горькая участь слабых закономерна. Он создал теорию, разделив людей на

«обыкновенных» и «необыкновенных». С логической точки зрения теория неопровержима. Изначально люди бывают гениально умные и интеллектуально заурядные, гениально волевые и слабые волей. Критерий — способность или неспособность сказать «новое слово»: в естественных или социальных науках, в жизненной практике. Необходимость реализовать «новое слово», почти всегда ведет к насилию или убийству («обыкновенные» глупы и инертны). На насилие имеют право «необыкновенные». Это логично — «арифметика».

Однако, в число «необыкновенных» Раскольников не включает Христа или Пушкина. У него только люди интеллекта или воли. Люди, живущие нравственной истиной, ему не нужны. Они даже и разрушают его теорию: по отношению к нравственной истине все равны (но не одинаковы). Любовь гения к своему ребенку не выше и не ниже любви к ребенку «обыкновенного», хотя ум гения *качественно* иного уровня, чем ум рядового человека. Возможна разная интенсивность переживаний нравственного чувства, но если оно есть, деление людей «по разрядам» — не обосновано.

Логическое доказательство существования нравственного чувства, нравственной истины, система логико-психологических аргументов — дело напрасное (крах усилий Порфирия Петровича). В эту истину надо *поверить*.

Есть ли возможность веры в Раскольникова, возможность нравственного проницания истины? Ф. Достоевский, в отличие от современного человека, считает, что такая возможность есть даже у совершившего страшное преступление героя. Ведь сострадает же он той самой лошади (правда — во сне), спасает девочку на бульваре, оставляет последние деньги на похороны Мармеладова, наконец, помимо собственной воли, несколько раз хочет помолиться Богу. Есть два Раскольникова — бесноватый, зараженный рационализмом и атеизмом, и Раскольников, способный к исцелению. Смысл его страданий в том, что совесть и разум его вступили в самую решительную борьбу между собой. Разум судорожно отстает от возможности для Раскольникова быть необыкновенным, герой всецело полагается на свой рассудок, на свою теорию, но его энтузиазм угасает, и он сознает, что не старушонку убил, а «самого себя» (если люди нравственно равны).

Впрочем, еще в письме матери Раскольникова в общих чертах определяется идея вины и возмездия, которое, в конечном итоге, представляет собой альтернативу — с Богом ты или нет. И отсюда уже прорисовывается путь героя — вина, возмездие, раскаяние, спасение.

Достоевский ищет резервы исцеления своего героя не только во внешнем воздействии на него, но и в нем самом, в его жизненном опыте, в том числе и в религиозном, сформировавшем его совесть и нравственность. И все же только после знакомства с Соней Мармеладовой начался новый этап в духовном развитии Раскольникова. Не отказавшись от своей идеи, он стал все больше и больше погружаться в атмосферу сострадания, самоотречения, чистоты, олицетворением и носительницей чего была Соня. Ее образ стремительно вырастает в своей моральной яркости. Драма ложной мысли постепенно завершается надеждой на искупление и успокоение совести ценой страдания. Причем, Достоевскому очень важно, что воплощение высшей нравственной истины вполне возможно в реальном мире — он тщательно заботится об абсолютно земном правдоподобии Сони.

Диалоги Сони и Раскольникова — не философский спор, не столкновение теорий. Соня дает возможность герою исповедаться, то есть выдавить из души все темное, злобное, надуманное. Величие Сони — в ее способности выдержать натиск бесовщины, любовью преодолеть ненависть, ведь герой глумится над ее чувствами и верой. А следом за тем героиня, как и Христос когда-то, совершает поступок — едет за Раскольниковым в Сибирь ради спасения его души.

Но даже «вечная Соня» не может быть полным средоточием нравственной истины. Раскольников должен вступить в диалог с Богом и народом, должен пойти на площадь: там люди и Храм. Герой-гордец не сумел в первый раз найти путь к истине — народ показался ему грубым и некрасивым. Он выбрал пошлый вариант разрешения ситуации: сдался властям, государству. И все же единственный путь к спасению для Раскольникова — смириться. Вот только перед чем? «Перед народной правдой», в которой правда высшего нравственного начала — Бога.

Мучительная сложность исцеления души Раскольникова — основной объект психологического анализа Достоевского, его «реализма в высшей мере». Значительно важны в этом процессе сны героя. Первый — о страданиях человеческих, второй — «фрейдистский» — о подсознательном пробуждении вины и совести. Особое значение имеет третий его сон — об убийстве старухи. В его сне старуха смеется: он хотел преодолеть несправедливость мира насилием, но совершил самое чудовищное насилие и укрепил мир старухи. Она радуется. Четвертый сон — апокалипсис индивидуализма и начало выздоровления героя.

Таким образом, преодоление «гордости ума» силой нрав-

ственного чувства, только еще начинающееся в последнем эпизоде романа, имеет позитивную перспективу и дает надежду читателю, в том числе и современному, на просветление души и спасение мира: «Они хотели было говорить, но не могли. Слезы стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы; но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого»².

¹ Свительский В. А. Проблема единства художественного мира и авторское начало в романе Достоевского // Проблема автора в художественной литературе. Ижевск, 1974. С. 191—192.

² Достоевский Ф. М. Преступление и наказание // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1973. Т. 6. С. 421.

В. М. Акаткин

«МЫ СЛЫШИМ В ВЕЧНОСТИ ДРУГ ДРУГА...» (К 95-летию со дня рождения А. Т. Твардовского)

В поэме Аркадия Кулешова «Варшавский шлях» есть такая знаменательная строка: «Поговорим о жизни, о Твардовском»¹. Очевидно, для Кулешова Твардовский и жизнь — явления как бы равнозначные, во всяком случае, параллельные. Что ж, не будем возражать, да и раздумчивая интонация поэта приглашает нас к неторопливому и душевному разговору.

В свое время Белинский определил творчество Пушкина как поэзию жизни. В XX веке эту характеристику в наибольшей степени можно отнести именно к Твардовскому. Ибо она для него — наивысшая ценность, цель и средство будущего времени.

Ни один век столько не ломал и не разрушал, не губил так бессчетно человеческие жизни, как век отошедший. Твардовский противопоставил этому «веку-волкодаву» свое великое «ради жизни на земле», всечеловеческий порыв «жизнь от смерти отстоять». Даже погибший в безымянном болоте солдат у него шлет из-под земли свой последний и самый главный завет:

Я вам жить завещаю, —
Что я больше могу?²

Пройдя сквозь свинцовый дождь и огненные реки, сквозь череду ломаний и начинаний, навязанных сверху, русский человек убедился: любые замыслы, самые лучшие программы обре-

чены на провал, если они спешат воплотиться ценою жизни, всех ее проявлений и благоуханий — природных и человеческих.

Пожалуй, самым трудным в определении масштабов и значения Твардовского до сих пор остается характер его связи с серебряным веком (с русской и советской классикой эта связь уже очевидна). Но большой поэт не может всякий раз работать заново, независимо от ближайших предшественников. Воскрешая некрасовскую тему народа, Твардовский породнил ее с пониманием искусства как жизнестроения. И он пошел тут дальше, видя в искусстве прямого участника жизненного процесса, понимая слово не как забаву, а как дело жизни. Вспомним его знаменитые декларации подобного содержания, порой доходящие до реального поступка: ведь он действительно готов был сменить перо на штык, редакционный вагон на солдатский окоп и бросаться вместе с бойцами в атаку. Он не хотел только «хекать», издавать одобрительные звуки при виде тех, кто рубит дрова: лучше взять в руки топор и рубить самому (кстати, он делал это мастерски, на загляденье!). Все его герои пашут, сеют, убирают урожай, строят дома и плотины, мосты и переправы, водят трактора и самолеты, все они в хлопотах о доме и детях, одним словом, наращивают жизнь, укрепляют зыбкую почву культуры. И так же, как поэты Серебряного века, отстаивал он достоинство и свободу творца, только в обстоятельствах куда более не свободных, свободу писать о том, что знает лучше всех на свете, писать так, как он сам хочет.

Я сам дознаюсь, доищусь
До всех моих просчетов.
Я их припомню наизусть, —
Не по готовым нотам.

Мне проку нет, — я сам большой, —
В смешной самозашите.
Не стойте только над душой,
Над ухом не дышите^{2a}.

Как никто, жил и болел он литературой, которая стала для него второй, а быть может, и первой жизнью. Отлученный от нее, от «Нового мира», он рухнул и погиб, как погибают от пули или без воды и воздуха.

Талант неизъясним, говорил Пушкин. Однако знание того, что его взрастило, что его питало, какие ручейки и реки вбежали в него, приближает нас к его изъяснению. Что сделало Твардовского, простого деревенского паренька, крестьянского

сына, великим русским поэтом? Прежде всего земля и небо Смоленщины, культура и язык народа, суровая требовательность отца и песенная доброта матери и многое другое, нам невидимое. «С руками коваля, с душой жнеи»^{1а} — таким увидел его А. Кулешов. А во многом он обязан и себе самому — своей целеустремленности, трудолюбию, самопреодолению ради чего-то высшего. Поэта делает особое расположение к людям, необделенность тем «странным аппаратом», по словам Твардовского, что мы зовем душою. Наличие таланта — не привилегия, не случайно выпавшая удача, а дар Божий, служение, долг и ответственность, готовность жить, «чтоб мыслить и страдать», чтобы до конца нести свой крест. Всего хватало в XX веке — и блестящих умов, и утонченной красоты, и оглушающего новаторства, и запредельных порывов в утопические дали, и тяжбы с Богом, и заигрываний с Дьяволом, и сверхчеловеческого «я», и проклятий, и жестокости. Среди этого многоголосья как-то особо звучит сердечное, доброе, дружеское, родительское слово Твардовского. Хорошо сказал о нем поэт-современник М. Дудин:

Сочувствием обременен
И в песне верный своеволью,
Он сердцем принял боль времен
И сделал собственною болью³.

Великим поэтом сделали Твардовского грозные и трагические события века, свидетелем и участником которых он был. Есенин, предъявляя счет многому, что его губило и мучило, все чаще благодарил жизнь за все, что она ему дала, даже революцию: «Вихрь нарядил мою судьбу / В золототканное цветенье». Благодарением жизни исполнена и вся поэзия Твардовского. Зачем родиться, если ее проклинать? Как пренебречь даром Божиим, если другого уже не будет? Двадцатый век распорядился этим даром высокомерно, угарно и хищно, обрушив на жизнь свирепые волны революций и войн, нетерпеливых и жестоких преобразований. Достаточно было сказать правду о них — и это дало бы право называться великим. Твардовский, проходяясь через иллюзии и обманы, преодолевая казенщину и самоуспокоенность, выразил народную правду об этих событиях века. Выразил незаемным, полно смысленным, светящимся русским словом, он оставался верен подчас такой страшной и горькой правде, для которой у многих не нашлось подходящих слов. Но эта правда у него не пугающа, а величава и печальна, потому что прошла через любящее сердце поэта.

Корневое, из родниковых народных глубин идущее слово он

любил так же, как жизнь, как своих героев. И это слово, исполненное скромности и достоинства, возвысило его над идеологической сухомяткой, лозунговой злободневщиной, над самодовольной пропагандой «передовых идей», над муравьиной жизнью ради благ и славы. По словам Маршака, своей поэзии Твардовский спас русский язык от оказенивания, от выхолащивания и засоренности. Кажется, только благодаря Твардовскому мы можем говорить о народности литературы в XX в. Да и само понятие «народ» не размылось, потому что были Шолохов, Платонов, Твардовский. Кто сказал с такой пронзающей любовью и болью про солдата-сироту, одержавшего великую Победу? Да и само это определение «солдат-сирота», будь оно осмыслено после войны, придало бы ей новый, куда более трагический, современный смысл. Победитель, у которого «кроме радио, ребята, близких родственников нет», которого даже некому оплакать — разве это не цена и не символ нашей Победы? Кто сказал с таким сочувствием о бездомном странствующем Моргунке, ищущем свою долю под грозовыми ударами «великого перелома»?

Большаком три ночи и три дня
Ехала телега без коня.

И шутил невесело мужик,
Что к коневой должности привык.

— Подучусь, как день еще пройду,
Все, что надо, делать на ходу.

А овсом питаться — не беда:
Попадала в хлеб и лебеда⁴.

С легкой руки вождей у нас ретиво и послушно осуждали «идиотизм деревенской жизни», темного мужика-собственника, Твардовский же увидел в нем человека — душевно богатого, доброго, поэтичного, страдающего от «века-волкодава» не меньше нас с вами. Кто в стране победившего социализма сказал горькую правду о тетке Дарье с ее пустопорожним трудоднем и «трудноочью не полней»?

После смерти о Твардовском появилось немало статей и воспоминаний, в которых он предстает и сложным, и противоречивым, и не укладывающимся в былье представления: от простого сельского паренька-селькора до властного сановника, от гонимого подкулачника до перегруженного наградами вельможи, от певца тоталитарного режима до его жертвы (причем, в наихудшем ее варианте — добровольной жертвы), от рядового

труженика пера до редактора великого журнала «Новый мир» и т.д. и т.п.

Однако самый верный портрет Твардовского — в его стихах и поэмах, в его удивительной прозе и письмах, которые мы, увы, знаем все хуже и хуже. В его редакторском подвиге, в его человеческом подвижничестве, в его правде и любви к жизни, которой всегда чуть-чуть больше, чем смерти, в тревоге за всю неоглядную красу мира, над которой нависает новая «главная утопия». В Твардовском наша душа, наше слово, наше будущее...

Особенность великого писателя в том, говорил Федор Абрамов, что «он умирает в своей плоти и начинает жить в духе, в произведениях».

Произведения Твардовского «становятся весомее, они наливаются силой времени и поколений. Они тяжелеют»⁵.

Да, это так. Но только на встречном движении друга-читателя к поэту. Твардовский верил в это, когда говорил:

Мы слышим в вечности друг друга
И различаем голоса...²⁶

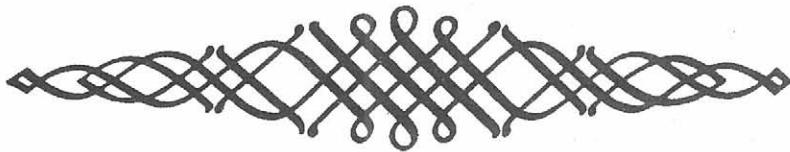
¹ Кулешов А. Записная книжка. Стихи и поэма. Перев. с белорусского Я. Хелемского. М., 1974. С. 21. ^{1а} С. 23.

² Твардовский А. Т. Собр. соч.: В 6 т. М., 1978. Т. 3. С. 15. ^{2а} С. 184.
²⁶ С. 81.

³ Романова Р. М. Венок А. Т. Твардовскому. Рукопись. С. 23.

⁴ Твардовский А. Т. Собр. соч.: В 6 т. М., 1976. Т. 1. С. 268.

⁵ Круткова Л. В. Федор Абрамов об Александре Твардовском (По материалам личного архива Абрамова) // Творчество Александра Твардовского. Исследования и материалы. Л., 1989. С. 252.



ДЕБЮТ

Л. В. Гайворонская

ЕЩЕ РАЗ О ФОЛЬКЛОРНЫХ И ЕВАНГЕЛЬСКИХ МОТИВАХ В «СТАНЦИОННОМ СМОТРИТЕЛЕ» А. С. ПУШКИНА

Самую печальную из «белкинских» повестей, по времени написания отделенную от фарсового «Домика в Коломне» двумя-тремя неделями, сближает с ним множество сюжетных и тематических пересечений. Главные героини их — Дуня и Параша — не принадлежат высшему обществу и воспитываются одним оставшимся вдовым (вдовой) родителем (родительницей). Близкую логику имеют любовные интриги: мужчина-агент попадает в дом и задерживается там с помощью обеих святочного рассказу.

Как известно, курьезная смерть Феклуши приходится на Рождество: «В ночь пред рождеством Она скончалась» (5; 90)¹; соответственно, появление Маврушки в доме совершается на святки. А непременный их атрибут — ряжение — в поэме даже удвоен. Помимо переодевания мужчины женщиной это еще и сокрытие щетины с помощью повязки (чтобы избавиться от нежелательной растительности, Маврушка под предлогом зубной боли остается дома).

Отнесенность «Станционного смотрителя» к этому жанру нужно оговорить особо. О святочном рассказе в связи с «Повестями Белкина» исследователи вспоминали давно, указывая на стилистику, мотив обмана — подмены (нередко сопровождаемых ряжением), неожиданно счастливые соединения влюбленных, вообще, на всякие казусы². В «Станционном смотрителе» на это намекают и время приезда Минского («однажды в зимний вечер»), и его немыслимый наряд («проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанный шалью» (8; 100—101)), который, подобно костюму ряженых, скрывал — «молодого, стройного гусара с черными усиками» (8; 101), напоминающего «гвардейцев черноусых», оказывающих внимание герояне «Домика в Коломне».

Более того, календарно временные рамки приезда гусара и его авантюрной болезни кое в чем совпадают с рамками любовной интриги «Домика в Коломне». Появление Минского в доме Самсона Вырина и появление «новой кухарки» в доме старушки-матери и Параши происходит вечером в четверг, «вычисляемый» благодаря упоминанию вос-

кресенья, когда наступает прозрение родителей и раскрытие обмана. Двухдневное пребывание (это пушкинское «день, другой!») мнимого больного в доме смотрителя симметрично таковому же пребыванию Маврушки у простодушной вдовы и ее «зоркой» дочки. На ученого жизнью отца Дуню вдруг находит ослепление. Возвратясь после указаний насчет лошадей для Минского, смотритель нашел «...молодого человека почти без памяти, лежащего на лавке <...> не возможно было ехать...» (8; 101). И это ничуть не насторожило отца, который затем выкажет свою слепоту сполна, благословив Дуню ехать с гусаром («... как нашло на него **ослепление**, и что тогда было с его разумом» (8; 102))³. Столь же слепой оказывается в «Домике» старушка-мать, не разглядевшая в «высокой, собою недурной девушке», может быть, одного из тех «гвардейцев черноусых», которые ездили перед окном все замечающей и умеющей «прельщать» дочери. Комизм ситуации усугубляется поручением Маврушке «гонять мужчин». Для этого будут созданы все сюжетные условия, максимально приближившие одного из поклонников к Параше, о сердечной склонности которой автор ставил вопрос: «Межими кто ее был сердцу ближе, Или равно для всех она была Душою холдна? **увидим** ниже» (5; 89).

Между разумницею Дуней и «простой и доброй» Парашей есть немало сюжетно-тематических сближений. Героиня повести имеет статус полновластной хозяйки-управительницы дома: «*Ею дом держался*: что прибрать, что приготовить, *за всем успевала*» (8; 100). В этой сжатой фразе говорится и о круге Дуниных обязанностей. Это — уборка и *приготовление пищи*, которое в «Домике» вообще метафорически интерпретируется как «заваривание каши», управление событиями: «Всем домом *правила одна* Параша» (5; 87). Немаловажна здесь и знавость имени героини — Параша, Прасковья, Параскова, упоминание которого «включает» его сакральные смыслы, направляя память читателя к Параскеве Пятнице — высоко чтимой у славян святой, покровительствующей женщинам и отвечающей за женские работы в доме (в первую очередь это прядение, вязание, шитье)⁴. В «Домике» носительница мифологического имени тоже «умела... *шить и плесть*» (5; 87), и это прочитывается не только как женские домашние заботы под покровительством святой *Пятницы*, но и как занятие Судьбы-Парки: *плесть* сродни «прясть нить жизни», а также «плести интриги» (что актуально и для семантики «судьбы», и для сюжета поэмы, любовная интрига в котором занимает центральное место). Но и героиня повести *«шила себе платье»* в канун *пятницы*, когда приехал гусар. Свою работу Дуня не бросает и на следующий день (в *пятницу!*), как будто торопясь во что бы то ни стало закончить новое платье (может статья, для новой жизни) и невольно приготовляя этим действом свое превращение из простой бедной девушки в «прекрасную барыню». Это перекликается с другой «белкинской» повестью — «Барышней-крестьянкой», в которой фольклорные мотивы судбоносной *пятницы* имеют сюжетообразующее значение (Лизе Муромской понадобится новое платье для переоблачения в крестьянку)⁵.

На фоне пересечений в характеристике Дуни и «мифологической» Парасхи проясняется и степень участия героини повести в обмане «бедного смотрителя». Подчеркнем, что особую *зоркость* тогда еще четырнадцатилетней Дуне отметил рассказчик: «Маленькая кокетка *со второго взгляда заметила* впечатление, произведенное ею на меня...» (8; 99). И эта деталь позволяет увидеть в другом ракурсе поведение Дуны у постели «больного» ротмистра Минского. Дуня *сама* «обвязала ему голову платком», совершая тем самым маскировку здорового человека, так сказать, своеобразное *ряжение*. И платок этот явно сродни той самой повязке от зубной боли, с помощью которой Маврушка пыталась скрыть двухдневную щетину.

Уход Дуны за «больным» выглядит как говор, сердечное общение двух влюбленных: «Он *поминутно* просил пить, и Дуня подносила ему кружку <...> Больной обмакивал губы, и всякий раз, возвращая кружку, в знак благодарности слабою *своей рукою* *пожимал Дунюшкуну руку*» (8; 101). Между героями ведется разговор на языке взглядов, прикосновений. (Занимательно, что сцену ухода мы наблюдаем глазами отца!) И в параллель к этому нельзя не вспомнить «общения по хозяйству» Парасхи с «новой кухаркой», их постоянный контакт: «Параша бьется, а никак не сладит». Немногословная Мавруша не отвечает на брань — ей необходимо скрывать свой голос, однако любовный характер общения выдает фраза «Ее *бранят* — она себе молчит...» (5; 91), в семантическое поле которой ассоциативно входит общеизвестная поговорка: «Милые *бранятся* — только тешатся».

И завершает череду совпадений между двумя историями *прозрение* отца Дуны, случившееся, напомним, так же, как и у Парашиной матери, в *воскресенье* в церкви. Однако представлены эти события под разными (почти противоположными) углами зрения. В «Домике» «раскрытие» глаз у старушки-вдовы описано автором с большой долей иронии. Старушка обмирает от мнимой возможности лишиться сокровищ — нарядов: «Вот будем мы с обновкой Для праздника! Ахти, какая страсть!» (5; 92). (У этой реплики есть и «второе дно». Она апеллирует к народной пословице «Береги *честь* смолоду, а *платье* снову», которая актуальна и для сюжетной коллизии «Станционного смотрителя» (в день приезда Минского Дуня шьет себе обновку, а в Петербурге, когда *честь* дочери пострадала, смотритель увидит ее «одетой со всею роскошью моды» (8; 104)), и в целом для творческого сознания Пушкина⁶).

Напротив, в «Станционном смотрителе» событие прозрения нарисовано почти мелодраматически. Узнав, что Дуня уехала с гусаром, смотритель «...пошел домой ни жив, ни мертв»; и далее: «Старик не снес своего несчастья...» (8; 102). Однако излюбленный пушкинский прием — скрывать подыгрывание героев судьбе (это иллюстрируют объяснение Маши Мироновой с императрицей, счастливая развязка в «Метели», необъяснимое простодушие Берестова в «Барышне-кресть-

янке»)⁷ — позволяет заподозрить некоторое лукавство и в поведении отца Дуни. Повторим, что Самсон Вырин, несмотря на свое знание жизни, не увидел (или не захотел увидеть) ни подозрительности внезапной болезни, ни соблазнительного для дочери общения во время ухода за Минским, то есть всего того, о чем он потом поведает своему собеседнику («Тут он стал *подробно* рассказывать мне свое горе» (8; 100)). Более того, он предусмотрительно поздно отправляется (пешком!) в Петербург. В том, что веселый гусар «полюбился добруму смотрителю», сомневаться не приходится — вероятно, о такой блестящей партии для своей дочери он и мечтал. Но поскольку молниеносного тайного венчания (необходимого по всем святочным канонам) не произошло, всерьез заболевший и обеспокоенный смотритель идет в Петербург. В результате *оскорбленному и скорбящему* герою Минский дает обещание сделать Дуню счастливой (и, судя по всему, с честью это обещание выполняет). Отцу следует быть скорбящим, чтобы быть уверенным в счастье дочери. Недаром, по верному наблюдению И. Л. Поповой, при упоминании церкви, где смотритель молил о встрече с «блудной дочерью», опущено слово *Радость*, «запрещенное» в семантической зоне героя («Всех скорбящих»)⁸.

Ситуация прозрения старушки матери и отца Дуни является последней точкой пересечения поэмы, «писанной октавами», и самой грустной из «белкинских» повестей. На этом истории разойдется⁹. История бедной Дуни и бедного смотрителя далее развивается в русле евангельской притчи. Много раз исследователи комментировали несответствие между сюжетом повести и притчи о блудном сыне [Лк. 15; 11—32]¹⁰. Но с сюжетом повести (как справедливо заметил В. Шмид) взаимодействуют и другие евангельские притчи: о заблудшей овце, о потеряной драхме [Лк. 15; 3—10], повествование о добром пастыре [Ин. 10; 1—18]. Как евангельский пастырь, Самсон Вырин идет в Петербург *спасать* свою Дуню *от гибели*, а не возвращать, на что он мало надеется с самого начала предприятия («*Авось...* привезу я домой заблудшую овечку мою» (8; 102—103)).

Эпизод с ассигнациями (добавленный Пушкиным позже) фокусирует в поведении Самсона Вырина не только возмущение от нанесенной обиды, но и согласие с существующим положением вещей. На протяжении «петербургской» истории несколько раз повторяется одна и та же ситуация, подтверждающая рассудочность действий смотрителя: после вспышки негодования герой вернется за деньгами («*подумал...* и воротился»); после эпизода с ассигнациями он *«решился отправиться домой»*; после совета своего приятеля жаловаться на Минского герой «...*подумал*, махнул рукой и *решился отступиться*». Да и задержался смотритель в Петербурге отнюдь не для того, чтобы возвратить дочь: он *«хотел хоть раз еще увидеть* бедную свою Дуню». Именно *для сего* Самсон Вырин еще раз посетит Минского (и получит отказ), и именно «в тот самый день» он, отслужив молебен у Всех Скорбящих, счастливым образом узнает, где живет его дочь, и попадает к ней. Же-

ление «бедного смотрителя» сбудется: он увидит свою Дуню, причем «никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною; он по неволе ею любовался» (8; 103–104). Излишне говорить, что унизительная сцена выдворения отца из покоеv дочери вообще исключила для Дуны возможность вернуться назад. Подобно тому, как в евангельской притче «добрый пастырь» полагает жизнь за овец, в пушкинской повести скорбь отца делается необходимой жертвой и залогом счастья дочери.

Акцентируя внимание на мотиве возвращения, исследователи нередко «упрекают» Дуню в запоздалом посещении отчего дома. Однако (что отмечалось также) и поведение старого смотрителя идет вразрез с библейским каноном: Самсон Вырин не ждет Дуню, не прощает ее (а евангельский отец сам идет навстречу пропавшему сыну, звия его еще издали), даже желает дочери смерти (когда *представляет ее брошенной* Минским и метущей «улицу с кабацкой голлью» (8; 105)). Евангельский же отец уподобляет смерти странствия (блуждания) младшего сына в стране далекой. И воскресение его (*был мертв и ожил*) усматривает в раскаянии.

Вообще, все три притчи о благодати повествуют о *радости от раскаяния грешника*. И в пушкинской повести как раз и происходит *раскаяние* (раскаяться = попросить прощения) Дуны на могиле отца, а не *возвращение* «блудной дочери», читательские ожидания которого провоцируют «немецкие картинки». (Может статься, в этом и заключается пушкинское «вышивать новые узоры по старой канве».) Оттого так пронзительна радость в finale повести. Подчеркнем, что притчи о заблудшей овце и о потерянной драхме говорят о том, что *радость* о кающемся грешнике *бывает на небесах*. И в такой перспективе особый смысл получает пожелание Ваньки (от которого рассказчик узнает о приезде и раскаянии Дуны) «*Царства Небесного*» «старому доброму» смотрителю.

В ту же достопамятную болдинскую осень, рассуждая в статье <«Об Альфреде Миоссе»> о достоинствах литературного произведения, Пушкин не советует «ко всякой всячине приклеивать нравоучение» (11; 175–176), что он отменно выполнит в «Домике в Коломне» и что характерно для всего пушкинского творчества. Поэтому как морализаторского поучения, так и иронии по отношению к евангельской притче в «Станционном смотрителе» быть не может: нравоучение и истина для Пушкина не одно и то же. Позднее в статье «Александр Радищев» он напишет: «...нет истины, где нет любви» (12; 36). И именно потому, что автор любит своих героев, читатель сочувствует слезам бедного смотрителя, не осуждает «доброго и веселого гусара» Минского и желает счастья Дуне.

¹ Цит. по: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 19-ти т. М., 1994–1997. В скобках первая цифра указывает номер тома, вторая — номер страницы.

² Такую точку зрения высказывает, в частности, И. Л. Попова в статье: Смех и слезы в «Повестях Белкина» // А. С. Пушкин. «Повести Бел-

кина». Научное издание / Под ред. Н. К. Гея, И. Л. Поповой. М., 1999. С. 480—509.

³ О неведении стационарного смотрителя детально пишет (вслед за рядом других исследователей) В. Шмид в книге: Проза Пушкина в поэтическом прочтении. «Повести Белкина». СПб., 1996. С. 99—111.

⁴ Об этом комплексе мотивов в «Домике» (судьба, слепота / зрение, шитье, каша и пр.), связанном с почитанием Пятницы и другими фольклорными контекстами, подробно пишет А. А. Фаустов: Герменевтика личности в творчестве А. С. Пушкина (две главы). Воронеж, 2003. С. 88—95 и др.

⁵ Более развернутые разыскания о «пятничных» мотивах в произведениях А. С. Пушкина см.: Гайворонская Л. В. Календарь А. С. Пушкина: дни недели (пятница) // Сборник студенческих работ филологического факультета ВГУ. Вып. 4. Воронеж, 2003. С. 134—139.

⁶ Так, эта пословица, вернее, ее первая часть имеет сюжетообразующее значение в «Капитанской дочки» (на что указывалось В. Шмидом, Д. Бетеа, А. А. Фаустовым и др.). Между тем, мотивы *платья / переодевания и сохранения чести* имеются и в «Барышне-крестьянке». Ряженая в крестьянское платье Лиза, принимая «строгий и холодный» вид, устанавливает дистанцию, когда молодой Берестов предпринимает попытку обнять ее; кроме того, Лиза страшится раскрытия своего обмана, поскольку это задевает честь (тугиловский сосед, оказавшись у ног «крестьянки», не унижается до такой степени: шутки молодых и слишком прытких помещиков с крестьянскими девушками допускались общественным мнением!). Своебразный отклик пары мотивов *платья / переодевания и сохранения чести* обнаруживается и в поэме «Анджело» (переодетый священником старый Дук спасает честь Изабеллы).

⁷ См.: Фаустов А. А. Авторское поведение Пушкина. Воронеж, 1999. С. 202; Попова И. Л. Указ. соч. С. 485—489; Гайворонская Л. В. Пушкинский календарь (дни недели). Дипломная работа. Воронеж: ВГУ. 2003. С. 24—26.

⁸ См.: Попова Л. И. Указ. соч. С. 506.

⁹ Трагический отблеск истории о Параше (не возьмемся называть это продолжением) А. А. Фаустов усматривает в поэме «Медный всадник», в которой носительница мифологического имени становится жертвой пятничного наводнения (см.: Фаустов А. А. Герменевтика личности... С. 88). Другой неблагополучный вариант финала можно увидеть в отрывке «<На углу маленькой площади...>», в черновике которого Парашей зовется горничная графини. Напомним, что одно из авторских отступлений в «Домике в Коломне» довольно пространно повествует о графине, «порой» бросавшей «важный взор» в церкви на Парашу. И вполне допустимо, что после скандальной истории Параша могла стать горничной у графини.

¹⁰ А. А. Фаустов, к примеру, отмечает, что 1) «смотритель отправляется за своей дочерью в Петербург, вместо того чтобы ждать»; 2) «возвращение Дуни домой обставлено совсем иначе... а главное — совершается слишком поздно» (Фаустов А. А. Авторское поведение Пушкина. С. 179). Вообще, функцию евангельской притчи о блудном сыне в сюжете «Стационарного смотрителя» описывали, начиная с М. О. Гершензона, неоднократно. Ср. обзор прочтений и авторское толкование: Шмид В. Указ. соч. С. 121—127.

А. Г. Кулик

АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ А. А. БЛОКА «ВЕРБЫ — ЭТО ВЕСЕННЯЯ ТАЛЬ...»

Вербы — это весенняя таль,
И чего-то нам светлого жаль,
Значит — теплится где-то свеча,
И молитва моя горяча,
И целую тебя я в плеча.

Этот колос ячменный — поля,
И заливистый крик журавля,
Это значит — мне ждать у плетня
До заката горячего дня.
Значит — ты вспоминаешь меня.

Розы — страшен мне цвет этих роз,
Это — рыжая ночь твоих кос?
Это — музыка тайных измен?
Это — сердце в пленау Кармен?

30 марта 1914 года¹.

Это одно из стихотворений цикла «Кармен», который был посвящен оперной певице Любови Александровне Дельмас. Его появление связано со следующим событием: 30 марта 1914 г. было Вербное воскресенье, и Дельмас прислала в честь праздника Блоку необычный букет, состоящий из роз, ячменных колосьев и верб, а также красное письмо. Ответом на подарок певицы стало стихотворение.

О нем уже немало было сказано в работах А. Е. Горелова и И. С. Приходько. Подобный интерес объясняется присутствием в тексте достаточно употребительных и многозначных символов, присущих не только поэзии Блока, но и литературе вообще. В указанных работах анализ стихотворения сводился к толкованию символов и попытке их противопоставления (вербы — символ христианской религии, а розы — демонического начала). Однако, в статье Е. Г. Эткинда «Кармен». Лирическая поэма как антироман» представлен иной взгляд на это стихотворение. Автор выделяет в нем трехчастную структуру и делает акцент на анализе художественного пространства. Вывод, к которому он приходит: «...в этой поэме нет России... Уход от России в прекрасный мир соловьиного сада и в другой, столь же экзотический мир, в котором живут Цунига, Хозе, Эскамильо, Карменсита, в котором царит день «беззакатный и жгучий», поэт ощущает как измену. Горестным вопросом (« Это — сердце в пленау Кармен?») и завершается стихотворение «Вербы — это весенняя таль...»².

Нас же будет интересовать, в первую очередь, справедливость вышеуказанных наблюдений, функционирование символов в тексте, а также место стихотворения в цикле.

Семантика образа-названия одновременно объединяет все стихотворения и определяет смысловые оттенки каждого из них. Блок использует уже известный образ: «старая эмоциональность... слегка подновленная, ... сильнее и глубже, чем эмоциональность нового образа, ибо новизна обычно отвлекает внимание от эмоциональности в сторону предметности»³. Свободолюбивая, дерзкая цыганка — неотъемлемая часть испанского фольклора. На новом этапе этот образ воплотился в одноименной новелле Мериме, а позднее и в опере Бизе. Имя главной героини Кармен — это «своеобразный свернутый сюжет»⁴: встреча с цыганкой — роковая для героя, брошенный заколдованный цветок — смертный приговор для них обоих. Кармен об этом знает, но цветок уже брошен — это судьба, рок, который над ними всевластен.

Эти же мотивы были взяты за основу Блоком. Вечное и мистическое входит в цикл через образ Кармен. Происходит смещение пространств и времен. Все повторяется, но в другом измерении и с другими действующими лицами. Первые стихотворения цикла — предчувствие грядущих событий, в шестом — встреча, в седьмом — букет героини...

Уже известный сюжет накладывается на конкретную жизненную ситуацию. Букет приобретает символическое значение. Его составляющие — это знаки для Него, Ее знаки.

Стихотворение состоит из трех строф. Первая строка каждой из них соответствует части подаренного букета, последующие — ряду блоковских ассоциаций и являются ответом, разъяснением Блока этих символов.

В первой строфе мы сразу же сталкиваемся с образом «верб». Как известно, это символ религиозный, который связан с Вербным воскресеньем. Вербы первыми распускаются весной, и их образ ассоциируется с обновлением, расцветом, пробуждением от зимнего сна, началом новой жизни:

...И чего-то нам светлого жаль,
Значит — теплится где-то свеча,
И молитва моя горяча.

Здесь сразу бросается в глаза взаимосвязь слов «светлый» — «свеча», а также местоимений, к ним относящихся: «чего-то» — «где-то». Вместо утраченного «светлого» появляется образ «свечи» (уже другого света). Хотя здесь возможно и иное толкование, поскольку слово «значит» указывает скорее на вывод, чем на следствие. Свеча горит, человек обращается с молитвой к Богу. Это и заставляет жалеть о «светлом». Но в данном контексте «свеча» и «молитва» употреблены в несколько ином значении, так как при «горячей молитве» свеча не может еле «теплиться», не может она еле «теплиться» и в день Вербного воскресения, праздника, который связан у любого русского человека с песнями, плясками, безудержным весельем, что отсылает нас к языческим верованиям и обрядам (согласно православной вере — это время строжайшего поста). Свеча в христианской символике — душа, зажженная верой, Богом. Как «горит» душа, такова и молитва. Не мо-

гут быть разделимы свеча и молитва и в пространственном отношении, на которое указывается в стихотворении: человек зажигает свечу и совершает молитву —

И молитва моя горяча,
И целую тебя я в плеча.

Эти строки носят скорее присоединительный характер, это как бы добавление к сказанному, но именно они раскрывают значение всей строфы.

«Где-то» в глубине души «затеплилась» свеча, — и родились молитвы. В «Дневнике» Блока за декабрь 1901 — январь 1902 года есть запись: «Стихи — это молитвы. Сначала вдохновенный поэт-апостол слагает ее в божественном экстазе. И все, чему он слагает ее, — в том кроется его настоящий Бог»⁵. Сначала стихи — затем конкретная жизненная ситуация. «И целую тебя я в плеча» — но целую именно ту, которой эти молитвы посвящены. В блоковском сознании есть свой храм, в котором он поклоняется только одной богине — своей избраннице. И молитвы, и свечи тоже посвящены Ей. Христианские символы используются поэтом на основе уже сложившейся традиции, но с добавлением нехристианской мистики. Они становятся отражением переживаний лирического героя. Образ свечи — это точка отсчета, начало развития сюжета, концентрация чувств, которые, раскрываясь, ведут нас к русскому пейзажу второй строфы.

Здесь речь идет о ячменном колосе. Для Блока он ассоциируется прежде всего с образом России:

Где ведуны с ворожеями
Чаруют злаки на полях,
И ведьмы тешатся с чертями
В дорожных снеговых столбах.
«Русь», 1906 (2,79)

Поэт просто перечисляет то, что он представляет, глядя на ячменный колос, с чем связан в его сознании образ этого злака. Вероятнее всего, здесь нет никакой связи с древними обрядами и традициями, на которую указывает И. С. Приходько: «злаковое поле (по преимуществу ржаное) — ложе любви... Это значение восходит к древнему акту симпатической магии... В стихотворении Блока содержание образов колоссящегося поля и ожидания под вечер... включает и это значение»⁶. Поэт едва ли знал о возможном символическом значении этого слова. А то, что в стихотворении указывается на предстоящую встречу (*«...мне ждать у плетня / До заката горячего дня...»*) отсылает нас скорее к биографической основе стихотворения. В этот вечер Блок и Дельмас увиделись на диспуте «О театре». Любовь Александровна в записке спросила поэта: «А как Вам нравится такое сочетание: Розы, вербы, рожь. Это послано с целью». На что Блок ответил: «С какой? Почему рожь?»⁷. Если связать последние строки с

предыдущим пятистишием, то получится, что «горячий день» — это Вербное воскресенье, когда Блок и Дельмас встретились.

Как мы видим из анализа первых двух строф, образ России представлен здесь достаточно ярко (вопреки Е. Г. Эткиндну, который говорит об «отходе от России» и о том, что поэт это ощущает как предательство). Новаторство Блока заключается в том, что он все действие переносит в Россию. Поэт не может ощущать уход в «экзотический мир» как измену: этот мир и сама Кармен здесь, и он получил от нее знак — алую розу (этим символом начинается третья строфа). Лирический герой знает, что его ждет: ему известен сюжет новеллы Мериме.

Но этот цветок является еще и известным мифopoэтическим образом. Алая роза связана прежде всего с цветом крови. Следуя античным легендам, мы знаем, что богиня любви Афродите была посвящена из всех цветов именно роза. Она, уколов пальцем белой розы, окрасила своей кровью бутон. Так же «по следам классического мифа о розе, расцветшей из крови любимца Афродиты Адониса, роза стала символом мученичества, крови, пролитой Спасителем на кресте...»⁸. Образ розы в греческой мифологии неразрывно связан с кровью, страданием, муками.

Имя «Кармен» близко по звучанию к «кармин» — это краска пурпурного цвета. В черновике этого стихотворения Блок написал: «Розы — в цвете их дремлет гроза». А именно с грозой сравнивается явление Карменситы в первом стихотворении цикла. Так что роза и есть Кармен, которая способна убить, окрасить свои руки кровью. Вот почему возникает чувство страха, которое ранее испытывал Хозе:

Розы — страшен мне цвет этих роз...

Герой предощущает появление Карменситы, он уже знает по сюжету новеллы, как это случается:

Это — музыка тайных измен?

И разрешением всех ожиданий, кульминацией стихотворения является последний вопрос, проникнутый отчаянием, безысходностью, предрешенностью судьбы⁹:

Это — сердце в плену у Кармен?

Всего в строфе три риторических вопроса, которые дополняют, усиливают эмоциональное напряжение. Вообще, использование риторических вопросов характерно для творчества Блока. Ответы же на эти вопросы зачастую следуют далее. После этого стихотворения в цикле есть еще три текста, которые по своему смысловому содержанию и эмоциональному накалу являются гимнами, прославлениями возлюбленной. В них каждый раз повторяется ее имя, которым и завершается цикл, сопрягаясь с его названием. Три вопроса соответствуют трем ответам (8, 9, 10 стихотворения):

Это — рыжая ночь твоих кос?

— И проходишь ты в думах и грезах,
Как царица блаженных времен,
С головой, утопающей в розах,
Погруженная в сказочный сон. (3,154)

Это — музыка тайных измен?

— Да, в хищной силе рук прекрасных,
В очах, где грусть измен,
Весь бред моих страстей напрасных,
Моих ночей, Кармен! (3,154)

Это — сердце в пленау Кармен?

— Но я люблю тебя: я сам такой, *Кармен*. (3,156)

Цикл «Кармен» явился новой интерпретацией известного сюжета. В нем нашла свое отражение вся предшествующая традиция. Образная специфика испанского фольклора, новеллы Мериме и оперы Бизе оказывается на осмыслиении этого сюжета Блоком. Но родина блоковской Кармен — Россия. Она для него существует здесь, среди полей, болот, а встреча с ней возможна только около плетня после «заката горячего дня», в вербное воскресенье. Стихотворение «Вербы — это весенняя таль...» имеет прямое отношение к событийному ряду цикла. В предшествующих текстах Блок описывал чувства, связанные с явлением Карменситы, встречу с ней, но кульминацией цикла и последним акцентом событийного ряда явился подарок — букет. После этого следует прославление Кармен...

И остается лишь один вопрос: что было написано в красном письме, переданном вместе с букетом?

¹ Блок А. А. Полн. собр. соч.: В 20 т. М., 1997—1999. Т. 3. С. 153. Далее стихотворения Блока цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы в тексте.

² Эткинд Е. Г. «Кармен». Лирическая поэма как антироман // Эткинд Е. Г. Там, внутри. О русской поэзии 20 века. СПб., 1995. С. 60—81.

³ Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 121.

⁴ Минц З. Г. Блок А. А. // Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь. М., 1989. С. 282.

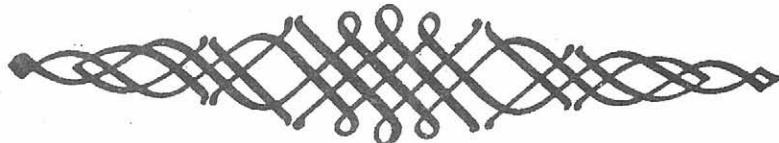
⁵ Блок А. А. Дневник. М., 1989. С. 25.

⁶ Приходько И. С. Розы, вербы и ячменный колос А. Блока // Литературный текст. Проблемы и методы исследования. Тверь, 1998. Вып. 4. С. 114.

⁷ Блок А. А. Полн. собр. соч.: В 20 т. М., 1997. Т. 3. С. 880.

⁸ Нечаенко Д. А. Сон, заветных исполненный знаков. М., 1993. С. 126.

⁹ Ср. о концовках поздних блоковских стихотворений: Тынянов Ю. Н. Указ. соч. С. 123.



ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КНИГИ, ИМЕНА

Н. М. Митракова
ШВЕЙЦАРСКИЕ ВСТРЕЧИ
(продолжение)

В 22 номере вестника Владислав Анатольевич Свительский пообещал продолжить свой рассказ о швейцарских встречах. Он готовился дать отчет о своей поездке на встречу достоеведов. Но выполнить обещания не успел...



Раз в два года крупнейшие достоеведы со всего мира собираются в одной из стран на свои форумы, организуемые Международным обществом Достоевского.

На этот раз, в 2004 году, встреча состоялась в Швейцарии, в Женеве. (До этого Владислав Анатольевич побывал на таких же форумах: в 1998 году — в США, в Колумбийском университете, в 2000 году — в Японии, в университете города Тибо; в 2001 году — в Германии, в Баден-Бадене.)

XII Международный симпозиум Общества Достоевского проходил с 1-го по 5-е сентября. В его работе участвовало более 160 человек,

россиян было чуть больше 60. Место проведения симпозиума — Женевский университет (это центр города).

На борту самолета, вылетающего из Москвы в Женеву, встретились достоеведы России, радовались, уже в самолете вели «специальные», профессиональные разговоры, кое-кто листал доклад, шуршили страницы.

Внизу — Европа, красные черепичные крыши больших и малых городов, озера. Появились горы. Женеву легко узнать с высоты — фонтан на Женевском озере виден издалека. Погода — как и в Москве, где-то поблизости бродят облака, но солнце надолго не прячется. Приземлились, уже поданы автобусы — едем к месту проживания, это университетское общежитие почти у подножия горы, прикрывающей Женеву с юга. О дороге лучше рассказали бы автомобилисты: впечатление такое, будто не едешь, а плывешь по спокойной глади морской...

Нас, россиян, поселили на верхних этажах общежития (11-м и 12-м), у каждого — комната (не комнатка!), с громадным окном, удобным рабочим столом, очень привлекательной лежанкой... И мы все начали учиться улыбаться... Студентов мало, занятия еще не начались, но в лифте, в коридорах то и дело встречаешь улыбающихся молодых людей, которые обязательно тебя приветствуют и очень искренне тебе радуются... Первые два — три дня наши лица привыкали к улыбкам и ответным приветствиям.

А во второй половине нашего первого дня — официальная церемония открытия симпозиума. Здесь уже россияне встретились с коллегами из стран всего земного пространства — Японии, Индии, Новой Зеландии, Канады, США, Англии, Франции, Германии, Австралии, Румынии, Польши, Украины, Венгрии, Италии, Турции... России. И шесть участников-швейцарцев. Многие уже были знакомы, кому-то еще предстояло узнать друг друга...

Проходила церемония открытия в актовом зале главного корпуса университета. Места в зале расположены амфитеатром, лектор — внизу, в глубине, и от этого слушатели (зрители) становятся как-то независимее, значительнее, и нисколько не умаляется значимость того, кто находится в центре.

Торжественные минуты прерываются повсеместными улыбками и смехом. Читают строки самого Федора Михайловича Достоевского, в которых он подвергает Женеву серьезной хуле и критике: «Женева — пакость, и я в ней действительно обманулся <...> Это ужас, а не город!» (из письма к А. Н. Майкову). И далее: «Всего более натерпелись из материальных неудобств в Женеве от холода»... Можно понять Федора Михайловича. Обстоятельства были трагическими: вновь стали мучить припадки, катастрофическое безденежье, усугублявшееся страстью к игре, неспособность обеспечить нормальные условия жизни молодой жене. И самое страшное — смерть маленькой дочери Сонечки...

Когда-то давно написанное сильно контрастировало с тем, что все собравшиеся в зале видели до начала конференции, в городе, в великолепном университетском парке. Много-многолетние раскидистые липы

и клены, великолепные, до сентябрьских дней цветущие кустарники и благоухающие не лужайки, а альпийские луга... И множество народу (самого разного!), и множество языков, и никакого шума... И все это на фоне стены из местного кремового цвета камня над проточным водометом, а на стене — барельефы отцов-основателей Швейцарии...

Это — природа. И город — со своим неповторимым лицом; со своей неспешностью, упорядоченностью, основательностью. Даже длинный — из трех вагончиков! — троллейбус № 3, который возит нас от общежития к университету, движется достойно, без толчков и рывков, и точно по графику...

А на церемонии открытия конференции продолжают звучать строки Достоевского: «Мало проехать, путешествуя. Нет, поживите-ка!» — Ну что же... Пожили! Увидели и оценили... И можно бы успокоить Достоевского: с Женевой — все в порядке. Она борется за свою репутацию. И отличает Женеву нежелание влезать на котурны, привычка в самой серьезной ситуации сохранять свободу и непосредственность.

Каждый конгресс строит свою работу, придерживаясь определенной темы. Здесь, в Женеве, по замыслу устроителей, доклады должны были отразить современное положение в изучении различных сторон творчества Достоевского и его жизни. Особенно приветствовались доклады, основанные на новых методологических подходах. И в центре внимания симпозиума тема «Достоевский и русская эмигрантская литература».

В день открытия вечером в актовом зале актер Карло Брандт читал по-французски письма Достоевского. Начала работать обещанная культурная программа.

В обществе чтения на французском языке читали пьесу Филиппа Люшера «Сонечка» о жизни Достоевских в Женеве, был спектакль по «Запискам из подполья» в исполнении, как было объявлено, «московской знаменитости» Виктора Гвоздицкого, в кинотеатрах города было показано несколько фильмов по произведениям Достоевского. Интересна была лекция Жоржа Нива о связи между творчеством Достоевского и работами современного режиссера Александра Сокурова, демонстрировались отрывки из его фильма «Тихие страницы» (по мотивам русской литературы XIX века).

В библиотеке университета можно было познакомиться с документами, связанными с женевским периодом жизни Достоевских. В одном из музеев города были показаны две серии иллюстраций к роману «Братья Карамазовы»: художников Алексеева и Пожедаева.

И — сама Женева в распоряжении каждого в отдельности участника конференции, или дружеских компаний, или друзей неразлучных. А маршруты — индивидуальны, хотя обязательный — к озеру! — был у всех. И россияне — естественно! — в озере искупались, швейцарцы уже не входили в воду (сентябрь на дворе). Многие побывали в небольших городках, лежащих на берегах Женевского озера: в Веве, где покоится Чарли Чаплин, где недолго жил Достоевский, Монтре, где долго жил Набоков, неподалеку от Монтре Шильонский замок, внутри которого на стенах в свое давнее время оставили автографы Байрон,

Гоголь... И экскурсия в Базель, его крутые улочки приводят к великолепному XV века собору, в стенах которого звучит сейчас современный орган, подаренный городу американцами...

Почти обязательным было поклонение Руссо. В месте, где из озера вырывается река Рона, лежит небольшой островок, названный его именем. Когда-то напротив он жил... На островке — отдыхают, слушают воду, дышат брызгами гости города...

А на мосту через Рону есть единственное место, с которого можно увидеть висящее в небе явление вершин гор — нужно только стечьне атмосферных обстоятельств. Мы когда-то это наблюдали в Берне. Горы вдруг возникают, даже веет прохладой и чистотой... В Женеве нам не повезло.

Рабочая атмосфера конференции поддерживалась усилиями очаровательных сотрудниц университета, студенток-слависток Женевы и Базеля, радушно обеспечивающих и поддерживающих физические силы участников. Почти постоянно в холле, где устраивались coffee break, можно было видеть устроителей симпозиума Ульриха Шмида и Жанна-Филиппа Жаккара, внимательно, заинтересованно выслушивающих коллег, здесь же, на месте, решавших многие деловые проблемы, отвечающих на вновь и вновь рождающиеся вопросы.

А пятого сентября, в перерыве между докладами, участники конференции почтили память маленькой Сонечки Достоевской: на старинном женевском кладбище прошла панихида.

Сонечка родилась 5 марта 1868 года, умерла 24 мая. Похоронена на кладбище Plain Palais. Тогда ее могила была обсажена кипарисами, был поставлен черный мраморный крест. Федор Михайлович побывал на могиле дочери еще раз в 1874 году, когда ездил на лечение в Бад Эмс (Германия). В современном виде надгробная плита установлена в 1979 году. На табличке надпись, повествующая о том, что лежит здесь прах дочери Ф. М. и А. Г. Достоевских.

Невольно обращала на себя внимание фигура Дмитрия Достоевского, правнука Федора Михайловича; в облике Дмитрия угадывался знакомый по портретам прадед.

Всем, безусловно, запомнился прием у мэра города Женевы в честь участников конференции. В небольшом здании здесь же, в парке университета, собирались все приехавшие на симпозиум. Торжественные речи перемежались опять высказываниями Федора Михайловича по поводу Женевы — собравшимся эти цитаты поднимали настроение. На вопросы о том, так ли они думают о Женеве, как Достоевский, на всех мыслимых языках звучало «нет»... Возможность пообщаться с коллегами на приеме была использована всеми желающими, похоже было на хорошо и спокойно работающий муравейник, еду все носили на тарелках с собой, угощая друг друга, делясь с друзьями разнообразными деликатесами.

Прощальный ужин проходил все в том же университетском парке. Никому не хотелось думать о прощании, о расставании на целых два года.

В 2006 году достоевцы встретятся в Будапеште. Не будет среди них Владислава Анатольевича Свительского....

Утром шестого сентября россияне освобождали общежитие, у входа стояли автобусы, не было одной из молодых докладчиц, нервничали...

Ульрих Шмид для разрядки обстановки еще раз вспомнил, что говорил о Женеве Ф. М. Достоевский, спросил, улыбаясь, получили ли россияне подтверждение его словам? Теперь заулыбались наши участники симпозиума.

Чуть перефразируя слова предисловия к сборнику тезисов конференции, скажу, что симпозиум произвел впечатление во многих отношениях... «Если у кого-то оставались еще сомнения относительно мирового значения писателя, проведение сегодняшней конференции» их окончательно рассеяло, «настолько явственно проявился интерес к его творчеству, широки и разнообразны связанные с ним проблемы и интерпретации».

Участники конференции покидали Швейцарию, а мы, Владислав Анатольевич и автор этих строк, отправились в городок Шаффгаузен, где и продолжились наши встречи.

Встречи... Их трогательность, искренность волновала, тревожила. Все знали о состоянии здоровья Владислава Анатольевича. И никто ни словом, ни поступком этого не показал...

Дорогие друзья наши Марион и Ганс-Йорг Графы, их дочери Ребекка и Магеллон. (С сыном, находившимся в Америке в этот момент, мы только «говорили» по телефону. Беру в кавычки слово «говорили», потому что — к нашему великому сожалению! — мы не знаем языка.) Они сделали все, чтобы немногочисленные наши швейцарские дни были полны радости от общения.

Были встречи с родителями Марион в сказочно прекрасном городе Невшателе, были посещение уникального музея Латиниума, дивная поездка по крохотным городкам вокруг Невшательского озера. (Маленький эпизод... По обеим сторонам зеленые поля, кое-где неопытные низкие строенцы высотой около метра, с широкими отверстиями... Оказалось, что это «жилища», или спальные места, для свиней — не желающих жить в общем загоне.)

Были встречи с девочкой-студенткой Франциской, которой нужно было помочь в подготовке к экзамену по русскому языку (ей предстояло комментировать рассказ А. П. Чехова «Шведская спичка»); со стремительной, уже не очень молодой, профессиональной фотохудожницей (ее интересовала погода в России — собиралась с мужем совершить экскурсию на теплоходе по Волге); с молодой женщиной, давней нашей знакомой Даниэль, очень похожей на Шарон Стоун, прибежавшей к нам с какой-то деловой встречи — в темном костюме и светлой блузке; с пожилой соседкой наших друзей...

И дни в Швейцарии — спокойно-солнечные, прозрачные. Где-то далеко проплывали облака, не закрывая солнца, а вот в день отъезда они стали надвигаться на Женеву... Взлетали мы уже над тяжелыми тучами и Швейцарию видели только в маленькие щели между облаками...

Л. Г. Петракова

ЭЙХЕНБАУМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 5

С 16 по 18 сентября 2004 года в Воронеже прошла пятая международная научная конференция «Эйхенбаумовские чтения», организованная кафедрой истории русской литературы, теории и методики преподавания литературы Воронежского государственного педагогического университета. В конференции приняли участие ученые из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, других городов России, а также США и Украины.

На первом пленарном заседании выступили 6 человек. *Е. М. Таборская* (Санкт-Петербург) показала, как по-разному строится портрет Б. М. Эйхенбаума в дневнике Е. Л. Шварца и «Петроградском студенте» В. А. Каверина. *Т. А. Никонова* (Воронеж) раскрыла загадку Б. М. Эйхенбаума в самоосмыслиении русского формализма как эволюционирующей теоретической системы. *И. М. Широнин* (Москва) поставил вопрос об общности и различии подходов к проблемам исторической поэтики прозаических жанров Б. М. Эйхенбаума и В. В. Виноградова. *А. В. Щербенок* (Калифорния) выступил с докладом о концепции внутренней речи Б. М. Эйхенбаума в свете современной теории кино. *И. В. Фоменко* (Тверь), обратившись к роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», представил текст как систему ономастических зон персонажей, соотнесенных с антропонимами заглавия. *Б. С. Дыхановой* было предложено новое прочтение пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке» как образного воплощения авторских раздумий о «тайне народности» и «тайне национальности», как своеобразного опровержения декабристской идеологии.

В секции «История русской литературы XIX века» было прочитано 19 докладов. *С. В. Савинков* (Воронеж) исследовал смену приоритетов — при переходе от А. С. Пушкина к М. Ю. Лермонтову — в базисной для романтической идеологии оппозиции поэта и толпы. *Б. П. Иванюк* (Елец) на материале стихотворений М. Ю. Лермонтова определил характер и содержание связи между композиционными элементами сравнения, охватывающего всё произведение целиком. *И. В. Ивакина* (Харьков) проследила модификации «онегинской модели» в романах И. А. Gonчарова «Обломов» и «Обрыв». *А. В. Скиперских* и *О. Н. Наумова* (Елец) проанализировали социально-политические взгляды женщин в романе И. С. Тургенева «Новь» в контексте актуализации и развития гендерной проблемы. *И. В. Немыкина* (Воронеж) рассмотрела семантику тургеневских реминисцентных образов в творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина. *Е. Ю. Садовская* (Воронеж) сосредоточилась на выявлении полемичности щедринской «Современной идиллии» по отношению к официальной, публицистической, художественной прозе того времени. *Г. А. Шпилевая* (Воронеж) отметила, что проза Н. А. Некрасова может быть рассмотрена в свете эйхенбаумовской концепции взаимодействия «высокой» и «низкой» ли-

тературы. Доклад *Н. Н. Пайкова* (Ярославль) представил диалектическое единство философско-экзистенциального, персонально-интенционального и ценностно-авторефлексивного аспектов в поэзии Н. А. Некрасова. *Н. Г. Авдеева* (Борисоглебск) дала анализ лесковского рассказа «Александрит» и интерпретировала поэтику жанра «рассказа кстати». *Н. А. Шипилова* (Воронеж) исследовала художественную структуру очеркового цикла Г.И. Успенского «Письма с дороги». *С. С. Ольховик* (Воронеж) установил, что в «Хозяйке» Ф. М. Достоевского экспериментирование с идеей проводится на внесубъектном уровне. *О. В. Владимирова* (Тверь) рассмотрела, как порождается образ «чужой» поэзии в «Переводах и вариациях Гейне» А. Н. Майкова. В докладе *О. И. Тимановой* (Санкт-Петербург) было показано место в литературном процессе второй половины XIX века сказок М. Л. Михайлова. *Л. Е. Крайчик* (Воронеж) обратил внимание на природу конфликта в «Дуэли» А. П. Чехова, где в столкновении героев с жизнью победителей нет. *Е. В. Соколова* (Воронеж) представила интерпретацию авторского замысла и скрытого сюжета чеховской «Степи», сконцентрировав внимание на теме «живого» и «мертвого». *Л. Г. Петраковой* (Воронеж) была рассмотрена художественная семантика топики в чеховской повести «Черный монах». *В. В. Кудасовой* (Владимир) была предпринята попытка анализа уникальной жанрово-родовой природы «Одиссеи последнего романтика» А. А. Григорьева. *Т. А. Жалнина* (Воронеж) сопоставила образы поэта-пророка у А. С. Пушкина и В. С. Соловьевца. *М. А. Слинько* (Воронеж) посвятила доклад осмыслению А. А. Слинько этической позиции Л. Н. Толстого.

В секции «История русской литературы XX века» было 11 участников. *И. Б. Ничипоровой* (Москва) были рассмотрены проблематика, жанрово-стилевое своеобразие, методология эссеистской прозы И. А. Бродского о М. И. Цветаевой. *Л. В. Сонова* (Воронеж) затронула проблему семантики и функционирования пространственных образов в цветаевской «Поэме Горы». *Т. Ф. Ускова* (Воронеж) вскрыла «солovievский» подтекст идеи андрогинизма в рассказах З. Н. Гиппиус 1890—1900-х годов. *А. Я. Клименко* (Борисоглебск) предположила, что в рассказе М. Горького «Сторож» необычно соединены автобиографичность с очерковостью и философскими рассуждениями. *А. В. Протушнина* (Воронеж) установила, что применительно к горьковскому герою-страннику архетип «потери места» — выражение потери ориентиров и безнадежности пути. *И. Л. Новокреценова* (Воронеж) сделала попытку переосмыслить повесть Вс. Иванова «Партизаны» с точки зрения наличия в ней архетипических образов. *Е. А. Лазанская* (Воронеж) подвергла исследованию дискурсивные отношения в рассказах И. А. Бунина 1910—1920-х годов. *Ж. В. Грачева* (Воронеж) рассмотрела механизмы создания у В. В. Набокова гротескных окказионализмов типа «Фолкнерманн» или «Толстоевский». *А. А. В. Леденев* (Москва) посвятил свой доклад синтезаторским тенденциям в поэзии и прозе В. В. Набокова. В докладе *Е. А. Иваншиной* (Воронеж) говорилось о средневековых ассоциациях в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».

та», связанных с одеждой и профессией как знаками иноземности. *В. В. Карпова* (Борисоглебск) показала, что деталь-лейтмотив «брюки» в прозе А. Г. Битова становится символом принадлежности человека историческому времени.

В секции «Теория литературы и русская литература XX века» было 14 выступающих. *А. Г. Степанов* (Тверь) проследил одну из семантических традиций строфической модели Яб аБаб. *С. Ю. Артемова* (Тверь) говорила о модификации жанровой модели послания в XX веке. *Н. А. Молчанова* (Воронеж) посвятила свой доклад описанию «жизнестроительных» тенденций в поздней книге стихов К. Д. Бальмонта «Белый Зодчий». А в докладе *Е. Ю. Коротиной* (Воронеж) были прослежены христианские мотивы в ранних стихотворных сборниках К. Д. Бальмонта «Под северным небом» и «В безбрежности». *Д. С. Грачева* (Воронеж) на основе методики выявления прецедентных текстов обратилась к анализу сборника прозы Н. С. Гумилева «Тень от пальмы». *Е. Л. Кандыбина* (Воронеж), опираясь на творчество Г. В. Иванова и М. Кундеры, рассмотрела кич как явление массовой культуры и как примету определенного миропонимания. *А. Г. Кулик* (Воронеж) описала композицию цикла А. А. Блока «Кармен» в соотнесении с оперой Ж. Бизе «Кармен». В докладе *Т. А. Мегириянц* (Россошь) «город» был уведен как смыслообразующий компонент картины мира Б. Л. Пастернака. А *О. В. Евдокимова* (Воронеж) исследовала сочетание эпического и лирического в книге Б. Л. Пастернака «Сестра моя — жизнь». *Л. Г. Кихней* (Москва), исходя из эйхенбаумовской концепции «романа-лирики», доказала, что «Четки» А. А. Ахматовой образуют метааннровое единство. *Т. Н. Данькова* (Воронеж) проследила функционирование в книге стихов А. А. Ахматовой «Белая стая» ведущих смысловых планов, нанизанных на мотив времени. А *О. Е. Рубинчик* (Санкт-Петербург) воссоздала образ А. А. Ахматовой в изобразительном и поэтическом творчестве С. Б. Рудакова. Доклад *С. А. Сафонова* (Воронеж) представлял собой опыт реконструкции утерянной статьи Б. М. Эйхенбаума об А. А. Ахматовой. А в докладе *А. С. Крюкова* (Воронеж) было подвергнуто критическому разбору шеститомное собрание сочинений А. А. Ахматовой (издательства «Эллис Пак»), с текстологической и источниковой точек зрения не являющееся ни полным, ни научным.

В секции «История зарубежной литературы» прозвучало 7 докладов. В докладе *Л. А. Сахненко* (Воронеж) были затронуты проблемы афинской демократии, определявшей место в афинском обществе поэта-комедиографа. *Н. Н. Есаулов* (Владимир) провел параллель между «Одой: Откровения бессмертия» У. Вордсворт и комедией У. Шекспира «Как вам это понравится». *Е. А. Панкова* (Воронеж) подчеркнула, что образ Средневековья является одной из важных составляющих в немецкой романтической эстетике. В докладе *Ю. А. Лысяковой* (Воронеж) исследовалось — на материале французской литературы — соотношение символистской поэзии и символистской публицистики. *В. В. Хорольский* (Воронеж) попытался сопоставить символизм и пост-

модернизм как два явления в искусстве и культуре Европы XX в. А. Э. Воротникова (Воронеж) вскрыла принципы женской эстетики в романе И. Бахман «Малина». О. В. Тихонова (Воронеж) обратилась к проблеме национальной специфики немецкоязычного криминального романа И. Нолья и В. Хааса.

В секции «Язык художественной литературы и фольклора» было прочитано 8 докладов и 2 сообщения. В сообщении А. А. Котлярова (Воронеж) была рассмотрена семантика пространства в концептуально-языковой картине мира русской любовной частушки. Е. Е. Топильская (Воронеж) поделилась результатами изучения кадетских прозвищ, основывающихся на материалах мемуарной литературы. Сообщение Н. И. Кривовой (Воронеж) было посвящено диалектизмам в произведениях А. И. Эртеля. И. М. Широнин (Москва) рассмотрел интонационную организацию риторического текста (на материале русской прозы XVIII — начала XIX вв.). Е. С. Обухова (Воронеж) предложила, что в лицейской лирике А. С. Пушкина употребление антропонимов носит двойственный характер по отношению к литературным предшественникам. С. А. Коротких (Воронеж) вскрыла автобиографический подтекст антропонимии в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». А. А. Муренкова (Воронеж) отметила ироничность обыгрывания «брендов» в романах И. Ильфа и Е. Петрова. М. В. Субботина (Воронеж) провела сравнительный анализ семантической структуры макрообраза «вселенское странствие» в лирике М. Ю. Лермонтова и А. А. Блока. В докладе Т. А. Вороновой (Воронеж) рассматривались ономасии в лирике А. А. Тарковского, связанные с античной мифологией. Г. Ф. Ковалев (Воронеж) говорил о возросшем интересе к именнику персонажей и в качестве нового аспекта выделил изучение ономастики в творческой лаборатории творца.

В рамках тематического блока «Проблемы преподавания литературы» было прочитано два доклада. В докладе А. Ю. Андроновой (Уфа) был представлен опыт претворения в практику школьного урока технологической системы преподавания литературы, разработанной проф. ВГПУ Б. С. Дыхановой. И. Г. Клименко (Борисоглебск) классифицировал нетрадиционные уроки и высказал мысль, что основной формой учебного процесса остается традиционный урок, на котором необходимо применять нетрадиционные приемы.

Завершилась конференция пленарным заседанием, на котором были подведены ее итоги и заслушаны два доклада. С. А. Сафонов (Воронеж) прочитал присланный из США доклад Дж. Кертиса, в котором говорится о влиянии на Б. М. Эйхенбаума его еврейского социо-культурного окружения. А. С. Крюков (Воронеж) представил воспоминания, написанные ушедшим из жизни профессором-филологом П. В. Соловьевым (Санкт-Петербург). Воспоминания затрагивают период его обучения в Воронежском государственном педагогическом институте с 1938 по 1941 годы, когда провинциальный вуз был средоточием необыкновенной плеяды преподавателей, отличавшихся высоким профессионализмом, духовностью, самобытностью.

Б. Ф. Егоров

НОВИНКИ ИЗ ГЛУБИНКИ — 6

В октябре 2002 г. я был приглашен в Йошкар-Олу для чтения спецкурса («Русские утопии») в Марийском гос. пединституте им. Н. К. Крупской, познакомился с коллегами. Самое сильное впечатление — я был крайне изумлен совершенно выдающимися способностями сотрудников кафедры литературы МГПИ не только создавать, но и публиковать научные и учебно-педагогические труды, комплект которых сравним и по количеству, и по качеству с продукцией целого академического института (см.: «Библиографический указатель научных трудов преподавателей кафедры литературы МГПИ им. Н. К. Крупской. 1990—2000», Йошкар-Ола, 2002; здесь 574 №№, в том числе 50 книг; добавлю еще три книги 2001—2002 гг., т.е. всего 53 книги!). Такое обилие книг и статей было бы невозможно выпустить в самой Марийской республике, но сотрудники кафедры наладили творческие связи с московскими вузами и издательствами, и смогли таким образом печатно реализовать свою продукцию.

В издательстве «Московский Лицей» в 1997—2002 гг. вышло шесть сборников статей с общими заголовками «Открытый урок по литературе. 5-11 классы. (Планы, конспекты, материалы). Пособие для учителей», тиражами по 5000 экземпляров (редакторы-составители профессора И. П. Карпов и Н. Н. Старыгина привлекли коллег по институту, местных учителей и немалое количество сотрудников из других городов России и даже Украины).

В издательском центре «Владос» под общей шапкой «Уроки русской словесности. Текст. Комментарии. Материалы. Моделирование уроков» в 1999—2000 гг. изданы: «Борис Годунов», «Маскарад», повести Чехова, Бунина, Куприна, Л. Андреева, Ремизова (тиражами по 10 000 экземпляров!). В отличие от чисто школьных методичек «Открытого урока...», авторы этих сборников предполагают их использование и школьными, и вузовскими работниками.

Такую же массовость, впрочем, с акцентом на вузовское преподавание, предполагает и третья московская серия йошкар-олинцев, при общей помощи издательств «Флинта» и «Наука» (1999—2001): учебники «История русской литературы второй половины XIX века» (практикумы и хрестоматия) и монография: *И. П. Карпов. Проза Ивана Бунина. Учебное пособие* (1999). Здесь тиражи по 3000 экземпляров.

Кроме того, марийские преподаватели издают свои книги при московских вузах или при других московских издательствах: *Н. Н. Старыгина. Роман Н. С. Лескова «На ножах»*. Прометей, 1995 (кажется, это при МПГУ им. В. И. Ленина?), а затем: *Н. Н. Старыгина. Образ человека в русском полемическом романе 1860-х годов*. М.; Йошкар-Ола, 1996 (под эгидой МПГУ им. В. И. Ленина и Марийского ГНИ им. Н. К. Крупской); *Е. П. Карташева. Стилистика прозы В. В. Розанова*. Издательство МПУ (так теперь именуется МПГУ!), 2001 (хорошее добавление к монографии В. А. Фатеева!).

При такой помощи Москвы чисто марийских изданий немного; я получил книгу в жанре учебно-методического пособия: *Н. В. Шенцева. Художественный мир Е. И. Замятиной*. Йошкар-Ола, МГПИ им. Н. К. Крупской, 1996. Но марийские ученые создали свой журнал, выпускаемый именно при МГПИ: «*Вестник лаборатории аналитической филологии*» (инициаторы И. П. Карпов и Н. Н. Старыгина). Пока вышел № 1 (2000), однако будем надеяться, что издание не захиреет и продолжит публикацию трудов столь активных йошкар-олинских филологов.

Г. В. Краснов. Н. А. Некрасов в кругу современников. Коломна, КГПИ, 2002.

И здесь неуемные творческие возможности ветерана вылились в интересную книгу, где, начиная с аналитических обзоров некрасо (во?) ведения почти за полтора века и кончая монографическими статьями о произведениях Некрасова, отдается весомая дань классику русской поэзии, в наши дни отнюдь не однозначно трактуемого в науке и публицистике. А попутно печатаются ценные сопоставления: «Некрасов и Пушкин», «Некрасов и Толстой». В разделе «Круг «Современника» — свежие статьи «Н. А. Добролюбов и П. Я. Чаадаев», «Александр Дружинин (антропологизм в критике)». Здесь же поднят из забвения второстепенный писатель, приголубленный Некрасовым: Гавриил Никитич Потанин (не путать его со знаменитым сибиряком Григорием Николаевичем!). Ворчу, однако, по поводу технических огрохов. В предисловии «От автора» говорится, что сборник составлен «из статей древнего и недавнего времени». Но как узнать?! Нигде нет ни одной ссылки на первопубликации. И уж совсем ворчу по поводу сбитой пагинации: интервал между реальными страницами и колонками цифр в оглавлении составляет 4—5 страниц.

Н. Г. Медведева. «Портрет трагедии». Очерк поэзии Иосифа Бродского. Учебное пособие для студентов филологических факультетов. Ижевск. Удмуртский гос. университет, 2001.

Очень полезное пособие. Содержит много существенного в анализе содержания и поэтики. Полезно обширное приложение на 100 страниц — избранные стихотворения и поэмы Бродского. Грустно мне, что тем не менее поэт и здесь остался чужим. Действует ли моя традиционалистская ментальность, что ли? Когда мне человеческая личность писателя не нравится (например, в классике — Гончаров и Достоевский), то это невольно пропитывает отношение к их текстам; логически понимаю — великие, а душа не принимает! То же с Бродским. Чувствую его (может быть, и ошибочно) индивидуалистическим, рационалистическим и каким-то в то же время распоясанным, несобранным — и то же вижу в его творчестве. Его стихи для меня слишком сухие и головные, часто грубые, приземленные. Отдельные проблески поэтического и душевного тонут в море чужого. Но ведь есть люди, которые совсем иначе относятся к поэзии Бродского — значит, есть другая ментальность, другие струны. К таковым относится и автор книги. Нельзя всех стричь под свою гребенку: да здравствует разнообразие, разномыслие, разночувствие!

Поэмы Николая Клюева. Сборник студенческих научных работ. Вып. II. Ижевск, Удмуртский гос. университет, 2002.

Какие взрослые в Ижевске студенты! Уже первый выпуск трудов (1998) заинтересовал филологическую общественность страны, а второй выпуск — просто самый настоящий столичный-отличный литературоведческий труд. Значительная часть книги — главы дипломной работы Л. Ю. Сидоровой, от обзорно-аналитических «Судьба поэта» и «Состояние и пути изучения творчества» до фундаментальных глав о «Погорельщине» и подробной библиографии. Публикуется также анализ поэмы «Плач о Сергеев Есенине», взятый из дипломной работы Н. А. Шишканиной. Авторы умело используют системно-структурную методику Б. О. Кормана, помогающую понять многие парадоксальные сложности поэтики Клюева, хотя, конечно, весь его узловатый клубок еще предстоит распутывать и распутывать. В конце тома печатается статья «гости» Л. А. Киселевой, руководительницы Клюевского семинара в Киевском университете. Хорошее содружество!

А еще в книге прилагаются тексты трех главных поэм Клюева, так что сборник становится учебным пособием для студентов и преподавателей. Хвала кафедре русской литературы, руководителям научных работ студентов и редактору-составителю сборника Н. А. Ремизовой.

А вот еще один вузовский журнал: *Филолог*. Пермский гос. пед. университет. 2002. № 1. 81 с. 500 экз.

Подзаголовок издания: «Научно-методический журнал», т.е. он — с явным методическим уклоном, с материалами для школьного преподавания, начиная со вводной программной статьи Г. Ребель «Урок литературы сегодня: «кризис жанра», статьи содержательной и тревожной. Обилие методических статей не означает сплошного погружения в практические рекомендации для учителя; и сами методические статьи содержат интересные теоретике — и историко-литературные, теоретико-лингвистические выходы, и есть статьи по сути чисто научные (например, Ж. Уткиной о глобальных природных символах в «Мастере и Маргарите» — только карта-схема невразумительно бледна — не понять, где же здесь объявленные спирали) или краеведческие (В. Шенкман «Лингвокраеведение в пермской школе» и В. Абашева и А. Фирсовой «Берегом Камы от дома Люверс» — ясно, о пермских реалиях у Б. Пастернака). Замечательна подборка о выдающемся филологе и Учителе (именно так!) многих поколений учившихся в Пермском университете — Римме Васильевне Коминой.

Авторы статей почему-то обозначены без вторых инициалов, без отчеств. Это, видимо, не сравнение с артистами или поэтами, а западное влияние: ведь там-то нет отчеств. Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский эффективно противопоставляли русский и западный менталитеты как бинарный и тернарный: у русских лишь рай и ад, а там еще вставлено чистилище, создается более сложное и толерантное поле. Но ведь наше отчество создает уникальную «тройчатку», давайте хоть здесь будем тернарными! Впрочем, отчества в «Филологе» находим в списке «Наши авторы».

Поздравим талантливых энтузиастов с началом нового периодического издания и пожелаем ему долгого существования!

Перевалим теперь через Уральские горы. Сибирь.

С. А. Комаров. А. Чехов — В. Маяковский: комедиограф в диалоге с русской культурой конца XIX — первой трети XX века. Издательство Тюменского гос. университета, 2002. 248 с. 500 экз.

Автор тяготеет к крупномасштабным категориям и сдвигам, и в этом ракурсе и комедия приобретает значительные черты и перспективы. Более того, С. А. Комаров погружает Чехова и Маяковского в дионаисийский и апolloнический мир мифологической античности, соотносит с ницшеанством и соловьевством, пронизывает творчество своих объектов «жизнестроительством» и тем самым необычайно освещает наши представления и наши методы анализа.

Конечно, традиционалисту с «трехмерным» мировоззрением часто трудно согласиться с фантастической «четырехмерностью» автора. Некоторые интерпретации вызывают большие сомнения. Например, эпажную строку Маяковского: «Я люблю смотреть, как умирают дети» С. А. Комаров пытается объяснить (см. с. 102—103) аллегорическим истолкованием Вл. Соловьевым псаломного стиха о разбивании вавилонских младенцев (т.е. грехов) о камень (т.е. о твердую веру). Нет, не убеждает автор, ведь известны и другие факты; строка остается на совести Маяковского. Есть натяжки в истолковании имен. Невозможно согласиться с разрезанием фамилии «Лопахин» у Чехова на две смысловые части и с объяснением суффикса и окончания (хин) как намека на хинин и ахинею (с. 81—82). И тем не менее, книга очень интересна нестандартной живостью идей, пробуждающих, даже при осправлении, новые размышления и находки.

К книге приложен грандиозный, значительно превышающий 1000 названий, список литературы — как бы библиографическое пособие по литературоведческим и театральным исследованиям темы, да нет, шире — по философии, эстетике, теории драмы.

Е. К. Ромодановская. Избранные труды. Сибирь и литература. XVII век. Новосибирск, Наука, 2002. 392 с. 1000 экз.

Известная исследовательница региональной культуры уже раньше публиковала помещенные здесь работы: и книгу «Русская литература в Сибири первой половины XVII в.», и почти все статьи, но книга вышла 30 лет тому назад, в 1973 г., а статьи печатались в ведомственных изданиях, в материалах конференций, в газетах — они мало доступны современному читателю, особенно молодому, поэтому очень важно появление комплексного сборника. Не говоря уже об общих представлениях о сибирской литературе XVII века (истоки, распространение, жанры), даже частные статьи представляют большой интерес — и не только для специалистов-древников: кто не заинтересуется статьями «Эпистолярное наследие сибирских архиереев XVII в.» или «Театр под сенью креста», или двумя статьями о народных видениях?!

При этом труды Е. К. Ромодановской опираются на колоссальный архивный материал, они, так сказать, юридически достоверны, здесь нет подтасовок и умолчаний. Этим исследованиям веришь!

Как бы приложением к книге Е. К. Ромодановской можно считать следующее издание: *Литературные памятники Тобольского архиерейского дома XVII века*. Новосибирск, «Сибирский хронограф», ММІ (т.е. 2001). 440 с. 1000 экз. Подготовка текста и комментарии — Е. К. Ромодановской, при участии О. Д. Журавель. Книга является 10-м выпуском академической серии «История Сибири. Первоисточники».

Книга состоит из разделов «Историческая и агиографическая проза» и «Эпистолярная проза». На мой вкус особенно интересен второй раздел, почти весь состоящий из челобитных Симеона, архиепископа Сибирского и Тобольского, к царю Алексею Михайловичу. В них затронуты самые различные проблемы: церковные, экономические, социальные, национальные, строительные, психологические... Возникают напряженные сюжеты о конфликтах с государевыми людьми, начиная с воеводы, о хитрых жуликах в окружении владыки, о чудесных явлениях, «о бесстыдном поведении томского дьяка М. Ключарева» — и все это написано колоритным стилем, в причудливой смеси живой народной речи с казенными правилами обращения к царю.

Ценен раздел «Приложения», содержащий в частности шедевр сибирской литературы XVII века — «Житие Василия Мангазейского».

Проблемы интерпретации в лингвистике и литературоведении. Материалы Вторых Филологических чтений. 29 ноября — 1 декабря 2001 года. Новосибирский гос. пед. университет, 2002. 187 с. 200 экз.

Первые чтения прошли мимо меня, а, будучи участником Третьих (ноябрь 2002 г.), я получил в подарок тезисы Вторых. Фантастическое богатство участников (около ста!) и тем (широкайшая тематика по лингвистике, литературоведению, психологии, педагогике), но, к сожалению, сто человек на 180 страницах получили жилплощадь в среднем по полторы странички на одного — это сверхсжатые тезисы! А некоторые ой как хотелось бы развернуть (см., например, кратенькие — с. 66–67 — тезисы Е. В. Маркеловой «Пересечение концептуальных структур имен ЛЕНЬ/БЕЗДЕЛЬЕ/ПРАЗДНОСТЬ в русских пословицах»). Из сотни тезисов только три хоть чуть-чуть раскрыты. Это 1) открывающая сборник статья: Ю. Н. Чумаков. На периферии «Петербургского текста» — изумительный сплав научного анализа оконблоковских стихотворений В. Зоргенфрея, Е. Волчанецкой (Ровинской), К. Вагинова — и воспоминаний о 1944 году, когда эти поэты в разных ситуациях открывались молодому автору; 2) лингвистическая статья Т. А. Трипольской «Языковая личность. Проблемы и перспективы исследования» с замечательным использованием дневников К. И. Чуковского; 3) статья Э. И. Худошиной «Сто рублей, или Реестр Савельича», где изящно соединены быт и Судьба, поднятые до Мифа.

В статьях, увы, немало опечаток!

Молодая филология. Сб. научных трудов. Вып. 4. Под ред. Н. Е. Меднис, М. А. Лаппо. Новосибирский гос. пед. университет, 2002. Ч. 1. 220 с. 300 экз. Ч. 2. 218 с. 300 экз. В сборнике публикуются статьи аспирантов и молодых преподавателей Института филологии, массовой информации и психологии при педагогическом уни-

верситете и Института филологии Сибирского отделения РАН. К сожалению, статьи очень краткие, это фактически тезисы, а не статьи (хотя они чуть побольше тезисов предшествующего сборника): почти все по 6—7—8 страниц, и только изредка 10—12, уникально — 20. Зато удалось представить 42 автора. Почти вся 1-я часть занята разделом «Русская литература XIX века» (лишь две статьи о зарубежье), во второй части — поровну, по 9 статей, — о XX веке и о лингвистике и три статьи по теории литературы. Статьи очень ценные. Из теоретических выделил две: о Потебне (автор — Е. П. Бережная) и о разграничении идилического и элегического хронотопов (Е. Н. Рогова), из области XIX века важны почти все статьи, и все же отмечу: о мотиве вины у пушкинского Бориса Годунова (Д. В. Однокрова), о молчании в лирике Лермонтова (Ю. А. Брунёва), об утопии в «Семейной хронике» С. Аксакова (Н. Г. Николаева), о магии взгляда в творчестве Салтыкова-Щедрина (И. Н. Обухова), о правом и левом в «Братьях Карамазовых» (Т. Ф. Извекова), о семантике пространства и времени в письмах Достоевского (Е. В. Мелешенко). В разделе XX века объекты — Маяковский, Вагинов, Вс. Иванов, Маканин, Астафьев, Сорокин, Бродский. Лингвисты интересно представляют «концепты» славы, гнева, ревности, зависти.

Большой технический минус обеих книг: страницы скреплены скобками на целый сантиметр вглубь от того края, где корешок, поэтому их очень трудно раскрывать, разворот сжимается и закрывается. У нас всегда крайности: то листы не держатся, рассыпаются, то такочно скреплены, что не открыть!

С. Ю. Корниенко. В «Сетях» Михаила Кузмина: семиотические, культурологические и гендерные аспекты. Новосибирский гос. пед. университет, 2000. 148 с. 300 экз.

Книга привлекает к себе каламбурным заглавием (ведь на обложке и титульном листе, где название набрано большими буквами, можно «Сети» прочитать как «сети») и гендерными аспектами, которые применительно к известному своим нестандартным обликом Кузмину звучат весьма щекотливо.

И главы заманивают: «Мифopoэтические доминанты...», «О «философской» программе...», «...еще об одной неразделенной любви Марины Цветаевой», «Михаил Кузмин в «сетях» массовой культуры».

Я плохой специалист по Себряниному веку, поэтому многое в этой книге воспринимается свежо и интересно. Отрадно, что автор опирается на большой фактический материал, в том числе и на архивный. Гендерные аспекты описываются вполне деликатно. И отрадно, что в книге постоянно проводятся векторные стрелы в будущее: С. Ю. Корниенко как бы и себе дает задание разработать впоследствии те или другие еще недостаточно исследованные области, и предлагает коллекционерам-литературоведам заняться этими сферами.

Самые дальние новинки на этот раз — томские: *Дело об отделении Сибири от России*. Архивная публикация А. Т. Топчия и Р. А. Топчия. Составление и комм. Н. В. Серебренникова. Изд-во Томского ун-та, 2002. 388 с. 1000 экз.

Н. В. Серебренников, почтенный сибиревед, задумал, вместе со своими единомышленниками, две замечательные серии: «Сибирский архив» (как бы сопутствующий новосибирской академической серии книг «История Сибири. Первоисточники» — см. о ней выше) и «Классика сибирской публицистики». Описываемое здесь «Дело...» — первая книга из названной первой серии. Она включает около двухсот архивных текстов (от сибирских следственных дел до петербургских документов: послания шефа жандармов, управляющего III отделением, управляющего делами Комитета министров), воспоминания арестованных С. С. Шашкова, Н. М. Ядринцева, Г. Н. Потанина, будущих известных публицистов и писателей, вступительную статью Н. В. Серебренникова, хороший именной указатель.

Дело, весьма интересное для историков, культурологов, историков публицистики, подготовленное 40 лет назад, конечно, ни при какой погоде в советское время не могло быть опубликовано. Нервозное отношение к любым сепаратистским черточкам тянулось от царского режима к советскому, да и утихло ли оно ныне? Кажется, лишь упоенные свежестью власти некоторые наши вожди XX века (В. И. Ленин, Б. Н. Ельцин) оказывались вначале равнодушными к сепаратизму.

Самодержавным властителям прошлого очень и очень болезненно мерещились всяческие непорядки, а их искорки на окраинах воспринимались как пожар, как попытки отделяться. И Сибирь была особенно болезненно ощущаемым регионом. Начиная с царя Алексея Михайловича, вспыхивали репрессии... Доходило до парадоксов: в правительственные кругах далеко не все одобряли стремление генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева присоединить Амур и Дальний Восток к России: как бы чего не вышло! как бы контакты сибиряков с японцами и американцами не привели к соблазнительно-му сепаратизму! А уж когда после выхода России к Татарскому проливу бойкие американские коммерсанты предложили на свой счет построить железную дорогу от Тихого океана до Иркутска, то им был сразу дан отворот...

И когда группа молодых энтузиастов возмечтала о демократическом устройстве Сибири, о земстве, об университете, о журналах, то им показали кузькину мать: три года следствия и потом каторгу для Потанина и ссылку для остальных. Конечно, это была эпоха Александра II; если сравнивать их судьбу с петрашевцами, то она была куда более благополучной, но все-таки власти психику юношей изуродовали, мрачные болезни нагнали...

Не могу не описать еще один томский подарок:

Б. Н. Пойзнер. О синергетическом измерении искусства II. Известия вузов «П/прикладная/ Н/елинейная/ Д/инамика/». Т. 9. 2001. № 6. С. 168—189.

Пахнуло на меня тартуской молодостью и питерскими конференциями «Содружество наук и тайны творчества», делами давно минувших дней... Но жив курилка, исследователи продолжают разрабатывать те проблемы. За последние годы появилось несколько книг и ста-

тей. Данная работа принципиально соотносится с книгой И. А. Евина «Что такое искусство с точки зрения физики?» (М., 2000) и как бы продолжает ее. Юность моего военного и послевоенного поколения прошла (до появления трудов Н. Винера) под знаком потрясающе глубокой книги Э. Шредингера «Что такое жизнь с точки зрения физики?»; может быть, нынешние юные гуманитарии смогут немало почерпнуть для себя из круга идей И. А. Евина и ему сочувствующих.

В большой статье Б. Н. Пойзнера (формат страницы А4, относительно мелкий шрифт) много современных и свежих мыслей: например, в параллель к поздним интересам Ю. М. Лотмана (эта параллель почему-то не учтена) и новейшим разработкам С. С. Хоружего, подчеркивается общебытийное значение бифуркации, а главное, в статье широко рассматривается многозначное понятие «репликатор» как самовоспроизводящая развертка целостного образа (гештальта): в научоведении Т. Куна репликаторы — это парадигмы, в биологии — гены, у А. Вержбицкой — универсальные элементарные смыслы, в теории К. Малевича — прибавочные элементы, и т.д.

Опираясь на весьма большое количество артефактов и интерпретаций, Пойзнер интересно прослеживает разные виды участия репликаторов в творчестве и в движении форм искусства нового времени (рекирковка центра и периферии, заострение традиции, тиражирование эпигонских версий и т.д.). Вводятся новые и освеженные «чужие» понятия (экстравагантная активность человека, циничный разум, синергетическая теория риска и т.д.) — и все это применяется к современному искусству. А в конце звучит хороший призыв порождать новые репликаторы, считая, что одним из таких квантов-репликаторов культурной эволюции является книга Евина (добавим, что и статья самого Пойзнера!).

В. В. Инютин НАЕДИНЕ С ИСТОРИЕЙ, СО СЛОВОМ И ВРЕМЕНЕМ

Русистика на Украине в наши дни — явление значимое, ответственное, самоотверженное. Равно как и украинистика в России. И та и другая объективны в своих основах, их не может не быть, они заняты пониманием и объяснением обществу сложнейших проблем жизни величайших культур. Наряду с другими факторами, они обеспечивают и реализуют вековечную связь неотрывно близких культур русского и украинского народов.

Среди современных русистов Украины имя В. П. Казарина, профессора, зав. кафедрой русской и зарубежной литературы Таврического национального университета, занимает достойное место. Он один из тех, кто определяет сущность и лицо украинской русистики, украинского литературоведения. Впрочем, круг его научных и общественных интересов чрезвычайно и неизбежно широк (такова судьба Кры-

мал): В. Казарин с полным основанием назвал книгу своих избранных работ «От античности до наших дней»*.

И все же особую приверженность, особое пристрастие В. П. Казарин испытывает к проблеме взаимодействия в «крымском» (но не только) контексте украинской и русской культур, к вопросам, возникающим в результате изучения того влияния, которое оказывали реалии истории, жизни и быта Крыма на творческое сознание писателей, узнававших эту благословенную землю, восхищавшихся ею. Однако неверно было бы считать работы В. П. Казарина элементарным фактографическим краеведением, выяснением провинциальных подробностей. Хотя в книге есть написанная с душевной болью, с публицистическим накалом, с благородной любовью к малой родине статья «Апология провинции» — о пагубности надменного отношения к ней, о неумной политике подавления центром регионального начала, о животворных силах провинции, питающих общенациональную жизнь.

Но размышления В. П. Казарина об этих проблемах всегда шире регионального подхода. Взглянуть на материал более масштабно ему «помогают» сами авторы, о которых он пишет. Из них «первый среди равных» — А. С. Пушкин. Видимо, «Пушкин и Крым» для исследователя — давняя и выстраданная тема. Чуть ли не третья книги — о пушкинских странствиях по Крыму, о его впечатлениях, о памяти или беспамятстве нашей современности по отношению к гению России, русской литературы. В «блуждающей судьбе» А. Пушкина для нас важен любой эпизод или факт: они прямо или опосредованно воздействовали на его творчество, а значит, и на наше отношение к жизни.

С доскональной точностью В. Казарин устанавливает хронику одного такого эпизода — переправы Пушкина и Раевских из Тамани в Керчь в 1820 году. И это дает возможность во всей конкретике понять сложность состояния души поэта: он первый раз в плавании по морю, на краю Отечества, он плывет в древнюю историю, к Митридату и даже в еще более древние времена — в легендарную древнюю Киммерию. В. П. Казарин с возможной обстоятельностью приводит необходимый исторический материал, вплоть до фактов истории флота на Черном море. И восприятие А. Пушкиним, казалось бы, обыденной переправы обретает многогранность, становится ясно, почему поэт вновь и вновь возвращался к этим впечатлениям, даже в «Евгении Онегине».

Тем более важными для нашего понимания А. Пушкина являются работы В. П. Казарина о восприятии поэтом крымских легенд (о «Митридатовом гробе») и особенно — памятников религиозной жизни (Георгиевского монастыря и т. д.). Пушкин, как известно, в ту пору мало религиозен, скорее атеистичен. Он даже не вспомнил, что Херсонес — начало православия: здесь в 988-м Владимир принял Крещение. Но впечатление от легенд и древних храмов, конечно, отложилось в сознании поэта и, пусть причудливым путем, вместе с образами и иде-

* Казарин В. П. От античности до наших дней: Избранные работы по литературе и культуре. Симферополь. Крымский Архив, 2004.

ями иных верований, помогло впоследствии приобщению А. Пушкина к религии («церковным» человеком он все же не стал).

Да, в сущности, не в этом только дело. Книга В. Казарина дает точный и обширный материал для понимания духовной жизни, нравственного развития А. С. Пушкина. Конечно, для широкого читателя, особенно в России, не менее познавательной оказалась бы, допустим, статья, содержащая обстоятельную информацию о реалиях Бахчисарай, о дворце и фонтане, столь поразивших воображение поэта, — есть чем дополнить будущее переиздание книги, сейчас в ней о Фонтане Слез говорится несколько бегло.

Цикл историко-литературных работ, опубликованных в книге, отличает неординарность и аргументированность подхода к известным произведениям. С своеобразно истолкована символика повести Н. Карамзина «Бедная Лиза» (контрастный принцип, полисемия, подтекст). Причем в основе статьи — ранняя, студенческая работа автора.

Нравственно выверены, взвешены формулировки статьи — доклада о Т. Шевченко, в каждом слове которой искрення любовь и тревога. Любовь — к великой поэзии Кобзаря, тревога — о судьбе его наследия, которое используется в примитивных политических целях.

В. Казарину вообще присуще доверие к автору, изначальная прязнь к его слову. Многих смущала и удивляла курьезная строка одного из «крымских» стихотворений О. Мандельштама: «Золотистого меда струя из бутылки текла». Вроде бы, мед не хранят в бутылках, не-практично. В. П. Казарин поинтересовался, выяснил. И прав оказался поэт: «медом» О. Мандельштам называет *бекмес*, «очищенный виноградный сок, который действительно хранили в бутылках» (С. 138). Да и в целом статья о Мандельштаме обнаруживает точное понимание его поэтики: «темные места» в его стихах, как правило, имеют конкретное и простое объяснение, нужно только «расшифровать» реалии. Это убедительно осуществляет В. Казарин. Ему близок и дорог трагический образ О. Мандельштама, вечного, вольного и невольного, скитальца, и не только по земле Тавриды, но и по нашим черноземным просторам.

Однако автор книги становится жестким и непримиримым в отношении тех деятелей истории, которые при всем внешнем благообразии выполняли функцию «гасителей разума». И в отношении их современных лукавых истолкователей. Одно время принято было безмерно восхищаться суждениями и идеями Н. Бухарина. Оставил его экономические выкладки, но убого нормативная, директивная, грубая критика им С. Есенина и Ф. Тютчева вполне заслуживает тех справедливых и уместных оценок, которые дает им В. Казарин в острой полемической статье, в споре с весьма авторитетными сегодняшними «властителями умов».

Пытаясь понять современность, В. Казарин не может обойти ту трагическую эпоху, одним из демонов которой был Н. Бухарин. Он попытался понять истоки национальной катастрофы. В этом случае принято апеллировать к Ф. Достоевскому или Л. Толстому, искать

ответы у них. В. Казарин выбирает в собеседники о гражданской войне (!) А. П. Чехова, которого довольно часто воспринимают как человека, чуждавшегося прямых вопросов, злободневных общественных тем. Но именно у А. Чехова автор книги находит объяснение губительной неспособности образованного русского общества начала XX века противостоять примитивной политической идее, нахрапу радикальных деятелей. Объяснение — в недоверии к простым истинам жизни, в душевной апатии, в презрении к вере, народу. Все это привело к расколу общества и кровавой конфронтации. В. Казарин, глубоко вдумавшись в изображенную А. Чеховым реальность, предупреждает о жутковатом совпадении состояний, позиций, тенденций в начале прошлого и в начале нынешнего веков.

В то же время все не так безысходно. Есть надежда: помимо прочего — в постоянной устремленности русской души к вечным ценностям, в ее космизме, о котором, опять же в связи с мироотношением А. Пушкина, пишет В. Казарин. Именно на этой всеобщей нравственной основе должна строиться поддержка всех языков мира, всех равноправных культур. «Вселенская» отзывчивость и стремление к единению, а не отторжению утверждаются в книге В. Казарина как фундаментальные начала русистики и шире — гуманитарной деятельности.

С. Н. Кайдаш-Лакшина ЧЕХОВ В ЖИЗНИ ВЛАДИМИРА ЯКОВЛЕВИЧА ЛАКШИНА

С юности Чехов был идеалом и образцом не только для поведения, но и для способа мышления В. Я. Лакшина. И этот идеал остался с ним до конца жизни.

Дипломная работа Владимира Яковлевича “«Живой труп» Л. Толстого и «Дядя Ваня» А. Чехова” стала основой для его первой книжки, вышедшей в издательстве Московского государственного университета в 1958 году: «Искусство психологической драмы» А. П. Чехова и Л. Н. Толстого («Дядя Ваня» и «Живой труп»).

Работа над пятисерийным телевизионным фильмом «Путешествие к Чехову» («Родился в Таганроге», «Знаменитость № 877», «Сахалинский маяк», «Лекарь Мелиховского уезда», «Письма из Ялты») превратилась для В. Лакшина в 1982—1983 гг. в важный этап в исследовании чеховского сопротивления узкой «партийности», «всякой фирме и ярлыку». По существу, это были художественные фильмы.

Последней чеховской работой, оказавшейся предсмертной, стал сценарий для фильма Никиты Михалкова, которому Владимир Яковлевич дал название «Вспоминая Чехова (Диалоги 1914 года)» — он был опубликован посмертно в журнале «Киносценарии» (1994, № 1). Спектакль по нему был поставлен Липецким драматическим театром им. Л. Н. Толстого в 1995 г.

Книга «Толстой и Чехов» (М., 1963; 2-е изд. — 1975) до сих пор остается в литературоведении эталоном сопоставления творчества двух крупнейших гениев России.

Всю жизнь Владимира Яковлевича волновала проблема нравственно-религиозная — возможно ли и как быть человеку хорошим и прекрасным: «В человеке все должно быть прекрасно...» Его мучило и казалось неразрешимым, почему человек, какие бы взгляды и доктрины он ни разделял, может опоганить любые идеалы и опошлить самые прекрасные чувства — будь это христианская вера или радужная общественно-политическая теория. Ничто не спасает человека от превращения в существо нравственно-ничтожное, делающее все из корысти или самолюбия, как говорил Достоевский. Даже если человек желает быть «прогрессивным» и добродорядочным, его может погубить алчность или претензии воспаленного, раздутого самолюбия. Человек способен перемолоть и вывернуть наизнанку самые ослепительные идеи и надежды, подчинив их своей выгоде и жажде власти.

Владимира Яковлевича всю жизнь волновала *идея справедливости* и пути ее достижения. Он хотел быть справедливым и как литературный критик, и как писатель, и как общественный деятель. И как человек. Он считал, что Чехов сумел подойти к справедливости ближе других. В справедливости Лакшин различал необходимый регулятор для человеческой жизни — против круговой поруки *своих*: будь то объединение кружка, партии, религии, наконец. В Чехове же Владимир Яковлевич видел художника и человека, неустанно стремящегося к справедливости.

В писателе Лакшину было близко отсутствие афиширования сокровенных чувств. Религиозное чувство представлялось ему интимным, глубинным чувством, сокровенным, спрятанным, чувством связи со своим неведомым прошлым и поколениями далеких предков. Такая же связь настоящего со всем прошедшим, как в чеховском рассказе «Студент», и острое проживание этого прошлого для тебя, сейчас, понимание важности, необходимости его для твоей повседневной жизни.

Уже во времена Чехова началась (и сейчас особенно популярна) демонстрация религиозной принадлежности как дела *шатания по верам*, как говорил Бердяев. Чехову же была дорога вера как чувство любви, волнения, близости, а не как идеологическая доктрина. Владимир Яковлевич любил цитировать стихи Лермонтова в спорах на подобные темы: «Но я люблю — за что, не знаю сам...» Родителей не выбирают, но их можно оставить, уйти, отречься, бросить, однако связь все равно останется — даже связь отречения, связь разрыва, может быть, самая горькая связь.

Владимир Яковлевич думал, что не то важно: скажет ли человек «Есть Бог!» или воскликнет «Нет Бога!», а важно, есть ли у него в душе нравственное чувство, страх Божий, который не позволит ему перейти границу, разделяющую Добро и Зло, задержит его на стороне Добра, вместе с ним.

Чехову остались чужды эсхатологические катастрофизмы Владимира Соловьева, философа Николая Федорова, мечтавшего оживить всех

покойных предков, переписывание Евангелия Львом Толстым. В своих произведениях Чехов, казалось бы, не выходил из рамок повседневной жизни, и это необычайно привлекало Владимира Яковлевича. Для него в этом заключался необычайный чеховский демократизм. И одновременно в этом было признание повседневной реальности как глубочайшего человеческого таинства, где может происходить глубинное проявление благородства или самой поразительной низости. Мировое зло заключалось для Чехова не в чёрте Достоевского в «Братьях Карамазовых», не в Антихристе Владимира Соловьева, а в Аксинье, героине повести «В овраге», плеснувшей кипятком на ребеночка. Неслучайно Аксинья сравнивается там с молодой гадюкой: змея — дьявол...

Всякие нападки на Чехова Владимир Яковлевич воспринимал чутко и болезненно, потому что видел в этом покушение на благородство его фигуры, мыслил это небезопасным для общественной санитарии и гигиены. Лакшин считал Чехова стоиком, предтечей, а может быть, и полным выражением экзистенциализма, его живым олицетворением.

Любовь к писателю — живую и искреннюю — Владимир Яковлевич Лакшин сохранил до последнего часа своей жизни.

Л. А. Кац ВСПОМИНАЯ ВОЛЬФГАНГА КАЗАКА...

Заголовок как бы подразумевает, что автор этих строк был лично знаком с Вольфгангом Казаком. Но это не так. И, тем не менее, благодаря неформальному способу общения, который предоставляет в настоящее время электронная почта, официальная вначале переписка с одним из партнеров по Международному книгообмену в лице Вольфганга Казака перешла почти в личное знакомство, которое надолго останется в памяти.

Начало десятилетнему общению между Зональной Научной библиотекой Воронежского университета и выдающимся ученым-славистом из Германии Вольфгангом Казаком заложил Олег Григорьевич Ласунский, который в 1993 году сообщил библиотеке о намерении В. Казака передать в дар почти полный комплект издаваемой им серии *Arbeiten und Texte zur Slavistik*. Директор ЗНБ ВГУ Светлана Владимировна Янц направила Вольфгангу Казаку письмо, в котором была выражена благодарность за такой дар, а также готовность высылать книги из прилагаемых списков литературы по славистике. Обмен изданиями состоялся. В своем письме от 8 февраля 1994 года В. Казак писал: «В серии опубликованы прежде всего работы по русской литературе и запрещенные в советское время тексты русской литературы, которые я хотел сохранить до более выгодных для литературы времен — что и удалось». В тот раз ЗНБ ВГУ получила 49 экземпляров из указанной серии. То, что могло оказаться так называемым «разовым обменом» изданий, как это зачастую бывает, переросло в заинтересованный ди-

алог между ученым и библиотекой, которая с неизменным чувством благодарности реагировала на все новые предложения В. Казака. Думается, что и он чутко уловил неподдельный интерес к своим трудам со стороны библиотеки.

Появление электронной почты упростило переписку и в то же время сделало ее неформальной. До самой кончины В. Казака библиотека регулярно высыпала ему новые списки по обмену и по мере выхода из печати очередные номера «Филологических записок». В. Казака, естественно, интересовали все публикации ученых-литературоведов филфака ВГУ. Особый интерес вызвала у него книга «Русская литература XX века»: Учебное пособие / Под ред. Е. Г. Мущенко и Т. А. Никоновой. — Воронеж, 1999. Высоко оценив содержание пособия, В. Казак все же остро отреагировал на отсутствие в ней вспомогательных указателей. Как-то так сложилось, что В. Казак считал для себя естественным делиться впечатлениями о полученных из Воронежа книгах с автором этих строк, а потом и присыпал по почте на адрес библиотеки свои письма для передачи авторам — ученым филфака. Удивительно, но В. Казак сам взял на себя труд составить недостающие указатели к выше названному пособию, которые он и высывал по почте для передачи авторам.

О своей тяжелой болезни В. Казак сообщил сам. Он продолжал общаться с библиотекой и высылать издания, которые предназначал для фонда ЗНБ ВГУ, включая и книги своего отца Германа Казака на немецком языке.

В начале 2003 года на электронный адрес В. Казака был отправлен очередной список литературы, предлагаемой для обмена, но ответ пришел не от него, а от его супруги, которая сообщила о кончине Вольфганга Казака 10 января 2003 года...

Значение трудов по славистике Вольфганга Казака хорошо известно специалистам. Автору этих строк довелось соприкоснуться с ним в процессе очень интересного обмена литературой, в результате которого фонд ЗНБ ВГУ пополнился многими значительными изданиями.

НАШИ АВТОРЫ

- Акаткин Виктор Михайлович — профессор Воронежского университета.
Алейников Олег Юрьевич — доцент Воронежского университета.
Андрушко Чеслав — профессор Познанского университет (Польша)
Антанасиевич Ирина — доктор филологии Университета г. Ниш (Сербия и Черногория).
Башкиров Дмитрий Леонидович — доцент Минского университета (Беларусь).
Бойков Владимир Васильевич — директор выставочного центра «Русская усадьба» (Воронеж).
Бочаров Сергей Георгиевич — ведущий сотрудник Института мировой литературы РАН (Москва).
Ботникова Алла Борисовна — профессор Воронежского университета.
Викторович Владимир Александрович — профессор Коломенского педагогического института.
Воронкова Ирина Сергеевна — старший преподаватель Воронежской технологической академии.
Гайворонская Людмила Васильевна — аспирантка Воронежского университета.
Гиршман Михаил Моисеевич — профессор Донецкого университета (Украина).
Горелик Людмила Львовна — профессор Смоленского педагогического университета.
Гречева Жанна Владимировна — старший преподаватель Воронежского университета.
Егоров Борис Федорович — профессор (Санкт-Петербург).
Инютин Валентин Валентинович — доцент Воронежского университета.
Кайдаш-Лакшина Светлана Николаевна — член Союза писателей и Союза журналистов России (Москва).
Кац Любовь Александровна — главный библиотекарь Зональной научной библиотеки Воронежского университета.
Кольцова Людмила Михайловна — доцент Воронежского университета.
Крикунов Владислав Шаевич — профессор Самарского педагогического университета.
Кройчик Лев Ефремович — профессор Воронежского университета.
Кулик Анастасия Геннадьевна — аспирантка Воронежского педагогического университета.
Мельник Владимир Иванович — профессор (Москва).
Митракова Нина Матвеевна — корректор (Воронеж).
Морозова Ирина Вячеславовна — доцент Удмуртского университета.
Никонова Елена Александровна — студентка Воронежского университета.
Никонова Тамара Александровна — профессор Воронежского университета.
Петракова Людмила Геннадьевна — аспирантка Воронежского педагогического университета.
Подшивалова Елена Алексеевна — профессор Удмуртского университета.
Рындарь Николай Тимофеевич — профессор Самарской гуманитарной академии.
Сараскина Людмила Ивановна — ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания и Российской академии образования (Москва).
Стернин Иосиф Абрамович — профессор Воронежского университета.
Таборисская Евгения Михайловна — профессор Северо-Западного института печати (Санкт-Петербург).
Тамарченко Натан Давидович — профессор Российского государственного гуманитарного университета (Москва).
Шульц Сергей Анатольевич — доцент Ростовского университета.
Щенников Гурий Константинович — профессор Уральского университета (Челябинск).